This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

ПРИЗНАНІЯ СЕРГѢЯ ЧАЛЫГИНА.

РОМАНЪ.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39)
1886.

Я. П. ПОЛОНСКІЙ.

ПРИЗНАНІЯ СЕРГѢЯ ЧАЛЫГИНА.

РОМАНЪ.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скорохода (Надеждинская, № 39).
1886.

Текстъ книги печатанъ въ типографіи И. Н. Скороходова
(Надеждинская, № 39).

ГЛАВА I.

Я, разумѣется, русскій, но я родился на водахъ въ Баденскомъ герцогствѣ. Это непріятное и совершенно неожиданное для меня событіе произошло 15 мая 1813 г. Моему первому крику вѣроятно обрадовались и мама, и повивальная бабушка, и горничная, и моя будущая кормилица, а я закричалъ просто оттого, что не хотѣлось родиться. Говорятъ, охота пуще неволи, но это можно отнести только къ родителямъ; о новорожденныхъ же можно сказать совершенно напротивъ, а именно: неволя пуще охоты. Увы! эта неволя — законъ природы. Была причина мнѣ существовать, и я хочу или не хочу — существую.

Не помню, о чемъ я больше всего думалъ въ первые годы моего младенчества, вѣроятно о бѣлыхъ грудяхъ моей швейцарской кормилицы, но, прежде чѣмъ успѣлъ я понять, отчего сосать свой собственный палецъ далеко не такъ пріятно, какъ соску съ молокомъ, какъ уже—счастливецъ!—я объѣхалъ почти всю Европу: таращилъ свои маленькіе, каренькіе, золотушные глазенки и на церковь св. Петра въ Римѣ, и на Миланскій соборъ, и на щеголеватыхъ дѣтей, бѣгающихъ подъ музыку вокругъ бассейновъ Пале-рояля, и на собакъ въ намордникахъ, бѣгающихъ по Германіи,—на все, на все таращилъ я свои глазенки; но когда благополучно прибылъ въ свое славное отечество, а именно въ Петербургъ, никому не

разсказалъ о своихъ заграничныхъ похожденіяхъ, хотя уже и могъ говорить... па, фа, му-бу-му! ля, мам.! и тому подобное.

Я былъ младенцемъ—это несомнѣнно; но вы, быть можетъ, усомнитесь, если я скажу вамъ, посреди какой роскоши я началъ капризничать, по какимъ дорогимъ коврамъ ступали башмаки моей няньки Аграфены, когда она, подплясывая да подпѣвая, гуляла со мной по параднымъ комнатамъ; въ какихъ большихъ зеркалахъ отражалась моя круглая, пухлая, красными пятнами покрытая мордочка въ чепцѣ съ кружевными оборками.

Но, прежде чѣмъ я перейду къ своимъ воспоминаніямъ, скажу нѣсколько словъ о вѣроятномъ виновникѣ моего существованія.

Отецъ мой, Сергѣй Макаровичъ Чалыгинъ, умеръ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Начавъ службу свою въ началѣ текущаго столѣтія, долго состоялъ онъ при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, и жилъ то въ Петербургѣ, то за границей. Въ послѣдніе же годы своей жизни былъ въ отставкѣ, проигралъ множество денегъ и лечился на водахъ отъ какого-то хроническаго воспаленія. Мнѣ было около пяти лѣтъ, когда мать моя овдовѣла двадцати семи лѣтъ и надѣла трауръ. Отецъ мой ушелъ отъ меня къ отцамъ прежде, чѣмъ я успѣлъ разглядѣть его. Помню, какъ сквозь сонъ, чье-то выразительное, пожилое лицо, испещренное мелкими рябинками, большой лобъ, впалыя щеки, баки съ просѣдью и золотые очки на носу, который почему-то представляется мнѣ непремѣнно ярко-розовымъ. Помню, какъ это лицо наклонилось разъ надъ моимъ дѣтскимъ изголовьемъ и стало пристально всматриваться, сплю ли я. Помню, я протянулъ рученку, вѣроятно съ умысломъ потрепать бакенбарду моего папеньки, какъ вдругъ лицо это сдѣлало какую-то странную, не то смѣшную, не то страшную гри-

масу и исчезло за бѣлымъ пологомъ. Такимъ образомъ, въ эту минуту все, что осталось отъ этого человѣка, жившаго на свѣтѣ цѣлое полстолѣтіе и быть можетъ много перестрадавшаго, это—какое-то смутное представленіе, какой-то никому невѣдомый образъ, витающій въ моемъ воображеніи. Отъ цѣлаго существованія уцѣлѣла какая-то неясная фигурка у меня въ мозгу—и только!

Тогда еще не была изобрѣтена фотографія, а тотъ небольшой портретъ, который какъ-то въ дѣтствѣ нашелъ я на письменномъ столикѣ моей маменьки, былъ болѣе похожъ на какого-то испанца въ плащѣ, чѣмъ на папеньку или на дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Портретъ этотъ также пропалъ; его украли въ день похоронъ моей матери, и я тогда не жалѣлъ объ немъ.

Очень можетъ быть однако же, что отецъ мой, въ очень молодые годы, ходилъ въ черномъ плащѣ съ развѣвающимися воротничками, и похожъ былъ на испанца... вѣдь и я отчасти брюнетъ, и у меня были каріе глаза съ фосфорическимъ блескомъ, темные волосы и тонкій, довольно правильный носъ съ гордыми подвижными ноздрями, какъ у арабской лошади; я говорю *были*, съ умысломъ употребляя глаголъ въ прошедшемъ времени... Въ настоящемъ... я не узнаю себя... такъ я полинялъ и такъ я выцвѣлъ!

Говорятъ, у меня много однофамильцевъ. Это немудрено: родъ Чалыгиныхъ довольно древній, дворянскій родъ. Я не знаю, до какого именно вѣка нисходятъ корни того генеалогическаго древа, на которомъ увядаю я, какъ одна изъ самыхъ безплодныхъ вѣтвей его. Мой дядя, Левъ Макаровичъ Чалыгинъ (съ которымъ я и познакомлю васъ впослѣдствіи), гордился своимъ столбовымъ происхожденіемъ, помнилъ очень хорошо, что отецъ его, мой дѣдъ, былъ въ Москвѣ сенаторомъ, любилъ повторять разсказы своего батюшки, который, несомнѣнно подъ старость,

ѣзжалъ въ гости къ Фамусову и простодушно вѣрилъ въ помѣшательство Чацкаго — разсказывалъ о томъ, какъ императрица Екатерина благоволила къ семьѣ его и какъ однажды, на Пасхѣ, прислала она въ Москву курьера, съ какими-то турецкими конфектами и велѣла передать ихъ моимъ бабушкамъ, которыя, вѣроятно, тогда были хорошенькими, толстенькими дѣвочками, учились подвязывать фижмы или пудрить свои волосы, лакомились калужскимъ тѣстомъ, пили знаменитые когда-то московскіе квасы и, подрастая, учились минуэту, — какъ одинъ изъ предковъ моихъ былъ зачѣмъ-то посланъ въ Китай и вывезъ оттуда множество великолѣпно вышитыхъ халатовъ, а другой убитъ турецкимъ ядромъ, командуя бригомъ, подъ начальствомъ Орлова, знаменитаго чесменскаго героя. Все это дядя мой помнилъ, обо всемъ этомъ говорилъ какъ-то особенно мямля, не безъ сожалѣнія объ увядшей славѣ нашего имени и, странно, никакой цѣны не давалъ письменнымъ документамъ того времени. Шутя говорилъ онъ одному изъ гостей, какъ экономка, родомъ изъ *Чухландіи*, при передѣлкѣ кабинета его покойнаго батюшки, Макара Ивановича, собрала всѣ его бумаги въ три большущихъ короба, сначала помѣстила ихъ въ чуланъ, гдѣ ихъ изгрызли крысы, а потомъ препроводила на чердакъ, гдѣ они отсырѣли, заплѣсневѣли, и вѣроятно были выброшены новыми жильцами, ибо когда домъ былъ проданъ, объ этихъ несчастныхъ коробахъ даже и не вспомнили. Конечно, экономка, да еще изъ какой-то Чухландіи, на выкройки портнымъ отдала бы и Несторову лѣтопись, еслибъ по несчастію первая нашла ее; это нисколько неудивительно; но какъ понять равнодушіе къ перепискѣ отцовъ человѣка, начитавшагося французскихъ мемуаровъ и дорожившаго пригласительными билетиками своихъ знакомыхъ? Впрочемъ, въ мои отроческіе годы, я самъ былъ равнодушенъ къ покойникамъ.

Жадно прислушиваясь къ жизни, я ничего не успѣлъ узнать изъ того, что могъ бы узнать о моихъ родителяхъ, и вотъ теперь поневолѣ долженъ довольствоваться самыми скудными матеріалами.

Письма отца моего не всѣ пропали на чердакѣ. Какими-то судьбами два изъ нихъ сохранились отъ потопа времени. Одно историческое, писанное за 2 года до моего рожденія, другое семейное, въ которомъ и обо мнѣ, то-есть о моихъ зубахъ, есть два-три словечка. Изъ этихъ двухъ писемъ я заключаю, что, во-первыхъ, отецъ мой былъ патріотъ въ полнѣйшемъ смыслѣ слова, и что въ этомъ случаѣ я долженъ ему завидовать, ибо часто упрекаю себя въ недостаткѣ патріотизма; во-вторыхъ, что отецъ мой любилъ мою мать, но почему-то не любилъ вмѣстѣ съ нею путешествовать, въ-третьихъ... Но не лучше ли мнѣ, не мудрствуя лукаво, взять да и переписать для васъ эти два письма.

Вотъ они слово въ слово:

Письмо 1-е.

14-го апрѣля 1814 г. С.-Петербургъ.

Любезнѣйшій родитель!

Письмо ваше порадовало меня извѣстіемъ о вашемъ здоровьѣ. Я хотѣлъ съ сею почтою послать къ вамъ 58 тысячъ, о которыхъ къ вамъ писалъ прежде, но не посылаю еще потому только, что не знаю, не угодно ли будетъ вамъ какую нибудь часть изъ сей суммы употребить на уплату опекунскому совѣту. Ежели сіе вамъ угодно, то уплата сія можетъ быть сдѣлана здѣсь, во избѣжаніе пересылки денегъ. Вы же получите квитанцію и

освобождено будетъ имѣніе отъ залога, посему я рѣшился къ вамъ о семъ написать. Теперь же прошу васъ увѣдомить, какое количество суммы нужно прислать къ вамъ и какую уплатить опекунскому совѣту здѣсь. Если же уплату опекунскому совѣту вы найдете ненужною нынче, то по первому отъ васъ извѣщенію, я всѣ эти деньги къ вамъ отправлю. Ожидаю на все сіе вашего приказанія. У насъ теперь необыкновенныя торжества по случаю занятія Парижа. Прилагаю у сего реляцію о занятіи Парижа и прокламацію къ арміямъ и народу, отъ парижскаго сената и сената блюстительнаго сдѣланныя. Изъ нихъ увидите всю картину дѣйствій нашего Государя. 13-го числа генералъ-адъютантъ Голенищевъ-Кутузовъ привезъ офиціальное извѣстіе о взятіи Парижа, которое тотчасъ возвѣщено 51 выстрѣломъ изъ пушекъ. 14-е прошло въ приготовленіяхъ къ торжеству; 15-го было молебствіе благодарственное въ Казанскомъ соборѣ, причемъ сдѣлано 151 выстрѣлъ изъ пушекъ. Въ вечеру въ театрѣ были пѣты стихи, у сего прилагаемые, въ честь побѣдителямъ; восклицанія «ура!» и рукоплесканія раздавались во время спектакля. Послѣ городъ былъ иллюминованъ, крѣпость, монументъ Петра I, всѣ казенныя зданія и многіе партикулярные дома были отлично и весьма богато украшены различными огнями и транспарантными картинами. У англійскаго посланника передъ квартирою былъ обелискъ огненный, вышиною въ 20 саженъ, сверху котораго былъ вензель Государя, подъ короною, также огненный. Сія иллюминація продолжается сегодня и будетъ завтра. Сегодня сверхъ того у императрицы обѣдъ и во время онаго 101 выстрѣлъ изъ пушекъ.

PS. Не можетъ быть ничего восхитительнѣе въѣзда Государя въ Парижъ. Кутузовъ объяснилъ это слѣдующимъ образомъ. 19-го поутру выѣхали сенаторы съ донесеніемъ Государю, что народъ и всѣ жители Парижа

готовы принять его, какъ своего избавителя. Государь, съ прусскимъ королемъ, съ великимъ княземъ и въ сопровожденіи до четырехъ тысячъ генераловъ, въѣхалъ въ Парижъ; впереди ѣхали лейбъ-казаки; Государь былъ въ кавалергардскомъ мундирѣ и безъ ленты; этотъ вицъ-мундиръ состоитъ изъ темнозеленаго однобортнаго сюртука съ обтяжными пуговицами и чернымъ воротникомъ. Генералы же, его окружавшіе, были всѣ въ полномъ парадѣ; за ними ѣхали и шли церемоніальныхъ маршемъ гвардіи прусская и наша и—наша артиллерія. Народъ былъ въ восхищеніи отъ милостиваго вида Государя, великолѣпія свиты и вообще парада, войсками составляемаго; Государь остановился въ домѣ извѣстнаго Талейрана — тамъ обѣдали—потомъ были въ театрѣ, гдѣ были всѣ знатныя особы, какія въ Парижѣ нашлись; пѣли на театрѣ въ честь Государя слѣдующіе стихи:

Vive Alexandre,
Vive le roi des rois
Sans rien prétendre,
Sans nous donner des lois,
Ce Prince Auguste
A le triple rénom,
De héros, de juste
De nous rendre un Bourbon.

Восклицанія виватъ заглушали музыку и представленіе; Государь, побывъ недолго, уѣхалъ изъ театра. Зрители же бросились и сломали всѣ украшенія, гербъ и вензель Наполеона, — изображенія, которыя при входѣ въ театръ завѣшаны были покрывалами.

Восхищеніе жителей здѣшнихъ всѣхъ классовъ неописанное. Сейчасъ пріѣхалъ къ Императрицѣ курьеръ изъ Дрездена отъ управляющаго Саксоніею, князя Репнина-Волконскаго, который привезъ копіи съ письма или съ донесенія царствующему герцогу Саксенъ-Веймарскому изъ арміи, что, вслѣдствіе прокламацій отъ французъ-

скаго сената, генералъ Мармондъ съ своими войсками и многіе генералы съ своими корпусами объявили себя на сторонѣ Бурбоновъ, и Наполеонъ сложилъ съ себя званіе императора; по иностраннымъ же газетамъ ему назначается мѣстопребываніе на островѣ Эльбѣ, на Средиземномъ морѣ, близь Корсики, недалеко отъ Ливорны, и что ему полагается въ годъ 600.000 франковъ пенсіи; жить же будетъ какъ партикулярный человѣкъ. Это однако требуетъ подтвержденія. Кутузовъ, привезшій извѣстіе о взятіи Парижа, получилъ отъ здѣшняго городскаго общества, т. е. отъ купечества, золотую кружку съ надписью и четырьмя тысячами червонныхъ. Скоро должно ожидать самаго лучшаго окончанія всѣхъ сихъ дѣлъ и, вслѣдствіе того, благоденствія и спокойствія во всей Европѣ. Пріятно видѣть Государя нашего виновникомъ толикаго добра!

15-го апрѣля въ театрѣ, когда публика усмотрѣла вошедшаго генералъ-адъютанта Голенищева-Кутузова, тотчасъ раздалось «ура!» и начали аплодировать, послѣ чего, по открытіи занавѣса, было пѣто:

Какъ нынѣ свой восторгъ мы не могли сокрыть,
Успѣли съ вѣстникомъ чрезъ плески изъясниться,—
Возстановитель царствъ когда сюда явится —
Что жъ будемъ дѣлать мы? Въ восторгѣ слезы лить.

Послѣ сего въ продолженіи балета пѣли:

Герои грозны, чада славы,
Миръ вамъ! подъ вашъ священный кровъ,
Стеклись вселенной всей державы.
Вамъ вождь — къ отечеству любовь.
Союзныхъ войскъ хвала царямъ,
Союзныхъ войскъ хвала вождямъ!
Се день насталъ, тотъ день счастливый,
Въ который врагъ въ землѣ своей
Отъ страха ищетъ лишь могилы
И въ ней не скроется злодѣй.
Къ побѣдамъ родъ Славянъ возросъ,
Ликуй Москва — въ Парижѣ Россъ!

А ты! нашъ ангелъ-избавитель,
Подпора царствъ, злодѣевъ страхъ,
Народныхъ правъ возстановитель,
На тронѣ Титъ, Перунъ въ бояхъ!
Тебѣ хвалу поютъ цари,
Твой храмъ — сердечны алтари.

Я и братъ славу Богу здоровы. Прошу вашего благословенія и остаюсь

нижайшій слуга
и сынъ вашъ Иванъ Чалыгинъ.

Письмо 2-е, къ моей матери.

Теплицъ, 18-го іюня 1815 года.

Въ самый день моего рожденія, милая моя, получилъ я твое письмо, въ которомъ ты извѣщаешь, что была больна и начинаешь выздоравливать и что у *нашего* Сережи зубы счастливо прорѣзались. Я цѣлую недѣлю пробылъ въ Дрезденѣ, гдѣ столкнулся съ братомъ и княземъ Алексѣемъ. Послѣдній въ восторгѣ отъ твоего пѣнія, но напуганъ твоими толками о графѣ Аракчеевѣ. Пожалуйста, будь осторожна и держи себя подальше отъ нашей молодежи. Князь видѣлъ тебя у madame Floran и говорилъ мнѣ, что ты очень весела и даже пополнѣла. Мое же здоровье все плохо по-прежнему. Бѣлье будетъ скоро выслано къ тебѣ съ оказіей. За красныя мѣтки готическими буквами взяли съ меня по 1 франку; нахожу, что сіе недорого. Поблагодари баронессу за успокоительное письмо о ней; я увѣренъ, что она въ массонскія ложи тебя не повезетъ; сама же пусть ѣдетъ. Твои намѣренія насчетъ поѣздки въ Петербургъ я уже кажется одобрилъ въ письмѣ своемъ отъ 27-го прошлаго іюля: только пожалуста, милая моя, не тащи меня съ собой, я только стѣсню тебя; къ

тому же осенью думаю виноградное леченье испробовать. Прости, цѣлую тебя, мой другъ. Сережу благословляю и остаюсь почтительный другъ и мужъ твой

Иванъ Чалыгинъ.

ГЛАВА II.

Изъ двухъ вышеприведенныхъ писемъ моего батюшки, я рѣшительно не могу составить себѣ никакого опредѣленнаго понятія о его характерѣ. Въ нихъ есть только одно— черты той эпохи, о которой мы знаемъ по преданію.

«Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ». Дѣтство мое также стало для меня преданіемъ и, какъ мнѣ кажется, не лишено нѣкоторой поэзіи. Передамъ вамъ только тѣ впечатлѣнія и образы, которые сохранились въ моей памяти.

Мать моя, воротившись въ Петербургъ, наняла большую квартиру, окнами на Мойку. Мнѣ, ребенку, казалась она цѣлымъ міромъ. Пяти-шестилѣтній мальчикъ, я не смѣлъ слишкомъ далеко забираться въ заднія комнаты. Въ дѣтской я обѣдалъ возлѣ няни, игралъ на коврѣ и спалъ. Раннее путешествіе мое по Европѣ не сдѣлало меня европейцемъ: я помню себя мальчуганомъ пугливымъ и дикимъ, какъ лѣсной звѣрёкъ. Рѣдко вбѣгалъ я въ гостиную—и убѣгалъ изъ залы всякій разъ, когда слышалъ шумъ въ передней.

Откуда вдругъ появилась во мнѣ такая боязливая дикость — тогда какъ въ первые годы моего ребячества я ничего не видалъ отъ людей, кромѣ баловства да ласки,— не знаю; люди не успѣли напугать меня; но чтобъ рѣшить этотъ вопросъ, надо помнить ясно—не только первыя свои впечатлѣнія, но и тѣ первоначальные сны, которые

для нашего младенчествующаго сознанія не всегда ясно отдѣляются отъ явленій міра дѣйствительнаго. Я все чего-то боялся и не столько стѣнъ, сколько незнакомыхъ мнѣ людей, которыхъ я безпрестанно встрѣчалъ совершенно для меня неожиданно; въ особенности пугалъ меня одинъ старичекъ, съ краснымъ лицомъ, съ маленькими, сѣренькими глазками, съ ястребинымъ носомъ и до того молчаливый, что я никогда не слыхалъ его голоса: онъ говорилъ какъ будто взорами и жестами, и всѣ его какъ будто понимали, а я убѣгалъ и прятался. Какой-то высокій господинъ, длинный какъ бревно, съ темножелтымъ лицомъ, съ большимъ ртомъ, съ большими ушами и съ большимъ бантомъ на галстукѣ (повязанномъ à la Byron), также иногда встрѣчалъ меня въ гостиной холоднымъ взглядомъ черныхъ непривѣтливыхъ глазъ,—и я также почему-то не любилъ его. Много пріѣзжало къ намъ военныхъ, завитыхъ и перетянутыхъ въ рюмочку. Проходя по залѣ, они гремѣли саблями, останавливались передъ зеркаломъ поправить свои кудри и, спасибо имъ, очень мало обращали на меня вниманія. Я же поглядывалъ на нихъ не иначе, какъ изъ корридора. Однимъ словомъ, я боялся гостей моей матери и, спасибо ей, она не старалась передѣлать меня въ свѣтскаго мальчика. Зато я такъ любилъ ее, такъ любилъ! Поздно ночью, возвращаясь изъ гостей, она почти всегда заходила въ дѣтскую посмотрѣть, здоровъ ли ея маленькій дикарь, и благословить его. И какъ часто я не спалъ далеко за полночь, вслушиваясь въ каждый звукъ, въ каждый шорохъ, раздающійся въ пустыхъ комнатахъ. Я какъ благодати ждалъ ея возвращенія:—вотъ, чудилось мнѣ, наша карета скрипитъ колесами по снѣгу и подъѣзжаетъ къ крыльцу... нѣтъ—проѣхала мимо... это не наша карета... вотъ, кто-то въ передней какъ будто позвонилъ, или стукнулъ дверью... Что же это мама не ѣдетъ!... Лаютъ со-

баки... бьютъ часы... вотъ уже и двѣнадцать пробило... а ея все нѣтъ какъ нѣтъ! И вотъ, наконецъ, весь вздрагивая и волнуясь, я откидываю пологъ у своей постельки, по корридору слышится шорохъ скорыхъ и легкихъ шаговъ ея, шорохъ, похожій на шумъ тяжелаго атласа, а за ней тяжелые шаги ея полусонной горничной.—Зайдетъ ли она перекрестить меня?—И вотъ, при свѣтѣ лампадки, она осторожно отворяетъ въ дѣтскую дверь и, вѣя свѣжимъ воздухомъ, подходитъ ко мнѣ, наклоняетъ свою голову,—и я, повиснулъ на ея шеѣ, торопливо и жадно осыпаю поцѣлуями лицо ея.

Послѣ каждаго такого ночнаго посѣщенія, я засыпалъ сладко и крѣпко, какъ бы вполнѣ удовлетворенный, вполнѣ счастливый. Мать моя была недурна собой, а для меня она была тогда первой въ мірѣ красавицей. Я помню ея черные пахучіе локоны, черныя, длинныя рѣсницы и выразительные темные глаза, которые глядѣли на меня то строго и задумчиво, то ласково и весело. Портретъ г-жи Сталь мнѣ почему-то напоминаетъ мать мою. Въ особенности помню ея голосъ и блѣдно-трепетныя руки. Она была музыкантшей, играла на клавикордахъ и пѣла.

Зимой, разъ въ недѣлю, у насъ собирались гости. Я, разумѣется, при этомъ цѣлый вечеръ не выходилъ изъ своей комнаты, изрѣдка только выглядывалъ изъ корридора въ залу, и когда замѣчалъ въ толпѣ гостей чьи-нибудь глаза, направленные въ мою сторону, или лакея, подходящаго съ подносомъ къ дверямъ, какъ уже сломя голову бѣжалъ къ себѣ на коверъ въ дѣтскую или прятался въ уголъ. Въ эти дни, передъ тѣмъ, какъ ложиться спать, няня Аграфена брала меня за руку и тащила къ мамѣ проститься съ ней, то-есть поцѣловать ей ручку и пожелать доброй ночи. Я упирался на порогѣ дѣтской, упирался въ корридорѣ, и тогда Аграфена начинала стыдить меня, и каждая горничная, каждый мимопроходящій

камердинеръ также въ свою очередь считали своею обязанностію стыдить меня. Но мои упиранья продолжались только до порога залы. Когда жъ случалось, что няня перетянетъ меня черезъ этотъ порогъ, я вдругъ покорялся, дѣлался шелковымъ, бочкомъ шелъ мимо гостей какими-то неестественными, торопливо-маленькими шагами, косился и глядѣлъ гостямъ подъ ноги. Шпоры, лампасы, кончики шпагъ, фалды, все это мелькало мимо меня точно въ какомъ-то пестромъ сновидѣніи; говоръ гостей смутно отдавался въ ушахъ моихъ; тѣ, которые мимоходомъ брали меня за плечо, заставляли меня всѣмъ тѣломъ вздрагивать. Помню, что моя мать въ эти вечера по большей части была окружена мужчинами—дамы почему-то рѣдко появлялись въ ея обществѣ. Помню, что въ эти ненавистные для меня вечера, она рѣдко послѣ ужина заходила въ дѣтскую, и я напрасно съ безпокойствомъ, съ томительнымъ нетерпѣніемъ, лежа въ постели, ожидалъ ее. Далеко за полночь, съ напряженіемъ я слушалъ, какъ въ столовой стучатъ ножами и вилками, какъ ходятъ и говорятъ въ буфетѣ, какъ звенитъ гдѣ-то стекло, какъ сквозь глухой, отдаленный говоръ, вдругъ раздадутся какіе-то струнные звуки, все смолкнетъ, и голосъ моей матери, звучный и страстный, пронесется какъ эхо, замирая на самыхъ тонкихъ, издали неслышныхъ ноткахъ. Какъ, наконецъ, всѣ начинаютъ расходиться, надѣвать сабли, хлопать дверями, изъ залы въ переднюю, то какъ будто хохотать, громко хохотать, то какъ будто спорить, горячиться, потомъ стучать калошами. Чуткій дѣтскій слухъ мой выучился различать всѣ малѣйшіе отголоски, отзвуки и шорохи этихъ вечеровъ, для меня въ это время совершенно непонятныхъ, даже какихъ-то фантастическихъ.

Едвали повѣритъ читатель, что я, будучи семи лѣтъ, былъ тайнымъ свидѣтелемъ какого-то тайнаго совѣщанія, которое происходило чуть ли не въ квартирѣ моей матери.

Я не помню никакихъ подробностей, помню только, что, въ одинъ поздній зимній вечеръ, я очутился въ какой-то темной комнатѣ. Увидѣлъ свѣтлую точку въ замочной скважинѣ и однимъ глазкомъ приложился къ ней. Кажется въ этотъ вечеръ дома никого не было. Няня легла отдохнуть и заснула. Мальчикъ, кажется крестникъ няни, который строилъ со мной карточные домики, вышелъ, сказавъ, что сейчасъ вернется, и пропалъ. Кажется, что, не дождавшись его, я рѣшился идти его отыскивать, хотѣлъ попасть въ дѣвичью и попалъ въ незнакомую мнѣ темную комнату, уставленную шкапами, сундуками и картонками.

Приложившись глазомъ къ замочной скважинѣ, я увидѣлъ довольно большую комнату и посреди ея длинный столъ, покрытый сукномъ и установленный зажженными канделябрами. Вокругъ стола сидѣли какія-то фигуры, изъ которыхъ нѣкоторыя показались мнѣ знакомыми. Сидящіе говорили шепотомъ, и я до сихъ поръ нахожусь въ недоумѣніи, дѣйствительно ли это было или мнѣ это только показалось—что кто-то стоялъ на столѣ съ бумагою въ рукахъ и читалъ. Какъ разъ противъ замочной скважины сидѣлъ какой-то толстый, лысый, но еще молодой генералъ: сидѣлъ онъ въ мундирѣ нараспашку, одной рукой облокотясь на столъ, и, приподнявъ широкое, выразительное лицо, внимательно глядѣлъ на чтеца большими, грустными глазами; другая же рука его держала бокалъ съ шампанскимъ.

Помню, поднялся какой-то глухой шумъ. Всѣ встали и подняли руки... Что это такое было, мнѣ никто никогда растолковать не могъ. Полагаю, что въ этомъ собраніи не было моей матери; она пріѣхала домой очень поздно и сейчасъ же подошла къ моей постели.—Отчего ты не спишь? спросила она меня.—Милая мама, сказалъ я ей,—какую штуку я видѣлъ безъ тебя... И я разсказалъ ей

дѣтскимъ языкомъ всю штуку, которую я видѣлъ. Помню, обнимавшія меня руки ея затрепетали; въ глазахъ ея, освѣщенныхъ лампаднымъ сіяніемъ, отразилась тревога.

— Ты это все во снѣ видѣлъ, сказала она.

— Нѣтъ, ей-Богу, не во снѣ...

— Хорошо, не божись; если не во снѣ, покажи мнѣ это въ другое время, тогда повѣрю; а, впрочемъ, та комната, которую ты видѣлъ, не наша. Это другая, сосѣдняя съ нами квартира. Можетъ быть тамъ былъ какой-нибудь ужинъ. Это пустяки, объ этомъ и говорить нечего. Перекрестись и спи себѣ.

Послѣднія слова произнесла она, какъ будто разсердившись на меня, и вышла. Помню, какъ мнѣ вдругъ послѣ этого сдѣлалось грустно и какъ въ эту ночь въ домѣ все слышалось мнѣ, что кто-то гдѣ-то говоритъ и кто-то ходитъ. Я заснулъ со слезинками на глазахъ, а черезъ нѣсколько дней совершенно забылъ объ этомъ приключеніи. Мама же, какъ кажется и постаралась о томъ, чтобъ я забылъ объ немъ. Она накупила мнѣ новыхъ игрушекъ и привезла мнѣ азбуку съ картинками

ГЛАВА III.

Трудно ладить мнѣ съ моими дѣтскими воспоминаніями; они выплываютъ изъ темной пучины прошлаго на поверхность моего настоящаго, какъ тѣ свѣтлые, радужные пузырьки, которые образуютъ пѣну и уносятся волнами и вѣтромъ: я стараюсь поймать ихъ, прежде чѣмъ они лопнутъ и сольются съ воздухомъ.

Не требуйте отъ меня послѣдовательности. Погружаясь въ дѣтство, я утрачиваю способность ясно понимать, что тогда было *прежде,* что было *послѣ.* Остается только

догадываться. Такъ, напримѣръ, одно лѣто я провелъ гдѣ-то на дачѣ, окруженной соснами. Помню кучу песку за нашимъ крылечкомъ, качели въ саду, черную косматую дворняжку и, наконецъ, по сосѣдству, какой-то фейерверкъ съ лопавшимися въ темномъ воздухѣ ракетами; помню кабріолетъ моей матери и маленькую бѣлую лошадку; но не помню, чтобъ въ это лѣто сидѣла около меня дѣвушка лѣтъ пятнадцати, съ блестящими карими глазками, съ востренькимъ носикомъ, съ розовыми пальчиками и такими же румяными локотками, съ чулкомъ въ рукахъ или съ тетрадкой на колѣняхъ. А если я этого не помню, то и заключаю, что лѣто, проведенное мною въ городѣ, было позднѣе лѣта, проведеннаго на дачѣ.

На которомъ году моей жизни и куда именно уѣзжала моя мама на цѣлые четыре мѣсяца, я не знаю. Вокругъ моей дѣтской совершалось много для меня непонятнаго,— быть можетъ, цѣлые романы и драмы проходили у меня подъ носомъ; и изъ нихъ только нѣсколько ничѣмъ несвязанныхъ, неосмысленныхъ сценъ уцѣлѣло въ моей памяти. И я долженъ записать ихъ, во-первыхъ, потому, что пишу разсказъ этотъ безъ всякихъ претензій на художественность, и потому, во-вторыхъ, что впечатлѣнія дѣтства не остались безъ вліянія на характеръ мой.

Итакъ, въ тотъ годъ, когда уѣзжала куда-то мама моя, мы не нанимали дачи, а оставались въ городѣ. Окна въ нашихъ парадныхъ комнатахъ были забѣлены, и большіе бронзовые часы были завѣшены.

Помню, какъ я заглядывалъ въ пустую спальню моей матери: тамъ было тихо и темно и, какъ теперь вижу, тяжелыя гардины были спущены... Большая, двуспальная кровать, съ позолоченными стрѣлами на кольцахъ, ввинченныхъ въ потолокъ, стояла безъ продѣтаго въ нихъ полога; только передъ кіотомъ горѣла лампадка; ее каждое утро приходила зажигать, подливать масла и поправ-

лять свѣтильню старушка Константиновна, доканчивающая вѣкъ свой на большомъ сундукѣ, въ каморкѣ, около кухни,—существо копотливое, но повидимому уже отрѣшившееся отъ міра сего. Нашъ домъ былъ именно тотъ міръ, за предѣлами котораго она ничего, кромѣ церкви, не знала, и въ этомъ мірѣ ничто уже не занимало ее,—одна только лампадка въ спальнѣ матери моей составляла особенный предметъ ея повседневной заботливости. Она была нянюшкой моего отца, съ дѣтства видѣла тѣ образа, которые сіяли за стеклами кіота, всю жизнь молилась имъ, и только имъ осталась вѣрна во дни своей глубочайшей старости. Казалось, менѣе моего она знала, что̀ происходитъ въ домѣ,—и не интересовалась ни моими играми, ни моимъ первоначальнымъ воспитаніемъ; но я слышалъ, что десять лѣтъ тому назадъ, старая няня любила во все вмѣшиваться, и ея боялись. Не знаю, какъ прошла жизнь ея; но какія обстоятельства заставили ее вдругъ охладѣть къ моей матери, ко мнѣ и ко всему, что происходило въ домѣ, догадываюсь.

Перекрестившись на образъ, я перехожу въ уборную, ложусь на полъ, обитый войлокомъ и зеленымъ сукномъ, гляжусь въ длинное, запыленное, до самаго пола доходящее зеркало, задаю себѣ какой-то нелѣпый вопросъ, въ родѣ слѣдующаго: могу ли я сдѣлаться невидимкой? или, подползая къ зеркалу, цѣлуюсь съ своимъ собственнымъ отраженіемъ. Потомъ я мечтаю...

Тяжелый экипажъ катится по улицѣ. Отъ сотрясенія стѣнъ люстра съ хрустальными подвѣсками издаетъ тихій, хрустальный звонъ,—и вотъ, я смутно припоминаю, что такъ точно звенѣла эта люстра въ тотъ зимній вечеръ, когда я впервые увидалъ мою маму въ черной, атласной маскѣ и такъ испугался, такъ страшно закричалъ, такимъ дикимъ, нечеловѣческимъ голосомъ, что испугалъ мать мою. Она сбросила маску и взволнованная, блѣдная

схватила меня ва руки и принялась меня успокоивать своимъ трогательно-нѣжнымъ голосомъ и всѣми своими незабвенными ласками. Въ это же лѣто пришло къ намъ въ домъ извѣстіе о кончинѣ моего батюшки.

Люди шептались, говорили намеками, и я помню, какъ сжалось мое сердце, и какъ мнѣ вдругъ стало страшно, когда какая-то старушка-кумушка назвала меня *горькимъ сиротинушкой*.

Умеръ папа, умеръ! думалъ я, и, не чувствуя никакой особенной грусти, по той простой причинѣ, что почти и не видалъ виновника дней моихъ, я преувеличивалъ смыслъ этого событія и, помню, всѣмъ говорилъ, при всякамъ удобномъ случаѣ: «А знаете-ли, что?... у меня вѣдь за границей папаша умеръ!»

Мнѣ казалось, что слышавшіе меня неравнодушно принимали это извѣстіе, даже восклицали: «Ахъ ты, Господи! Неужели! Ба-а-тюшки вы мои!...» и это мнѣ почему-то очень нравилось...

Не оттого ли нравилось, что это была первая новость, которая, исходя изъ устъ моихъ, заставляла людей поднимать брови, всплескивать руками, восклицать, качать головой и обращаться къ другимъ съ разными разспросами.

Мнѣ даже казалось, что смерть такое рѣдкое, необычайное, и стало быть до такой степени удивительное явленіе, что говорить о чьей-нибудь смерти—значитъ быть интереснымъ въ высшей степени. Я еще никогда не видалъ мертвыхъ, и въ моей жизни едва ли не въ первый разъ слышалъ о человѣкѣ, переставшемъ существовать. Этотъ человѣкъ былъ мой отецъ; но виноватъ ли я, что больше удивлялся его смерти, чѣмъ плакалъ?

Нянѣ моей также, должно быть, нравились новое траурное платье и бѣлый чепецъ, который она на себя примѣрила. Ей было не болѣе 30 или 35 лѣтъ; уже на

лбу ея были маленькія, перекрещивающіяся морщинки, но пухлыя щеки ея еще сохраняли румянецъ, и этотъ румянецъ сливался съ маленькими веснушками, разбросанными по всему широкому, пухло-бѣлому лицу ея; на этомъ лицѣ сѣрые глазки были точно ковычки; изъ-за полныхъ щекъ выглядывалъ скромный носикъ. Я помню, какъ съеживался алый ротикъ ея, когда она что-нибудь работала или подходила къ зеркалу, и какъ онъ пріятно раздвигался или растягивался, показывая бѣлые зубы, когда она смѣялась, а подбородокъ ея отдѣлялся отъ полной шеи ровными складками.

Няня моя еще возбуждала страсти, не смотря на то, что была не въ первой порѣ молодости; кажется, нашъ лакей Семенъ былъ неравнодушенъ къ ней; бывало, придетъ, отворитъ дверь въ дѣтскую, стоитъ на порогѣ и смотритъ.

Няня шьетъ и не смотритъ, только спроситъ, бывало, въ полголоса:—«Ну, что стоишь?»

— Да я такъ, постоять пришелъ.

— Что стоять-то, ничего не выстоишь.

— Ну, прощайте, говорилъ вздыхая Семенъ, тихонько затворялъ за собой дверь и такъ же тихонько удалялся въ переднюю.

Няня моя — коломенская мѣщанка, была баба добрая, но съ наклонностью къ суевѣрію и къ кокетству. Я ея мало боялся, но не любилъ, когда она сердится, а она-таки была сердита и вспыльчива — иногда щипалась.

Вотъ, представляется мнѣ, сидитъ моя няня на скамеечкѣ и вяжетъ шерстяную фуфайку. Заплывшіе глазки ея превратились въ двѣ неровныя черточки, губки съежились и немного вытянулись впередъ, какъ бы для поцѣлуя, розовыя щеки слегка отвисли.

Я сижу противъ нея на другой скамеечкѣ, держу въ

рукѣ клубокъ, слѣжу за длинными, деревянными спицами и, наблюдая за головою ея, которая принимаетъ такое очевидное участіе въ каждомъ поддѣваньи каждой петли, сижу и слушаю.

А няня собирается подать на меня жалобу.

Она припоминаетъ мнѣ всѣ мои капризы, всѣ мои шалости, все, что я сломалъ, все, что я разбилъ, и говоритъ:

— Все это, голубчикъ ты мой, я передамъ, непремѣнно передамъ твоей маменькѣ, пусть она дѣлаетъ съ тобой что хочетъ.

— А что она со мной сдѣлаетъ?

— А вотъ самъ увидишь...

Эта неопредѣленность отвѣта меня тревожитъ. Скажи мнѣ она, что мама меня высѣчетъ, я не повѣрилъ бы ей, а то... что такое она со мной сдѣлаетъ?

— Ну, что она сдѣлаетъ?

— А вотъ увидишь...

Я сперва задумываюсь, потомъ лѣзу на шею къ моей нянѣ—цѣловаться. Какъ будто чего-то струсилъ и начинаю подличать.

— Эхъ, ты Господи! вскрикиваетъ Аграфена, сморщивъ лобъ свой,—сиди смирно, на иглу наскочишь, глазъ выколю,—ну, куда ты лѣзешь? Баловень! Сиди!

Я опять сажусь на скамеечку.

— Ну, хорошо, говорю я, отложивъ раскаяніе въ сторону,—ты на меня наябедничаешь, а Юлія Антоновна за меня заступится.

— Дожидайся! Вишь ты, кавалеръ какой! Гдѣ азбука-то? ты ее куда дѣвалъ?... Можетъ, и заступилась бы, кабы ты хорошо учился да слушался, а то пріѣдетъ мама, ну, спроситъ, сынокъ, выучился читать? прочти-ка, скажетъ, я послушаю...

Какъ ни страстно любилъ я мать мою, но я скоро

привыкъ къ ея отсутствію. Сначала я плакалъ, потомъ скучалъ, потомъ сталъ думать о ней все рѣже и рѣже и наконецъ, въ сентябрѣ, ожидалъ ея возвращенія не безъ нѣкоторой робости.

Вообще дѣти рѣдко бываютъ постоянными; дѣти же съ пылкимъ сердцемъ еще рѣже бываютъ постоянными. Въ отсутствіе моей матери я всѣмъ сердцемъ привязался къ ея воспитанницѣ — Юлинькѣ Десартъ. Француженка по происхожденію, она первая научила меня русской азбукѣ. Отецъ ея, называвшій себя эмигрантомъ, круглолицый и гладко выбритый старикъ, въ очкахъ и съ лоснящейся лысиной, былъ учителемъ французскаго языка въ одномъ изъ самыхъ новомодныхъ въ то время пансіоновъ. Въ этотъ пансіонъ каждое утро ходила Юлинька. Въ будни она возвращалась обѣдать домой, къ намъ, а по праздникамъ уходила къ отцу и оставалась у него до самаго вечера. Въ эти праздничные вечера я съ такимъ же трепетнымъ нетерпѣніемъ дожидался ея возвращенія, съ какимъ ожидалъ когда-то вечернихъ посѣщеній моей матери.

Послѣ вышеприведеннаго разговора съ няней, я чувствую потребность въ утѣшеніи и отправляюсь въ комнату къ Юлинькѣ.

Она уже съ часъ какъ воротилась изъ пансіона и сидитъ у себя на томъ же пригрѣтомъ ею мѣстечкѣ, а именно, въ уголку, на старомъ полосатомъ диванѣ; ножки у нея поджаты, и ея пыльнаго цвѣта ботинокъ не видать изъ-подъ коричневой юбочки. Въ рукахъ у нея начатый чулокъ; она вяжетъ, вяжетъ проворнѣе няни, но не мотаетъ головой, а сидитъ, вытянувшись, какъ струнка. Опустивъ рѣсницы въ колѣни, смотритъ она въ раскрытую тетрадку и долбитъ урокъ свой, — она долбитъ его, такъ же какъ и вяжетъ, проворно, десять разъ сряду повторяя вслухъ одно и то же слово, одну и ту же фразу,

своимъ однообразно-тихимъ голоскомъ. Голосокъ этотъ сыплется, пріостанавливается и опять сыплется... Рѣдкій день я не заставалъ ея на этомъ диванѣ.

Едва я вошелъ къ ней, какъ она заговорила:

— Сережа! спроси меня... и сунула мнѣ въ руку тетрадь свою, написанную по линейкамъ, довольно крупнымъ, но красивымъ и четкимъ почеркомъ.

— Да я... я не умѣю спрашивать.

— Какъ не умѣешь!—очень просто! очень просто!— На, держи тетрадку, вотъ такъ, и стой здѣсь, вотъ эдакъ; чтобъ мнѣ не было видно, понимаешь? а то я стану заглядывать. Вотъ такъ. Ну, слушай...

La cigale ayant chanté
Tout l'été...

И пошла, и пошла до самаго конца. Я машинально гляжу въ тетрадь и ничего не понимаю. Она велѣла мнѣ перевернуть страницу—я перевернулъ. Она начала другую басню, запнулась, потерла себѣ переносицу, тряхнула чулкомъ и опять вспомнила, и опять тоненькій голосокъ ея посыпался, пока не высыпалъ всѣхъ словъ, ею вызубренныхъ.

— Кажется, знаю! сказала она весело и, сидя на томъ же мѣстѣ, начала подпрыгивать, точно куколка на пружинахъ. Помню, послѣ, всякій разъ, когда она такимъ образомъ, сидя съ тетрадкой, начинала подпрыгивать, я уже понималъ, что это значитъ,—это значитъ: знаю урокъ мой, знаю! знаю! вызубрила! вызубрила!!

— Ну, теперь, сказала Юлинька, какъ бы переводя духъ,—теперь надо приняться за миѳологію.

— А что такое миѳологія?

— Миѳологія... это... это... намъ диктуютъ о богахъ и богиняхъ.

— О какихъ богахъ?

— О всякихъ.—Знаешь ты, напримѣръ, чей сынъ Ку-

пидонъ? Знаешь, эдакій мраморный или фарфоровый мальчикъ съ крылышками и со стрѣлой?

— Чей онъ сынъ?

— Не знаешь? Онъ сынъ Венеры.— Теперь ты понимаешь, что значитъ миѳологія?

— Понимаю.

— Ну, хорошо, положи эту тетратку на окно... Да, пожалуйста не запачкай.

— А когда же я-то буду учиться?

— А принеси скорѣй азбуку... мнѣ еще самой... Ахъ! надо самой къ завтрему два урока выучить... Прошла наша ваканція!

— А что такое ваканція?

— Vacance! Поступи въ пансіонъ, будешь знать, что такое ваканція!

Ваканція, думаю я про себя, это вѣрно мадамъ, содержательница пансіона. Если она прошла мимо нашего дома, то вѣроятно съ умысломъ прошла. Ей хочется, чтобъ я поступилъ къ ней въ пансіонъ.

— Какъ не такъ! говорю я, сообразивши,—стану я къ вамъ въ пансіонъ поступать, что я за дѣвочка!

— Тамъ у насъ есть и мальчики.

— Ну, мальчики, какіе-нибудь дураки...

— Нѣтъ, умнѣе тебя, читаютъ такъ, что чудо! та... та... та... тррр... такъ читаютъ!

Я подумалъ: чтобъ быть умнымъ, надо только читать умѣть... и мнѣ захотѣлось быть умнымъ, разумѣется умнымъ въ глазахъ хорошенькой Юлиньки.

— Я небось не хуже ихъ... сказалъ я.

— Ну, если не хуже, неси скорѣй азбуку—да скорѣй!—а не то мнѣ некогда...

И я пошелъ искать мою заброшенную азбуку.

Такъ шутя выучился я грамотѣ, по милости этой милой дѣвушки.

Отецъ ея, Антонъ Карловичъ Десартъ, въ недѣлю разъ или два навѣщалъ дочь свою. Онъ, солидно откашливаясь, медленными шагами по корридору проходилъ въ ея комнатку, и когда она цѣловала его лѣвую руку, онъ правой рукой дотрогивался до головы ея, какъ бы благословляя, и постоянно по-французски прочитывалъ ей какое-нибудь наставленіе. Такъ казалось мнѣ, судя по наставническому тону его голоса и серіозному выраженію лица его.

Но едва только плѣшивое, круглое, круглыми очками осѣдланное лицо его появлялось въ моей дѣтской — совершалось чудо: вся его солидность превращалась въ подобострастное за мной ухаживанье—чего-чего не дѣлалъ онъ, чтобъ заслужить любовь! Какихъ смѣшныхъ гримасъ, какихъ нѣжныхъ словъ не употреблялъ!

— Душечка! Сержъ! Mon petit ami! Сережа, mon petit плютишка! mon enfant! и пр. и пр.

Онъ то щекоталъ меня двумя пальцами, то, снявъ очки, сажалъ меня верхомъ къ себѣ на спину и начиналъ со мной галопировать по комнатѣ, къ немалой досадѣ моей щепетильной нянюшки.

Я былъ очень доволенъ моимъ сутулымъ конькомъ; конекъ былъ очевидно доволенъ мной, потому что смѣялся, кричалъ: «Allons! Ну-ну! Allons monsieur chevalier!» Вотъ какъ!

И съ этимъ словомъ, утомившись, онъ ставилъ меня на столъ или спускалъ на полъ.

Потомъ вынималъ клѣтчатый, табакомъ выпачканный платокъ, отыскивалъ чистый кончикъ и начиналъ вытирать имъ розовый лобъ свой, покрытый каплями пота.

Или же вынималъ серебряную табакерку и, для освѣженія головы, начиналъ нюхать табакъ, сперва лѣвой ноздрей, прищуря лѣвый глазъ, потомъ правой ноздрей, прищуря правый глазъ; при этомъ, чтобы не засыпать

бѣлой манишки, онъ вытягивалъ впередъ голову и разставлялъ ноги; иногда чихалъ, и такъ громко, что я вздрагивалъ и хохоталъ, а онъ говорилъ мнѣ: «здравствуйте!»

На это моя няня разъ замѣтила, что на всякое чиханье не наздравствуешься; старый французъ ея не понялъ и, какъ кажется, обидѣлся.

ГЛАВА IV.

Къ зимѣ воротилась мать моя. Было воскресное утро. Она неожиданно вошла ко мнѣ въ дѣтскую. Я замеръ отъ радости, да еще отъ какого-то необъяснимаго чувства, похожаго на испугъ.

Няня встала и отодвинула ногой скамейку; Юлинька, собиравшаяся въ католическую церковь, съ молитвенникомъ въ рукѣ, присѣла и, вся раскраснѣвшись, отошла въ сторонку. Я хотѣлъ что-то говорить, но мама наклонилась и стала цѣловать меня.

Я все вспомнилъ—и заплакалъ.

— Жюли! отчего же вы, моя милая дочка, не хотите поцѣловать меня? сказала мать. И Юлинька, какъ видно непривыкшая ни къ чьей родительской нѣжности, очутившись въ объятіяхъ моей матери, несмѣлыми руками обняла ее за талію.

Когда изъ экипажа перенесли всѣ вещи, мама переодѣлась, потомъ пріѣздъ свой ознаменовала разнаго рода подарками. Мнѣ былъ подаренъ маленькій глобусъ, новая куртка, да еще какая-то дѣтская книжка, разумѣется, французская, съ двумя или тремя преплохими картинками; Юлинька получила портфель съ разноцвѣтными сургучами, да еще съ какими-то цвѣтными листиками почто-

вой бумаги. Не смотря на все мое расположеніе къ этой дѣвушкѣ, я ей позавидовалъ, — до такой степени понравились мнѣ разноцвѣтные сургучики! Мнѣ стало грустно; я вообразилъ, что мама любитъ Юлиньку больше, чѣмъ меня. Но не смотря на то, что мнѣ было не болѣе 8 лѣтъ, я скрылъ въ себѣ это завистливое недовольство и продолжалъ то ходить, уцѣпившись за подолъ моей матери, то цѣловать ея руки.

Когда взрослые люди хотятъ очеркнуть характеръ какого-нибудь забывчиваго или простодушнаго идеалиста, или просто человѣка, мало заботящагося о своихъ личныхъ интересахъ, безъ претензій и безъ зависти, они восклицаютъ: «О, какой ребенокъ! какой онъ ребенокъ!»

О! восклицаю я, какъ ошибаются эти взрослые! Настоящій ребенокъ есть величайшій себялюбецъ—онъ все относитъ только къ самому себѣ, на все глядитъ только по отношенію къ своей особѣ. Наблюдайте, и вы увидите, что дрянная кукла, имъ полученная въ собственность, нерѣдко для него дороже того, кто купилъ ее на свой послѣдній грошъ для того только, чтобъ доставить ему минутное развлеченіе. Ребенокъ почти всегда завистливъ и привязывается только къ тѣмъ, кто развиваетъ въ немъ тщеславіе или потакаетъ его дурнымъ наклонностямъ; однимъ словомъ, взрослые эгоисты, устарѣлые честолюбцы и сластолюбцы, никого нелюбящіе кромѣ себя и своихъ,—вотъ настоящія дѣти. Чтобъ вполнѣ развитому и мыслящему человѣку дойдти опять до ребяческаго себялюбія—ему нужно дожить до той дряхлости, которая передъ дверями гроба играетъ въ куклы.

По-моему, воспитывать—значитъ постепенно отучать ребенка быть ребенкомъ, то-есть пріучать его думать о другихъ и вывести его изъ узкой сферы эгоистическаго самодовольства и самообожанія, дабы позднѣе, въ лѣта зрѣлаго мужества, его домъ, его семья или его контора

не показались ему цѣлымъ миромъ, за предѣлами котораго нѣтъ и не можетъ быть ничего достойнаго его вниманія, его любви и самоотверженія.

Не знаю, кстати или некстати я выразилъ, то-есть помѣстилъ на этой страницѣ мысль мою. Но что дѣлать! она пришла въ голову подъ обаяніемъ кой-какихъ, по-видимому, самыхъ чистыхъ и свѣтлыхъ воспоминаній.

Всѣ наши люди также получили подарки, и, подобно дѣтямъ, подобно мнѣ, были недовольны и другъ другу завидовали; такъ, кажется, и няня моя, получившая капоръ, не безъ зависти пощупала и похвалила шерстяной платокъ, которымъ мать моя покрыла спящую на своемъ сундукѣ Константиновну.

Мать моя, какъ кажется, нисколько и не заботилась о томъ, нравятся или не нравятся ея подарки. Часы радостнаго свиданія, разспросовъ, поцѣлуевъ и прочихъ нѣжностей не могли продолжаться слишкомъ долго для этой женщины, какъ видно, рожденной не для одного семейнаго счастія. Всѣ мы, и даже я, скоро отошли для нея на второй, и быть можетъ даже на третій планъ; она сѣла за письменный столъ, и въ тотъ же вечеръ множество ея записокъ было развезено по всѣмъ концамъ столицы.

И наконецъ, не смотря на трауръ, зимніе вечера наши ожили по-прежнему.

Я убѣжденъ, что при всѣхъ своихъ недостаткахъ и слабостяхъ (я и не скрылъ бы ихъ, если-бъ способенъ былъ въ то время понять, въ чемъ именно они заключались, и не скрою, если они сами собою обнаружатся — какъ фактъ, а не какъ мое собственное, личное мнѣніе), я убѣжденъ, что мать моя была въ свое время женщиной далеко не дюжинной. Ее не любили дамы, потому что она была выше многихъ предразсудковъ своего времени, обладая своеобразнымъ, самостоятельнымъ характеромъ.

Не даромъ же къ ней безпрестанно заѣзжали люди, лучшіе въ ту эпоху. Не ясно ли, что она умѣла и понимать ихъ, и сочувствовать имъ.

— Вотъ, сказала она однажды, указывая на меня гостямъ своимъ, — вотъ вамъ мой мальчикъ; я увѣрена, когда онъ подрастетъ, вы не оставите его вашими совѣтами. Сберегите его для лучшихъ дней, разумѣется, если только онъ будетъ достоинъ вашего покровительства.

Гости молча и выразительно на меня посмотрѣли.

Я отошелъ въ уголъ, и когда всѣ принялись опять разговаривать,—рѣшился изъ-подтишка поглядѣть на ихъ физіономіи. Молодой, лысый генералъ съ задумчивыми глазами обратилъ на себя мое особенное вниманіе, — и вдругъ я живо вспомнилъ, что я видѣлъ его въ замочную скважину въ ночь таинственнаго засѣданія. Другія лица также показались мнѣ какъ будто знакомыми; но я никакъ не могъ припомнить, когда и гдѣ я видѣлъ ихъ.

Юлинька, первая моя наставница въ русской грамотѣ, была моей наставницей и въ нѣкоторой свѣтскости.

По вечерамъ, когда собирались гости, она садилась въ столовой за самоваръ, разливала чай, уставляла полными стаканами и чашками большіе подносы и отправляла офиціантовъ разносить ихъ по комнатамъ.

Я, разумѣется, сначала садился поближе къ локтямъ моей молоденькой наставницы, какъ бы не желая выходить изъ-подъ ея покровительства.

Помню, какъ она, подпершись локоткомъ, клала на ладонь свою перевитую косами и лентами голову и, казалось, погружалась въ цѣлое море невыразимо-сладкихъ ощущеній— всякій разъ, когда въ залѣ смолкалъ шумъ гостей и раздавалась музыка. Мать моя иногда пѣла, иногда голосъ ея звучалъ подъ акомпаниментъ гитары (гитара была тогда въ модѣ, особливо у военныхъ и у заѣзжихъ помѣщиковъ).

Пѣли то французскіе романсы, то русскіе: «Среди долины ровныя», напримѣръ, или «Стонетъ сизый голубочекъ», или «Не дивитеся друзья» и тому подобное.

Къ поэзіи вообще, въ особенности же къ русскимъ стихамъ въ то время наше общество не было взыскательно. Лучшими стихотвореніями считались уже произведенія Жуковскаго и Пушкина; но это еще не мѣшало никому отдавать справедливость и Хераскову, и Ив. Дмитріеву, и даже князю Долгорукову—автору книги, извѣстной подъ заглавіемъ: «Бытіе сердца моего».

Иногда подходилъ я къ ломбернымъ столамъ и заглядывалъ на руки играющихъ. Помню вечеръ, когда въ первый разъ я былъ свидѣтелемъ, какъ на одномъ изъ этихъ столовъ какой-то необыкновенно изящный господинъ, не смотря на свою блѣдность и всклокоченные волосы, металъ банкъ, какъ сверкало на рукѣ его бриллiантовое кольцо, какъ на зеленомъ сукнѣ расла куча золота и ассигнацій и какъ, подбоченившись, пристально мать моя глядѣла ему въ холодное лицо, какъ бы стараясь уловить въ чертахъ его намекъ на ужасъ человѣка, стоящаго надъ бездной. Помню, какъ поразила меня торжественность молчанія, окружавшая банкомета, изрѣдка прерывавшаяся словами: «уголъ!»... «на пе!»... «взяла!»... или всеобщимъ, тревожно сдержаннымъ говоромъ. У меня сильно билось и замирало сердце, — какъ будто я попалъ въ тотъ заколдованный кругъ, изъ котораго никто не можетъ выйти тѣмъ, чѣмъ вошелъ, въ тотъ кругъ, отъ котораго будетъ отчасти зависѣть и будущая судьба моя.

Я долго бы простоялъ на одномъ мѣстѣ и все бы смотрѣлъ, ибо никогда еще не видалъ такъ много денегъ и хотя, счастливецъ! я не могъ еще понимать ни ихъ цѣны, ни ихъ значенія въ свѣтѣ, но уже смутно почувствовалъ въ нихъ то могущество, которое заставляетъ

всѣхъ этихъ господъ блѣднѣть, не спать, приходить въ явное отчаяніе, или облекаться въ притворное равнодушіе. Я долго бы еще простоялъ, но Юлинька поймала меня за руку и сказала:

— Сережа, иди спать! Пора!... Не упрямься, голубчикъ мой, пойдемъ!

Я съ минуту упрямился и не давалъ ей увести себя; уходя, я вспомнилъ, что не простился и не поцѣловалъ руки у моей матери. Я оглянулся; но въ эту минуту мать моя стояла у самаго стола, упирая палецъ въ колоду картъ и глядя на руки банкомета... Мнѣ показалось, щеки ея горѣли яркимъ румянцемъ и въ темныхъ глазахъ былъ блескъ, имъ несвойственный.

Говорятъ, въ эту ночь мать моя проиграла 4 тысячи — сущій вздоръ по мнѣнію тогдашнихъ, а можетъ быть и теперешнихъ представителей великосвѣтскаго общества.

Помню, какъ на другой день я досталъ карты, пришелъ къ Юлинькѣ и сказалъ: — «Давайте въ банкъ играть!»

— Въ банкъ... ну, давай!... Нѣтъ, не хочу: надо много имѣть денегъ, чтобъ играть въ банкъ, а у тебя нѣтъ, и у меня нѣтъ.

— А у моей мамы развѣ много денегъ?

— У твоей мамы?!. Юлинька задумалась.—У твоей мамы—я не знаю; должно быть, много.

Гдѣ же это? Много! Отчего же она намъ не даетъ ихъ? подумалъ я...

Самому не вѣрится, когда вспомнишь, до какой степени я былъ наивенъ; я еще не только не думалъ о томъ, бѣдны мы или богаты, я воображалъ посреди своего дѣтскаго уединенія, что всѣ живутъ такъ же, какъ мы, что у всѣхъ есть зеркала и кареты, и лошади, и цѣлая толпа прислужниковъ, что иначе и быть не можетъ.

Много было и чудаковъ въ обществѣ моей матери, но я помню только тѣхъ, которые почему-то оставляли во мнѣ непріятное впечатлѣніе... О двухъ изъ нихъ я уже упоминалъ—и возвращаюсь къ нимъ. Длинный, черноволосый франтъ, съ тяжелымъ взглядомъ, въ золотыхъ очкахъ и съ небрежно повязаннымъ галстукомъ господинъ, нѣкто Равининъ—былъ однимъ изъ обычныхъ посѣтителей моей матери. Онъ считался у молодежи однимъ изъ великихъ умниковъ, чѣмъ-то въ родѣ Мефистофеля, былъ язвителенъ, страшно самолюбивъ и настойчивъ, увлекалъ женщинъ, не смотря на свое четвероугольное лицо и на ту антипатію, которую внушалъ онъ имъ съ перваго взгляда. Онъ подсмѣивался надъ стихами Жуковскаго и считалъ Пушкина чуть ли не дурачкомъ, нелишеннымъ впрочемъ кой-какого дарованія.

Помню, какъ этотъ господинъ, однажды вечеромъ, какъ только замѣчалъ, что я гляжу на него, — высовывалъ мнѣ языкъ, и какъ однажды онъ, поманивая пальцемъ, подозвалъ меня. Я подошелъ къ нему не безъ робости.

— Поди, сказалъ онъ мнѣ, къ этому старичку,—вонъ тамъ, видишь, рому въ чай наливаетъ,—поди къ нему и скажи ему на ухо: «шпіонъ!»

Я весь съежился отъ такого необычайнаго приказанія и, освободивши изъ-подъ руки его плечо свое, побѣжалъ въ столовую подъ защиту Юлиньки.

Часто оказывалось, что мое мѣсто на стулѣ возлѣ моей хорошенькой наставницы было занято. За ней уже волочились.

Я становился за ея стуломъ и сердито поглядывалъ на моихъ соперниковъ, особливо на одного юнаго господина, по фамиліи Набатова. Онъ былъ невысокаго, очень невысокаго роста молодой человѣкъ—красавчикъ небольшихъ размѣровъ. Онъ отличался не столько своею раз-

вязностью, сколько быстрыми переходами отъ этой развязности къ какой-то молчаливой, покорной, чуть не стыдливой тихости. Дѣвицы, въ особенности дамы, его любили, — онъ былъ съ ними игривъ и шаловливъ, какъ кошка. Мужчины на него косились, и при нихъ онъ былъ робокъ, какъ заяцъ. Юлинька находила его *милымъ*— онъ это понималъ и осыпалъ ее комплиментами.

— Вы, сказалъ онъ ей однажды, не стѣсняясь моимъ присутствіемъ, — вы моя маленькая богиня! У васъ маленькая ножка...

Юлинька покраснѣла.

— Да, у васъ маленькая ножка. Но я чувствую, какъ вы сильно наступили на мое бѣдное сердце — какъ вы тяжелы, не смотря на всю вашу легкость... Ахъ, какъ вы тяжелы!...

Онъ вздохнулъ и съ лукавой усмѣшкой покосилъ на нее слегка прищуренные глаза свои.

А Юлинька, выслушавши Набатова, поглядѣла на него съ наивнымъ (такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ помнится) удивленіемъ.

Все, что говорилъ Набатовъ, въ сущности, было пошло до послѣдней степени, но онъ былъ мастеръ такъ непринужденно и такъ граціозно-шаловливо высказывать свои пошлости, что никто на него не сердился. Впрочемъ, въ то время многое, что теперь могло бы показаться намъ и пошлымъ, и сантиментальнымъ, казалось... казалось чѣмъ-то совершенно инымъ — могло даже до слезъ трогать иныхъ барынь или барышенъ.

Я сталъ подслушивать Набатова... и потомъ мысленно повторять и затверживать его фразы.

Старичекъ, на котораго указывалъ мнѣ Равининъ, былъ тотъ самый старикъ, который отличался своимъ таинственнымъ молчаніемъ. Онъ постоянно садился въ уголку у двери, ведущей въ гостиную, и къ великой моей

досадѣ по-прежнему по цѣлымъ часамъ не сводилъ съ меня глазъ своихъ.

Плотно остриженная голова его была съ просѣдью, и съ боку напоминала собой спинку ежа, свернувшагося клубочкомъ. Лицо у него было маленькое, въ красныхъ угряхъ; да и самъ онъ былъ невысокъ. Красный съ горбинкою носъ его и глазки, почти безъ бровей, придавали лицу его что-то ястребиное. Вмѣсто бровей, у него были двѣ шишки, которыя отчасти лоснились, отчасти оттѣняли лицо его. Нерѣдко, проходя мимо, мать моя наклоняла къ нему свои локоны и о чемъ-то говорила съ нимъ; онъ рѣдко отвѣчалъ; но, вмѣсто отвѣта, лицо его озарялось чѣмъ-то въ родѣ улыбки, то-есть сѣрые, блестящіе глазки уходили въ глубь или въ тѣнь отъ выпуклости его черепа, ротъ растягивался въ одну узенькую полосу (почти безъ губъ), и около висковъ появлялись морщинки. Одѣтъ онъ былъ до чрезвычайности просто, но тяжелая, золотая цѣпь, съ тяжелыми печатями, висѣла у него изъ-подъ жилетнаго кармана, и большой перстень сіялъ на указательномъ пальцѣ; подлѣ себя онъ всегда ставилъ или помѣщалъ у себя между колѣнъ трость съ набалдашникомъ, усѣяннымъ дорогими каменьями.

Я часто встрѣчалъ его у насъ въ домѣ, зналъ, что зовутъ его Никитой Ивановичемъ, что онъ очень богатъ, принятъ въ высшемъ обществѣ и не любитъ говорить иначе, какъ оставшись съ кѣмъ-нибудь наединѣ, и то не всегда и не съ каждымъ.

Впослѣдствіи, какъ вы увидите, я коротко узналъ его; пока ограничусь вышеприведеннымъ легкимъ очеркомъ и назову его фамилію. Фамилія его была Нарышкинъ.

Между гостями моей матери, разумѣется, бывали и литераторы.

Такъ, помню я, однажды былъ у насъ и баснописецъ

Крыловъ. Мнѣ указала на него Юлинька и сказала: Вонъ, видишь толстаго этого, который ужинаетъ около твоей мама,—это тотъ самый, который сочинилъ «Мартышка и Очки», «Оселъ и Соловей» и всѣ тѣ басни, которыя ты выучилъ.

Я, не безъ недовѣрія къ словамъ Юлиньки, обратилъ свое вниманіе на широкую спину и такой же широкій затылокъ нашей знаменитости. Онъ ѣлъ и пилъ за троихъ, и, разумѣется, не замѣчалъ моего удивленія.

Ни разу еще мнѣ не приходило въ голову, что все печатное, прежде чѣмъ печатается, просто пишется, — какъ будто книги также являются на свѣтъ Божій, какъ листья на деревьяхъ, сами собой. Къ тому же, сочинители представлялись мнѣ совершенно въ другомъ видѣ. Я воображалъ ихъ одѣтыми въ классическую тогу или въ итальянскій, средневѣковой костюмъ, съ вѣнками на головахъ, и думалъ, что встрѣтить поэта или сочинителя такъ же трудно, какъ увидѣть льва, барса, крокодила или привидѣніе.

Я не столько удивлялся баснямъ, сколько въ этотъ вечеръ удивлялся тому, что баснописецъ такой же, какъ и всѣ, такъ же ѣстъ, пьетъ и окруженъ людьми, а не звѣрями и птицами.

Такъ постепенно, къ концу слѣдующей зимы, я привыкъ къ толпѣ—и лица, фигуры, замашки гостей нашихъ стали мало-по-малу занимать меня. Это было какое-то другое, далеко не теперешнее общество: смѣсь Екатерининскихъ стариковъ съ патріотами 12-го года—съ офранцуженными *изгнателями* французовъ, крѣпостниковъ съ либерализмомъ тогдашняго покроя. Люди рѣзче отличались другъ отъ друга своими особенностями: дѣльцы глядѣли кулаками, отъ вельможи такъ и несло вельможествомъ; романтикъ не стыдился своего романтизма, и, съ одной стороны, приходить въ восторгъ отъ чего бы то ни было,—было

принято чуть ли не за признакъ высшаго образованія; съ другой стороны, молчаливая сосредоточность, даже мрачность имѣла свою особую привлекательность. Гусаръ считалъ своимъ долгомъ быть кутилой и сорить деньгами; юный аристократъ, пріѣхавшій изъ-за границы, считалъ своей обязанностію говорить о гражданскомъ долгѣ или корчить разочарованнаго, прикидываться Чайльдъ Гарольдомъ. Жадно ловилась всякая литературная новость, и рукописные стихи ходили по рукамъ, прежде чѣмъ появлялись въ печати. Быть героемъ, отличаться въ чемъ бы то ни было, въ кутежѣ, въ карточной игрѣ или въ волокиствѣ, для всякаго желающаго не потеряться въ обществѣ, казалось необходимостью! Какъ ни странны, какъ ни неестественны герои въ повѣстяхъ Марлинскаго,—ихъ прототипы, такіе же странные и неестественные, нерѣдко попадались въ этомъ полуфранцузскомъ, полурусскомъ обществѣ. Никто серіозно не зналъ, чего онъ хотѣлъ; но всякій, казалось, готовилъ себя къ какому-то подвигу. Прежняя разнузданность нравовъ въ столицахъ получала парижскій лоскъ, и пустота жизни прикрывалась моднымъ остроуміемъ.

Можетъ быть я ошибаюсь, припоминая себѣ только кругъ моей матери и такія лица, такіе характеры, о которыхъ я ничего не говорю, потому что разсказъ о нихъ слишкомъ далеко въ сторону отвлекъ бы перо мое. Можетъ быть, я и потому ошибаюсь, что такое мнѣніе о тогдашнемъ, Александровскомъ обществѣ, я составилъ себѣ гораздо позднѣе, по однѣмъ догадкамъ и личнымъ моимъ воспоминаніямъ.

ГЛАВА V.

И выходитъ, что я невольно забѣжалъ впередъ — вдругъ перескочилъ отъ азбуки къ баснямъ Крылова, къ

классической тогѣ, къ италіянскому костюму и къ такимъ вообще понятіямъ, которыя дались мнѣ не вдругъ, при помощи гравюръ, подслушанныхъ рѣчей, отцовской библіотеки и моихъ первыхъ наставниковъ.

Кто же были мои первые наставники?

Старикъ Десартъ, прикидываясь влюбленнымъ въ милаго Сережу—«son ami et petit плютишка», достигъ своей цѣли. Мать моя вѣроятно тронулась безкорыстностью чувствъ его и согласилась на его предложеніе не болѣе двухъ разъ въ недѣлю давать мнѣ уроки французскаго языка или, по словамъ Десарта, слегка, такъ-сказать, шутя, пріучать меня къ французскому языку и такимъ образомъ положить прочный фундаментъ всему моему будущему развитію.

Принимая во вниманіе необычайныя любезности, расточаемыя мнѣ почтеннымъ Антономъ Карловичемъ, я безъ особеннаго ужаса согласился быть ученикомъ его. Такъ, иная простодушная дѣвица, не безъ нѣкотораго конфуза, но и безъ особеннаго страха соглашается, за нѣсколько сказанныхъ ей любезностей, за фунтъ конфектъ да за билетъ въ оперу, отдать руку и сердце человѣку, ей вовсе незнакомому. Такимъ дѣвицамъ нерѣдко приходилось плакать замужемъ. Такъ нерѣдко и мнѣ потомъ приходилось плакать за уроками Десарта.

Мало-по-малу, съ удивительнымъ тактомъ, покидалъ мой французъ роль моего баловника или забавника — сталъ *затягивать бразды*, по выраженію Пушкина, и превратился наконецъ въ неумолимо-строгаго учителя.

Это былъ учитель стараго закала, воспитанный іезуитами; дисциплину ставилъ онъ въ основаніе всякаго ученія, и страхъ наказанія въ основаніе всякой дисциплины. Онъ до того довелъ меня, что я безъ сердечнаго трепета не могъ слышать въ корридорѣ приближающихся шаговъ его. На десятомъ урокѣ онъ уже приходилъ въ азартъ,

горячился, осыпалъ табакомъ свою манишку и чуть-чуть было не схватилъ меня за ухо. Я уже видѣлъ, какъ потянулась и какъ съ полудороги воротилась назадъ рука его. Этого было довольно для того чтобъ въ глазахъ моихъ навернулись слезы.

Можете сами судить, что было на тридцатомъ и сороковомъ урокѣ. Необыкновенно способный шутя убѣждать, онъ убѣдилъ мать мою, что безъ дисциплины ничего со мной не подѣлаешь, что я изорву книги, тетради залью чернилами, изстрогаю линейку перочиннымъ ножемъ— наконецъ, буду ему грубить, если она не позволитъ ему, слегка, иногда... самымъ осторожнымъ и невиннымъ образомъ потеребить меня за ухо.

Получивши это право, онъ имъ пользовался—уши мои до сихъ поръ готовы покраснѣть отъ одного воспоминанія.

Десартъ, какъ истинный артистъ, умѣлъ до безконечности разнообразить это осторожное наказаніе. Но...

Перейду къ другому моему наставнику и успокою на немъ мое встревоженное воображеніе.

Этотъ другой былъ призванъ учить меня всѣмъ наукамъ, а именно: священной исторіи, русской грамматикѣ, географіи, латинскому языку и ариѳметикѣ.

Я страшно струсилъ, когда въ первый разъ окинулъ глазами Василія Васильевича Глаголевскаго. Онъ вошелъ въ синемъ потертомъ сюртукѣ съ воротникомъ, который, въ видѣ хомута, лежалъ вокругъ его шеи, повязанной клѣтчатымъ, чуть ли не носовымъ платкомъ. Волосы его были у висковъ подстрижены и торчали на высотѣ обширнаго лба его, въ видѣ какого-то пушистаго кустика. Говорилъ онъ съ разстановкой, сиповатымъ басомъ и не зналъ, куда дѣвать свои руки. Не знаю, какой смертный отрекомендовалъ его моей матери, какъ хорошаго учителя! Кто-то говорилъ мнѣ, что этотъ смертный былъ

самъ предсѣдатель гражданской палаты, подъ начальство котораго Глаголевскій поступилъ на службу прямо изъ семинаріи. Вѣроятно, отецъ его былъ духовникомъ этого предсѣдателя и приходился съ родни духовнику моей матери.

Долго, съ чувствомъ какого-то дѣтскаго недовѣрія, поглядывалъ я на его плотное, словно въ форму вылитое, и въ этой формѣ застывшее, лицо. Оно имѣло, однакожъ, два движенія, изъ которыхъ одно выражало улыбку—и при этомъ нѣкоторое довольство своимъ положеніемъ, другое выражало напряженность его соображеній. Такъ напримѣръ, когда онъ соображалъ, гдѣ именно отмѣтить мнѣ ногтемъ въ книгѣ конецъ урока, на лбу его появлялись четыре складки и брови грозно сдвигались. На палецъ Глаголевскаго, съ огромнымъ, краснымъ ногтемъ, я также долго посматривалъ съ недовѣріемъ. Мнѣ все казалось, что этотъ палецъ непремѣнно рано или поздно сковырнетъ мнѣ носъ или глазъ выколетъ. Но мои опасенія насчетъ Глаголевскаго разрѣшились какъ-то сами собой. На сколько возненавидѣлъ я моего французскаго наставника, на столько привязался я къ этому бурсаку—до такой степени привязался, что послѣ уроковъ не пускалъ домой и чуть ли не цѣловалъ его.

Главная, оригинальная черта Глаголевскаго заключалась въ томъ, что онъ ни во что не ставилъ разницу лѣтъ, которая была между нами. Вѣроятно, припоминая свою многоопытность въ лѣта своего ребячества, онъ нисколько не церемонился, когда что нибудь мнѣ разсказывалъ, а къ разсказамъ онъ любилъ примѣшивать такія двусмысленныя подробности, которыя, вѣроятно, сами собой появлялись въ головѣ его, ради избытка игривой и въ то же время довольно грязной фантазіи. Нѣкоторыя изъ этихъ подробностей не могли не поразить умъ мой своей загадочной новостью. У него былъ какой-то особенный

складъ или букетъ рѣчи, и все имъ разсказанное, какъ сказка, легко ложилось въ моей памяти. Тонъ этихъ разсказовъ былъ до такой степени серьозенъ и убѣдителенъ, что не только я, но и моя няня, лакей Семенъ и парикмахеръ обратили особенное вниманіе на его краснорѣчіе, и нерѣдко, послѣ уроковъ, до 8 часовъ вечера, размѣстившись кто у дверей, кто у стѣнки, внимали ему не безъ удовольствія и подчасъ вздыхали...

Никогда не забуду я, какъ наглядно разсказывалъ онъ намъ исторію о Фараонѣ, о Іосифѣ прекрасномъ и о женѣ Пентефрія.

Кромѣ разсказовъ изъ Библіи, у него еще были другіе, и, какъ десертъ къ концу обѣда, онъ всегда приберегалъ ихъ къ концу вечера или къ тому времени, когда Семенъ, пріотворяя дверь въ мою классную, притаивался въ корридорѣ, или входилъ старикъ Логинъ, а моя няня заваривала для Глаголевскаго свѣжаго чаю въ своемъ собственномъ чайникѣ, и сама усердно подносила ему на подносѣ дымящійся стаканъ вмѣстѣ съ маленькимъ графинчикомъ рому.

Откуда, изъ какихъ четій Глаголевскій почерпалъ свои розсказни?—Господь его вѣдаетъ. Казалось, что онъ *досконально* былъ знакомъ съ тѣмъ, что дѣлается въ преисподней, что онъ самъ не разъ видалъ, какъ сатана, сидя въ аду, встрѣчаетъ грѣшниковъ, какъ мучаются пастыри, блудницы, ябедники и мздоимцы, какъ душа наша, отдѣлясь отъ тѣла, ходитъ по мытарствамъ и какія на своемъ пути встрѣчаетъ препятствія.

Для лубочныхъ, символическихъ изображеній нельзя было бы и найдти лучшаго истолкователя.

Я, разумѣется, вѣрилъ каждому слову его, какъ неопровержимой истинѣ.

Однажды, допивъ стаканъ чаю съ ромомъ и опрокинувъ его на блюдечко, Глаголевскій крякнулъ, и, въ

назиданіе людямъ, разсказалъ о какомъ-то пустынникѣ, который спасался—спасался чуть ли не 20 лѣтъ и—вдругъ потерялъ всю свою святость, ибо не устоялъ отъ великаго искушенія: однажды ночью къ нему въ пещеру, постучался бѣсъ, пріявши на себя видъ голой женщины, онъ впустилъ ее—и согрѣшилъ. Этотъ разсказъ для моей невинной души былъ также чѣмъ-то въ родѣ бѣсовскаго искушенія. Цѣлую ночь мерещилась мнѣ эта проклятая, голая женщина. Какой же это грѣхъ, думалъ я, увидать голую женщину? Господи, Господи! спаси меня отъ такого страшнаго прегрѣшенія!... И помню, какъ съ тѣхъ поръ я сталъ подглядывать за моей няней, которая по ночамъ, а иногда и вечеромъ, ложась спать, имѣла обыкновеніе зажигать свѣчу и искать блохъ... На эту охоту, до моего знакомства съ Глаголевскимъ, я не обращалъ никакого сколько нибудь серьознаго вниманія.

Но не странно ли, когда я притворялся спящимъ и наблюдалъ за моей няней сквозь щелку полога, совѣсть за этотъ страшный грѣхъ меня нисколько не мучила. Я успокоивалъ ее тѣмъ, что няня не женщина, потому что она няня, потому что настоящія женщины блохъ никогда не ищутъ, и потому что никакой бѣсъ не захочетъ превратиться въ Аграфену. Вотъ Юлинька, напримѣръ, о!... это было бы страшно! Такъ успокоивалъ я мою совѣсть и повременамъ продолжалъ свои наблюденія.

Иногда Глаголевскій заносилъ съ собой свертокъ разныхъ картинокъ, гравированныхъ и литографированныхъ, вырванныхъ изъ книгъ, или съ явными признаками, что онѣ были по всѣмъ угламъ прилѣплены къ стѣнѣ клейстеромъ и для клоповъ служили чѣмъ-то въ родѣ спасительнаго прикрытія.

Я вполнѣ убѣжденъ, что еслибъ между этими картинами нашлась одна самаго неприличнаго содержанія, Глаголевскій нисколько не стѣснился бы показать ее мнѣ,

какъ человѣку, давно уже искусившемуся. Но всѣ онѣ, кромѣ купающейся Сусанны и подглядывающихъ за нею двухъ судей, были картинки очень скромныя. Какіе-то портреты греческихъ поэтовъ и философовъ, разныя сцены изъ римской исторіи и тому подобное... Тутъ-то въ первый разъ я и услыхалъ слово *классическій* поэтъ, классическая тога.

— Что такое классическій? спросилъ я у Глаголевскаго.

— А это такіе философы и піиты, о которыхъ упоминаютъ въ классахъ, отвѣчалъ Глаголевскій.

— Понимаю. А классическая тога?

— Это такая одежда, которую носили древніе. А такъ какъ въ нѣкоторыхъ классахъ семинаріи или гимназіи упоминаютъ и о той одеждѣ, въ какую облекались Греки или Римляне, то и тога называется классической, рѣшилъ Глаголевскій.

— Отчего на этихъ головахъ вѣнки, а на этихъ нѣтъ вѣнковъ?

— Оттого, что это піиты.

— А можетъ ли быть поэтъ безъ вѣнка?

— Нѣтъ, этого не бываетъ... Вѣнчанный музами долженъ имѣть вѣнокъ.

— А могу я сдѣлаться поэтомъ?

На это Глаголевскій, усмѣхнувшись, отвѣтилъ мнѣ что-то по-латыни—вѣроятно: «Poetae nascuntur, oratores fiunt», но такъ какъ я его не понялъ, то и не ручаюсь, то ли онъ произнесъ; помню только, что послѣ этой латинской фразы, Глаголевскій перешелъ къ уроку и заставилъ меня проспрягать глаголъ «блюсти».

ГЛАВА VI.

Прошелъ годъ; въ этотъ годъ, я выучилъ четыре правила ариѳметики, узналъ кое-что изъ географіи, прошелъ латинскія склоненія и почти всю Священную исторію. Но мои успѣхи во французскомъ языкѣ были еще очевиднѣе. Я сталъ говорить какъ маленькій французъ; но Антонъ Карловичъ, по-прежнему, рвалъ мнѣ уши и оставался недоволенъ мной. Мнѣ кажется, что еслибъ я, 9-ти-лѣтній мальчикъ, сталъ писать по-французски не хуже Фенелона, то и тогда не угодилъ бы моему учителю, и онъ продолжалъ бы жаловаться на меня, вслѣдствіе принципа, что никогда учитель не долженъ показывать своему ученику, что онъ доволенъ имъ. Этого правила держался мой Десартъ и всегда находилъ случай придираться къ своимъ ученикамъ, чтобъ не прошелъ въ нихъ страхъ, поддерживающій дисциплину.

И немудрено мнѣ было выучиться по-французски: въ нашей гостиной это былъ языкъ преобладающій.

Никогда не забуду я, въ какое искреннее негодованіе приходилъ Антонъ Карловичъ всякій разъ, когда дочь его, забывшись, начинала говорить со мной по-русски; онъ простить не могъ Юлинькѣ знанія этого языка; онъ убѣжденъ былъ и меня убѣждалъ, что этотъ мужицкій языкъ не можетъ быть принятъ ни въ какомъ порядочномъ обществѣ. А бѣдная Юлинька сама была не рада, сама не знала, какъ выучилась она такъ хорошо болтать на этомъ мужицкомъ или лакейскомъ языкѣ.

Воспитаніе ея началось не въ аристократическихъ салонахъ, а въ дѣвичьей, у богатой вдовы, княгини Малыгиной, которая взяла ее на свое попеченіе.

Но эта княгиня, вдругъ, къ величайшему соблазну всего петербургскаго высшаго общества, на пятидеся-

томъ году своей жизни, вышла замужъ за какого-то еще очень юнаго французика, подбитаго вѣтеркомъ, и въ добавокъ, самаго темнаго происхожденія. Этому юному птенцу буржуазной Франціи вѣроятно понравились ея карманы, а ей, пожилой русской барынѣ, понравились его розовыя щеки, черные усики и парижскій выговоръ. Разумѣется, новобрачные уѣхали въ Парижъ, и, разумѣется, Юлинька осталась на попеченіи дворовыхъ. Отца ея въ Петербургѣ не было, онъ жилъ въ окрестностяхъ Москвы, въ имѣніи князя Г... и занимался воспитаніемъ дѣтей его, мало помышляя о своей дочери, ибо увѣренъ былъ, что она попала въ богатый, аристократическій домъ и, стало быть, до поры, до времени не нуждается въ его заботливости. Къ счастью Юлиньки, дворовые люди княгини Малыгиной были изъ числа порядочныхъ. Правда, былъ между ними одинъ пьянчужка, былъ даже одинъ уличенный въ покражѣ серебряной ложечки и выдранный за это въ полиціи; но въ семьѣ не безъ урода. Семейные дворовые люди были женаты на разныхъ мастерицахъ и не допускали никакого слишкомъ явнаго безобразія. Жена дворецкаго начала учить Юлиньку шить и вязать, разумѣется, съ цѣлью, изъ ея проворныхъ, переимчивыхъ, маленькихъ ручекъ, извлекать для себя какъ можно больше выгоды. Вотъ почему Юлинька и умѣла такъ отлично вязать чулки, выводить стрѣлки и округлять пятки, что въ нашемъ домѣ, у нашихъ дворовыхъ женщинъ и дѣвокъ прослыла чѣмъ-то въ родѣ чулочнаго генія.

Княгиня Малыгина (почему-то и замужемъ не перемѣнившая своей фамиліи и оставившая ее на всѣхъ своихъ визитныхъ карточкахъ) года черезъ два или три воротилась въ Петербургъ, разумѣется, безъ мужа, но съ разстроенными финансами, съ горькимъ въ душѣ разочарованіемъ и съ новой воспитанницей, дѣвочкой лѣтъ пяти или около.

Злые языки поговаривали, что эта воспитанница была ничто иное, какъ побочная дочь ея, когда-то тайно покинутая ею въ Швейцаріи на рукахъ какой-то кормилицы. Я ни слова не упомянулъ бы объ этихъ слухахъ, еслибъ вновь привезенная дѣвочка не заняла въ сердцѣ княгини такъ много мѣста, что не нашлось уже въ немъ ни малѣйшаго уголка для бѣдной Юлиньки. Наша дѣвочка такъ и осталась въ заднихъ комнатахъ, съ дѣтьми прислуги, подъ надзоромъ дворничихи. Изрѣдка только призывали ее въ залу играть съ новой барышней, то-есть ублажать ее всѣми зависящими отъ нея играми.

Дѣтей дворничихи училъ грамотѣ какой-то отставной писарь, одинъ изъ ея племянниковъ, и совершенно нечаянно выучилъ и Юлиньку читать по-русски. Юлинька была ко всему прилежна и такъ занята, что ни разу не пришло ей въ голову подумать о своемъ, такъ сказать, унизительномъ положеніи; холодность княгини нисколько ее не печалила; капризы ея дочки нисколько не тревожили; съ дѣтства былъ у нея характеръ ровный и со всѣми уживчивый.

Антонъ Карловичъ Десартъ, набивши карманъ плодами своихъ учительскихъ подвиговъ, воротился въ Петербургъ, оглядѣлся, сталъ посѣщать княгиню Малыгину и вникать; наконецъ, вникъ во все и пришелъ въ ужасъ и негодованіе отъ того пренебреженія, въ какомъ находилась дочь его.

Разъ прибѣжалъ онъ къ моей матери и въ самыхъ ужасныхъ краскахъ изобразилъ положеніе своей дочери. — «Мое дитя гибнетъ! гибнетъ! восклицалъ онъ. Княгиня готовитъ ее себѣ въ горничныя, люди развращаютъ... У меня одна комната, я пока нанимаю одну chambre-garnie, я не могу взять къ себѣ мою бѣдную Юлію... Что мнѣ дѣлать?—que faire?»

Мать моя, тронутая до глубины души, на другой же день поѣхала къ княгинѣ Малыгиной.

Княгиня очень была рада видѣть мать мою, наговорила ей тысячу комплиментовъ, но сказала между прочимъ: «Не понимаю, чего этотъ французъ отъ меня хочетъ? Я кормлю, одѣваю и обуваю дочь его. Когда подрастетъ моя Зизи, я найму англичанку и нѣмку и что хотите, — тогда и Жюли можетъ учиться для компаніи. Чего же ему? Chère madame Tschaligin! отъ этихъ французовъ я ничего не жду, кромѣ самой черной неблагодарности. Если же вы принимаете въ дочери этого учителя такое участіе, то кто вамъ мѣшаетъ взять ее на свое попеченіе?»

Мать моя, воротившись домой, написала письмо къ Десарту. Въ отвѣтъ на это письмо, Десартъ привезъ къ намъ Юлиньку. Такъ съ тѣхъ поръ и поселилась у насъ эта милая дѣвушка.

Ей было уже 12 лѣтъ, когда мнѣ было семь; она уже ходила въ пансіонъ и училась миѳологіи, а я только что принимался за азбуку и строилъ на ея переплетѣ карточные домики. Ей не было еще и 16-ти лѣтъ, какъ я уже былъ влюбленъ въ нее и даже ревновалъ ее къ Набатову.

Разъ я спросилъ ее, пойдетъ ли она за меня замужъ, когда я выросту?

— А чѣмъ ты будешь, когда выростешь?

— Гусаромъ.

— Ну, такъ я за тебя замужъ не пойду.

— Отчего?

— Да такъ.

— Отчего?.. присталъ я къ Юлинькѣ.

— Да оттого, что всѣ гусары забулдыги.

Это меня озадачило.

Въ сущности, я вовсе не мечталъ о томъ, чтобъ быть

гусаромъ, но гусарскій мундиръ мнѣ нравился, и я вообразилъ, что въ этомъ мундирѣ я непремѣнно понравлюсь Юлинькѣ.

— Нѣтъ, я не буду гусаромъ. Я... я... вы еще и не подозрѣваете, чѣмъ я хочу быть.

— Чѣмъ?

— Я пойду въ монастырь и приму ангельскій чинъ, сдѣлаюсь схимникомъ; я, быть можетъ, уйду въ лѣсъ, вырою себѣ пещеру и буду спасаться,—тогда приходите ко мнѣ, я благословлю васъ. Если же вы будете больны, я сдѣлаю чудо, и Богъ пошлетъ вамъ исцѣленіе.

Юлинька поглядѣла на меня, какъ на сумасшедшаго, и засмѣялась. Это также меня озадачило.

— Или нѣтъ, Юлинька, я тогда только постригусь, когда вы мнѣ измѣните или не пойдете за меня замужъ. Лучше я сдѣлаюсь артистомъ, поѣду въ Италію, напишу картину, такую картину, какой еще никто никогда не писалъ. Я непремѣнно хочу чѣмъ-нибудь прославиться, или буду Рафаэлемъ, или Мильтономъ, который «Потерянный Рай» написалъ, или—я не знаю чѣмъ... Иногда мнѣ воображается, что я стою на облакахъ и созерцаю Бога; иногда мнѣ кажется, что я великій художникъ, — мнѣ хочется непремѣнно сдѣлаться великимъ художникомъ или артистомъ, хоть музыкантомъ, потому что вы любите музыку.

Такъ говорилъ я Юлинькѣ, и—даже говорилъ все это не безъ внутренняго волненія.

Я уже зналъ въ то время наизусть оду Державина «Богъ» и множество басенъ Хемницера и Крылова, по-французски прочелъ «Телемака», «Аталя», «Paul et Virginie» и еще кой-что. По-русски прочелъ Кадма и Гармонію, повѣсти Жанлисъ въ переводѣ Карамзина, чей-то переводъ Мильтона «Потерянный Рай», прочелъ чье-то

жизнеописаніе великихъ художниковъ, да еще въ добавокъ наслушался Глаголевскаго.

Однажды, спустя много недѣль, а можетъ быть и мѣсяцевъ послѣ моего неудачнаго сватовства, я замѣтилъ у Юлиньки одну синенькую тетрадку, въ которую она что-то списывала изъ другой тетрадки. Я не обратилъ бы на эту переписку никакого вниманія, еслибъ всякій разъ, когда я входилъ къ ней, Юлинька съ удивительнымъ проворствомъ не прятала въ столъ свою рукопись.

— Покажите... просилъ я.

— Не покажу.

— Да что это такое. Пожалуйста покажите!

— Много будешь знать, скоро состаришься.

Мнѣ вообразилось, что въ этой тетрадкѣ заключается что-то въ высшей степени для меня интересное...

Я замѣтилъ, куда она прячетъ эту тетрадку, и, когда Юлинька ушла къ отцу, забрался въ ея комнату, отворилъ ея шкапчикъ, присѣлъ на корточки, порылся въ тетрадкахъ, лежащихъ на нижней полкѣ, и, какъ воръ, затворивши шкапъ, побѣжалъ къ себѣ въ дѣтскую: у меня въ рукахъ была добыча, синяя тетрадка Юлиньки.

А, стихи! вѣрно любовные! подумалъ я и перешелъ въ гостиную, чтобъ прочесть ихъ, лежа на диванѣ, такъ чтобъ изъ-за овальнаго стола не было видно, что я дѣлаю. Это были стихи Пушкина: «Отрывокъ изъ Руслана и Людмилы», «Братья разбойники», «Черная шаль» и другіе.

Пушкинъ только-что входилъ въ славу. Имя его громко пронеслось по всей Руси великой, но не всѣ осмѣливались вслухъ читать его. Въ гимназіяхъ и пансіонахъ, между тогдашними педагогами, Пушкинъ почему-то считался поэтомъ безнравственнымъ — вообще не такимъ, чтобъ можно было позволять читать его дѣтямъ или молоденькимъ дѣвушкамъ. Иные ставили его далеко ниже Дер-

жавина. Были и такіе мудрецы, что въ появленіи стиховъ его видѣли упадокъ русской поэзіи. Мой учитель Глаголевскій также разъ выразился о немъ, какъ о легкомъ виршеслагателѣ.

Не знаю, на сколько душа Юлиньки откликнулась на звуки новой, неслыханной на Руси лиры; что касается до меня—я никогда не забуду, какимъ жаромъ обдали меня эти звучныя строчки.

Кой-что я успѣлъ списать, прежде чѣмъ положилъ тетрадку на прежнее мѣсто, и все, что списалъ, на другой же день зналъ наизусть.

Юлинька пришла въ ужасъ, когда я на обумъ сталъ читать при ней-

«Гляжу я безмолвно на черную шаль,
«И хладную душу терзаетъ печаль.».

Я едва скрывалъ торжество свое.

Юлинька поглядѣла на меня съ упрекомъ и сказала:— Ты таскаешь мои тетради?

— Какія тетради?.. Тутъ я хотѣлъ солгать, сказать, что стихи эти мнѣ продиктовалъ Василій Васильевичъ Глаголевскій, но не могъ. Юлинька, опечаленная, уходила. Я бросился цѣловать ея руки и цѣлый часъ просилъ у нея прошенія.

Она не прощала—даже не хотѣла говорить со мной.

Я упалъ духомъ и заплакалъ. Мнѣ показалось, что уже все погибко, что Юлинька меня возненавидѣла, что я ничтожный, подлый воришка, достойный ея презрѣнія.

Юлинька утерла мнѣ слезы и обѣщала достать мнѣ много, много разныхъ стихотвореній Пушкина.

Когда я остался одинъ, то подумалъ: какъ это хорошо, что я при ней заплакалъ: — еслибъ я заплакалъ безъ нея — она не сжалилась бы, и тогда я былъ бы самый несчастный въ мірѣ человѣкъ...

ГЛАВА VII.

Наступилъ тотъ періодъ дѣтства, когда я сдѣлался непростительно разсѣянъ, капризенъ и нетерпѣливъ.

Всѣ замѣчали мою разсѣянность, но никто не замѣтилъ, откуда она взялась.

Но что такое разсѣянность? Это постоянная или временная утрата возможности на все въ равной степени обращать свое вниманіе, вслѣдствіе нарушеннаго равновѣсія нравственныхъ силъ. Никто болѣе разсѣянныхъ не способенъ такъ сосредоточиваться на одной мысли или поглощаться однимъ чувствомъ. Люди, ведущіе въ свѣтѣ самую разсѣянную жизнь, въ сущности никогда почти не бываютъ разсѣянными.

Какой первый признакъ разсѣянности?—Очевидная невнимательность.—И сталъ я невнимателенъ въ то самое время, когда весь былъ одно любопытство, чуткое и жадное, — любопытство, направленное на все и на всѣхъ, меня окружающихъ.

Что мѣшало этому любопытству?—Мечтательность и суевѣрно настроенное воображеніе. Подъ вліяніемъ этой мечтательности я сдѣлался мистикомъ. Моя набожность доходила то того, что по вечерамъ, когда уѣзжала моя мать, когда тушили всѣ лишнія, стѣнныя лампы, и въ домѣ воцарялась мертвая тишина, я пробирался въ спальню къ матери, заползалъ за ея кровать, прятался за какой-нибудь гардиной, становился на колѣни и, глядя на кіоту, уставленную иконами и озаренную сіяньемъ лампады, — молился, иногда вмѣстѣ съ Константиновной, ни разу незамѣтившей моего близкаго присутствія. Мнѣ хотѣлось молиться до кроваваго пота—молиться до того, чтобъ вокругъ головы моей образовалось сіяніе и, о самолюбіе! мнѣ хотѣлось, чтобъ всѣ видѣли это сіяніе. Я представ-

лялъ себѣ изумленіе моей матери, благоговѣйный ужасъ всей нашей дворни, когда они увидятъ, что въ темнотѣ отъ головы моей исходитъ свѣтъ. Что подумаетъ Десартъ? думалъ я,—какую онъ тогда скорчитъ мину! Будетъ ли онъ тогда щипать меня за уши? будетъ ли увѣрять, что безъ Папы нельзя спастись, и что всѣ народы, рано или поздно, примутъ католичество!

Разъ самого меня изумили искры, затрещавшія подъ черепаховымъ гребнемъ въ густыхъ волосахъ моихъ.

Туша свѣчку, будто бы нечаянно, я подбѣгалъ къ зеркалу и продолжалъ съ помощью гребенки упражняться въ опытахъ неизвѣстнаго мнѣ электричества, или, лучше сказать, удостовѣряться въ дѣйствіи какихъ-то таинственныхъ, меня посѣтившихъ благодатныхъ силъ.

Аграфена же въ это время, очутясь въ потьмахъ, бранилась или, ворча, уносила свѣчу, чтобъ зажечь ее въ передней или дѣвичьей (фосфорныхъ спичекъ тогда еще и въ поминѣ не было). Но до того ли мнѣ было, чтобъ обращать вниманіе на ворчливость моей няни!

Строго я тогда соблюдалъ всѣ посты и съ нетерпѣніемъ дожидался Страстной недѣли, чтобы говѣть.

Помню, какъ я боялся бѣсовъ и, ложась спать, читалъ: «Да воскреснетъ Богъ», произнося каждое слово этой молитвы съ такимъ же чувствомъ, съ какимъ бы произносилъ слова самаго страшнаго заклинанія. При этомъ, я крестилъ свою подушку, крестилъ углы своей кровати и даже щель отъ раздвинувшагося полога, чтобъ въ эту щель какъ нибудь не пробралась ко мнѣ нечистая сила.

Любопытство мое также не давало мнѣ покоя. Я подсматривалъ въ замочную щелку за Юлинькой, чтобы узнать, отчего она не спитъ и что дѣлаетъ?

Старичекъ съ тростью, обычный посѣтитель нашъ — Никита Ивановичъ Нарышкинъ, также сталъ обращать

на себя мое вниманіе. Этотъ молчаливый гость, иногда оставаясь наединѣ съ моей матерью, все что то ворчалъ или спорилъ съ ней, устремя на нее маленькіе, глубоко впалые, сѣрые глаза свои.

Разъ подслушалъ я слѣдующія фразы:

— Неужели вы думаете, помилуй Богъ! что мы... мы... мы согласимся отпустить крестьянъ своихъ?

— Я ничего не думаю, слышался голосъ моей матери, да и вамъ объ этомъ нечего еще безпокоиться.

Но старикъ (я изъ другой комнаты видѣлъ лице его въ зеркало) глядѣлъ упорно-вопросительно, безпрестанно мигалъ и вовсе не думалъ о томъ, чтобъ перестать безпокоиться.

— Я самъ масонъ, говорилъ онъ, отрывая одну фразу отъ другой, знаю кой-какія тайны... Отъ меня не скроешь—помилуй Богъ, что затѣваютъ эти головорѣзы... эти молокососы!... Ступай лучше на могилу своего мужа...

— Далека его могила! отвѣчала мать.

— Авось, тѣнь моего незабвеннаго друга, передъ которымъ ты такъ виновата, вразумитъ тебя...

— Все, что вы слышали, все вздоръ. Вы все не такъ понимаете, добрѣйшій Никита Ивановичъ!

Затѣмъ, почему-то упоминалось имя Аракчеева и другія имена, о которыхъ я умалчиваю.

Я ничего не понималъ, но слова старика: *«я масонъ, знаю тайны»*, меня поразили и врѣзались въ моей памяти. Тайны! думалъ я. Какія же это тайны? Не тайны ли природы? Масонъ! Что такое масонъ?!

— Что такое масонъ? не безъ волненія спросилъ я на другой день у моей матери.

— А! сказала мнѣ мать, сдвинувъ брови, это ты вчера подслушивалъ! Я вѣдь слышала, какъ ты подходилъ къ двери. Что это ты—не въ шпіоны ли себя го-

товишь? И тебѣ не грѣхъ, не стыдно! Что изъ тебя выйдетъ?... Господи! продолжала она съ отчаяніемъ въ голосѣ. Лучше ему раньше погибнуть, чѣмъ быть дряннымъ человѣкомъ! Дрянные, безчестные, продажные люди—это плевелы нашего общества... Неужели ты будешь дрянь? Ну, говори, что же ты молчишь, какъ уличенный? Сознайся, что ты подслушивалъ?

Я то блѣднѣлъ, то краснѣлъ, наконецъ сталъ оправдываться:—Я, мама, шелъ къ вамъ попросить у васъ карандаша—мой весь вышелъ—и нечаянно...

— Зачѣмъ же ты не вошелъ, когда шелъ?

— Я боялся.

— Чего ты боялся? Никита Ивановичъ былъ тридцать лѣтъ другомъ твоего покойнаго отца. Никита Ивановичъ сосѣдъ нашъ по имѣнію. Никита Ивановичъ твой опекунъ. Чего же ты боялся? Развѣ онъ звѣрь? Ну, говори, развѣ онъ звѣрь?

— Виноватъ...

— Вырастешь, да поумнѣешь—будешь самъ знать, что такое масонъ. А теперь—что ты поймешь? Ну, положимъ, я скажу тебѣ: масонскія ложи—это тайное общество, и члены этого общества называются масонами, и вездѣ они есть, и въ Парижѣ, и въ Берлинѣ, и въ Варшавѣ, и у насъ, въ Петербургѣ, и принимаютъ въ эти ложи не всѣхъ, а съ большимъ разборомъ, и всякій поступающій долженъ выдержать разныя испытанія. Трусы никакъ не могутъ поступить, и если ты будешь всегда такимъ трусомъ, то никогда и не будешь масономъ... Ну, понялъ?

Я прошепталъ, что понялъ, даже ручку поцѣловалъ ради раскаянія, но въ сущности ничего не понялъ; отвѣтъ моей матери не могъ удовлетворить меня; напротивъ, онъ еще сильнѣе раздражалъ мое любопытство. Не говоря уже о томъ, что этотъ разговоръ глубоко огорчилъ меня: мать

считаетъ меня дрянью! я дрянь! я, мечтающій о вѣчномъ блаженствѣ (и въ тоже время влюбленный въ Юлиньку), о духахъ, о тайнахъ природы, о рыцаряхъ, о великихъ артистахъ, я—дрянь!... Впрочемъ, кто же зналъ, и знала ли моя мать о моихъ ребяческихъ, возвышенныхъ мечтаніяхъ. Я не былъ изъ числа дѣтей, болтающихъ съ утра до ночи, высказывающихъ все, что у нихъ на умѣ. Бывало, я чуть выскажу что нибудь—и гляжу, что изъ этого выйдетъ; ну, и вѣроятно не разъ нашелъ, что изъ этого ничего хорошаго не выходитъ. Я сталъ лѣнивъ и, по-видимому, не понималъ вещей самыхъ простыхъ и понятныхъ. Десартъ постоянно на меня жаловался, Глаголевскій молчалъ; но, не смотря на то, что на высокомъ челѣ его все чаще и чаще стали появляться складки — слѣды глубокихъ соображеній, я его до такой степени пересталъ бояться, что приготовлялъ для него уроки, когда мнѣ вздумается.

Иногда, зачитавшись какого нибудь романа (а я ихъ доставалъ изъ библіотеки моего отца), не только не успѣвалъ заглянуть въ русскую или латинскую грамматику, но забывалъ, что подходитъ часъ урока и что это вѣроятно по корридору стучатъ сапоги Глаголевскаго. Я такъ ужъ и говорилъ ему: Василій Васильичъ, задайте мнѣ къ слѣдующему четвергу еще урокъ—я ужъ вамъ два ихъ заразъ выучу, а ужъ нынче вы меня не спрашивайте.

— Лѣниться сталъ, барченокъ, а?

— Нѣтъ, я не лѣнился—а забылъ, изъ головы вышло, что вы нынче придете.

— Видно, сытое-то брюхо къ ученью глухо... Ну, хорошо!

И затѣмъ, задавши еще урокъ и отложа книги въ сторону, Глаголевскій, наморщивъ лобъ, принимался диктовать мнѣ какіе-то допотопные вирши.

О! чего бы я не далъ, чтобъ припомнить эти вирши! Это было описаніе (въ александринскихъ, шестистопныхъ стихахъ) какихъ-то миѳологическихъ процессій, гдѣ всѣ божества были представлены въ каррикатурѣ, гдѣ Марсъ, напримѣръ, былъ чуть ли не въ ботфортахъ и треугольной шляпѣ, а Венера—въ корсетѣ и башмакахъ. Была ли это пародія на «Душеньку» Богдановича, или то были плоды досужей бурсацкой фантазіи—не знаю; во всякомъ случаѣ я былъ бы очень доволенъ, еслибъ могъ припомнить себѣ этотъ отрывокъ тогдашней рукописной поэмы, едва ли уцѣлѣвшей до нашего времени.

Вирши эти Глаголевскій диктовалъ по большей части напамять, и при этомъ всегда ухмылялся, вѣроятно мысленно находя ихъ очень остроумными.

Стихи Пушкина были слишкомъ легки для того, чтобы имѣть вѣсъ въ глазахъ Глаголевскаго. Когда я однажды прочелъ ему начало поэмы «Братья-Разбойники», онъ выслушалъ эти стихи какъ бы съ видомъ снисхожденія, даже судя по лицу его, стихи эти ему и нравились, но все-таки онъ махнулъ рукой и сказалъ: далеко ему до Ломоносова или до Державина!

Я не спорилъ, потому что былъ еще слишкомъ малъ, потому что не имѣлъ поддержки ни въ журналахъ, ни въ какомъ нибудь болѣе меня развитомъ товарищѣ. Я даже какъ будто и вѣрилъ Глаголевскому, что впрочемъ нисколько не мѣшало мнѣ забывать оды Державина и упиваться Пушкинымъ.

Глаголевскій наконецъ почему-то сталъ учить меня спустя рукава и, какъ мнѣ кажется, заводилъ кой-какія шуры-муры съ моей апетитной нянюшкой. Она же замѣтно была къ нему благосклонна и нерѣдко выходила на лѣстницу провожать его. Лакей Семенъ не даромъ ревновалъ ее: помню, какъ при мнѣ не постыдился онъ разными намеками уличать ее въ благорасположеніи къ *кутьѣ*.

Няня моя не только не оправдывалась, а напротивъ, какъ бы въ пику ему, говорила: Ну, да! кутья, такъ кутья! что взялъ?...—Семенъ божился, что поколотитъ Глаголевскаго, что не будь онъ Семенъ и лопни его глаза, если не поколотитъ!

— Какъ же! ишь ты! Руки еще коротки! отвѣчала Аграфена и затѣмъ гнала его вонъ изъ комнаты.

До семи лѣтъ жизнь моя была больше комнатная, особливо зимой. Я росъ, какъ оранжерейный цвѣтокъ, за стеклами; выѣзжалъ кататься въ каретѣ съ мамой или съ няней и Юлинькой; но система воспитанія стала измѣняться. Новые доктора стали проповѣдывать столичнымъ маменькамъ, что дѣтей надо какъ можно больше держать на воздухѣ, не только лѣтомъ, но и зимой. Меня стали отпускать гулять сначала съ няней, и я гулялъ съ нею все больше по набережной Мойки. Потомъ, когда я подросъ, стали отпускать съ Логиномъ, котораго почтенный видъ какъ бы самъ собою напрашивался на почетное званіе дядьки.

Логинъ, приземистый старикъ, съ серебряной серьгой въ лѣвомъ ухѣ и постоянно выбритый, былъ когда-то парикмахеромъ, но въ послѣднее время не причесывалъ головы моей матери: она нашла, что руки его пахнутъ варомъ. Логинъ говорилъ, что онъ на свою семью сталъ башмаки точать, оттого что барыня перестала его звать къ себѣ въ уборную, а мать моя твердила ему, что она оттого перестала его звать, что онъ завелъ башмачныя колодки. Кто изъ нихъ былъ правъ — не знаю. Логинъ обижался, когда ему приказывали ѣхать за каретой, то-есть стоять на запяткахъ, въ ливреѣ и въ большой треугольной шляпѣ, ибо такой костюмъ считалъ онъ крайне неприличнымъ званію парикмахера. Но когда посылали его со мной гулять, особливо весной (1824 года), онъ покидалъ свои башмачныя колодки, надѣвалъ гороховую

старую шинель, картузъ съ ушами, шелъ со мной охотно, и, помню, во время этихъ прогулокъ, постоянно заводилъ со мною разговоръ, вызывающій на размышленіе.

— Вотъ, вы хоть и баринъ, говорилъ онъ, постоянно глядя въ землю и безпрестанно на вѣтру запахивая шинель свою,—хоть вы и баринъ, а ну-ка я васъ спрошу, отчего Нева въ море течетъ, а не изъ моря?

— Отчего въ море? Да оттого, что всѣ рѣки въ море текутъ.

— А отчего всѣ рѣки въ море текутъ?

— Да оттого... оттого... экой ты безтолковый, Логинъ, какъ я погляжу! Ну, просто оттого, что море ниже, ну, и текутъ.

— А откуда море-то взялось?

— Такъ Богъ создалъ: откуда земля, оттуда и море.

— А вотъ вы и не знаете... Изъ хлябей небесныхъ. Знаете, что такое хляби небесныя?

— Никакихъ нѣтъ хлябей.

— А какъ бы могъ быть потопъ, еслибъ не разверзлись хляби небесныя? А еще баринъ! Да что! Объ этомъ и учителя-то ваши ничего не смыслятъ.

— А Глаголевскій развѣ не ученый человѣкъ по-твоему?

— А по-моему вотъ что: еслибъ Глаголевскій-то вашъ былъ взаправду ученый, онъ бы либо въ попы, либо въ монахи записался; архіереемъ бы его сдѣлали. А то какой же ученый пойдетъ въ приказные?

— А развѣ онъ приказный?

— А что жъ онъ такое, какъ не приказный?

Этакій скептикъ былъ этотъ Логинъ! Я и не подозрѣвалъ, чтобъ онъ былъ такой:—просто, ни во что ему не вѣрилось, даже моимъ учебникамъ не довѣрялъ. Бывало, начну ему доказывать, что земля есть шаръ и что она вокругъ солнца ходитъ, глобусъ покажу, въ геогра-

фіи прочту — не вѣритъ. Хоть образъ, говоритъ, поцѣлуйте, низачто я этому не повѣрю, потому что все это выдумано. Облейте-ка вы вашъ глобусъ водой—дайте-ка я его оболью — все стечетъ. На шарѣ никакая вода не удержится—вотъ вамъ и шаръ!..

Повѣритъ ли тотъ, кому случайно на глаза попадетъ моя рукопись, что воззрѣнія Логина меня терзали и мучили. Глаголевскій, знавшій по-латыни, а можетъ быть и по-гречески такъ же хорошо, какъ я по-французски, никогда ясно и вразумительно не умѣлъ растолковать мнѣ самыхъ обыкновенныхъ явленій природы. Дальше того, что находилось въ краткомъ руководствѣ географіи, я полагаю, онъ самъ ничего не смыслилъ.

Неубѣжденный въ реальномъ, я поневолѣ уходилъ въ міръ чудесъ и фантазій. Если бы истинамъ или фактамъ, выработаннымъ наукой, приходилось *только вѣрить*, то не лучше ли вѣрить въ то, что и волнуетъ, и тревожитъ, и увлекаетъ мечты, и говоритъ воображенію, то-есть вѣрить въ міръ волшебства и фантастическихъ образовъ? Такъ, кажется, я и поступилъ. Такъ, полагаю я, поступала и поступаетъ вся наша младенчествующая, необразованная часть человѣчества.

ГЛАВА VIII.

Наконецъ, я дожилъ до одного, быть можетъ, очень обыкновеннаго приключенія; но я называю его необыкновеннымъ, потому что оно сильно подѣйствовало на мои нервы, а стало быть и на мозговую дѣятельность.

Была весна (1824 года, и ужъ не помню, было ли это въ концѣ мая или въ началѣ іюня). Ночь была свѣтлая-пресвѣтлая. Мнѣ не спалось. Я мечталъ. Дѣтская страсть моя къ Юлинькѣ дошла до своего зенита. Я про-

сто бредилъ ею во снѣ и наяву; готовъ былъ цѣловать слѣды ногъ ея; кралъ у нея носовые платки и, ложась спать, клалъ ихъ себѣ подъ голову; старался почему-то плюнуть непремѣнно въ ту плевальницу, въ которую она плюнула... Хоть убейте меня, если я теперь понимаю, для чего и почему я это дѣлалъ. Но какъ это ни дико, я долженъ сознаться, что дѣлалъ немало глупостей.

Чѣмъ сильнѣе я любилъ ее, тѣмъ становился робче въ ея присутствіи, просто замиралъ отъ одного шороха ея платья. Юлинька ничего этого не замѣчала. Я не только таилъ отъ всѣхъ глупую (и какую въ то же время радужную!) страсть мою. Я никогда не глядѣлъ на нее иначе, какъ мелькомъ, и то тогда только, когда замѣчалъ, что она не обращаетъ на меня ни малѣйшаго вниманія—что нибудь вяжетъ, читаетъ или чай пьетъ. Чѣмъ должна кончиться любовь моя—я объ этомъ и не думалъ. Я только вѣрилъ, что Юлинька—моя богиня, моя владычица, моя царица, и мысленно, въ минуты безсонницы, обнималъ я эту владычицу, то-есть обнималъ свою собственную подушку, воображая, что на ней покоится головка Юлиньки. Тутъ я говорилъ ей безсвязныя рѣчи, увѣряя, что скорѣй затмится солнца свѣтъ, чѣмъ я перестану обожать ее.

При всемъ этомъ, я долженъ замѣтить, ни одна сколько нибудь чувственная, грѣшная мысль еще не приходила мнѣ въ голову. Мечты мои были на столько же дѣвственны, на сколько пусты и несбыточны. Организмъ ли мой еще не созрѣлъ для иныхъ желаній, или о физической любви я еще не составилъ себѣ никакого яснаго понятія, не знаю отчего, только помню, что изъ числа страстей платоническихъ, моя была архиплатоническая.

Конечно, наивный періодъ моего дѣтства не могъ долго продолжаться: я, какъ уже вамъ извѣстно, былъ и любопытенъ, и наблюдателенъ.

Итакъ, ворочусь къ разсказу. Я не спалъ. Вдругъ, часу въ первомъ ночи, услыхалъ я стукъ колесъ, похожій на грохотъ пожарнаго поѣзда. Вѣрно, гдѣ нибудь по близости пожаръ, подумалъ я, вотъ будетъ случай разбудить мою богиню Я постучусь къ ней и ее увижу— вотъ будетъ случай!... Съ этой мыслью, я выпрыгнулъ изъ кровати и черезъ корридоръ, мимо спящей на полу моей няни, босикомъ пробрался въ залу.

Пробравшись въ пустую залу, я сѣлъ на подоконникъ и сталъ глядѣть на улицу. По улицѣ вдоль канавы ѣхали не пожарныя трубы, а какія-то фуры. Рядъ домовъ по ту сторону канала смутно мерцалъ своими тускло освѣщенными стѣнами. Во всѣхъ домахъ окна были темны— только на углу, въ домѣ купца-раскольника, въ одномъ окнѣ, былъ свѣтъ—горѣла лампадка, и виднѣлась всклокоченная голова, сѣдая борода и разстегнутый воротъ рубашки.

Такъ просидѣлъ я минуты три. Зеленыя фуры съ грохотомъ проѣхали, я уже не видѣлъ ихъ, слышалъ только отдаленный гулъ, да глядѣлъ въ незнакомыя окна.

Прошло еще нѣсколько минутъ. Легкій шорохъ сзади заставилъ меня вздрогнуть, хотя я и догадывался, что это сухой листокъ свалился съ какого нибудь лимоннаго или померанцеваго дерева.

Горшки съ такими деревьями и цвѣтами стояли на полу, занимая пространство отъ угла до половины стѣны—до самаго пьедестала, на которомъ блестѣлъ стеклянный футляръ, прикрывавшій большіе бронзовые часы. Мало-по-малу напала на меня легкая дрожь и суевѣрная робость. Я безъ всякаго вниманія продолжалъ глядѣть въ окно, какъ бы не смѣя повернуть назадъ свою голову. Въ самомъ звукѣ постукивающаго маятника мнѣ послышалось что-то необычайное, какъ будто онъ торопился мнѣ что-то подсказывать.

Вдругъ, сердце у меня сжалось, я притаилъ дыханіе. Мнѣ послышалось, что кто-то идетъ, мягко ступая по чему-то мягкому: я оглянулся. И вообразите ужасъ мой: въ дверяхъ, ведущихъ въ гостиную, я увидалъ, двигается темная тѣнь человѣка!

Не постигаю, какъ я не вскрикнулъ.

Тѣнь пріостановилась, прошла залу, отворила дверцу въ буфетъ—и исчезла.

Изъ буфета былъ проходъ—направо въ корридоръ, налѣво въ переднюю и прямо, черезъ холодную, небольшую крытую галерею, въ кухню.

Со всѣхъ ногъ бросился я бѣжать и, задыхаясь отъ ужаса, разбудилъ мою няню.

Няня неохотно поднялась съ своего матраца. Сѣла и долго, таращa свои заспанные глазенки, выслушивала меня, не понимая, въ чемъ дѣло; наконецъ встала и сказала мнѣ: ложитесь баринъ,—я посмотрю, что тамъ такое... Откуда тутъ быть вору... помилуй Господи!

Я послушался, легъ на свою постель и дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

Няня, накинувъ на плечи свой большой платокъ, зажгла свѣчу, прошла въ залу и заглянула за двери, потомъ прошла въ буфетъ и оттуда въ переднюю, поговорила что-то съ однимъ изъ лакеевъ, спавшихъ постоянно на ларѣ, воротилась, поглядѣла на галерею, заглянула за буфетный шкапъ и, задувши свѣчку, съ такими же заспанными глазами вошла ко мнѣ въ дѣтскую.

— Никого нѣтъ,—сказала она мнѣ спокойнымъ голосомъ:—Спи! Тебѣ это померещилось.

Затѣмъ она вздохнула, вѣроятно перекрестилась, и опять легла въ корридорѣ около моей дѣтской.

Да, подумалъ я, какъ не такъ! померещилось! Развѣ я слѣпъ?.. развѣ я самъ не видалъ?... Боже мой! что если это была тѣнь моего отца? что если это *онъ* прихо-

дилъ за мной?.. что если?.. И я долго не могъ заснуть и долго молился, призывая на помощь Господа Бога и всѣхъ святыхъ его.

На другой день утромъ, мать моя (не знаю, какъ и отъ кого) узнала о моемъ ночномъ приключеніи.

Она ходила по залѣ съ полураспущенной косой, выбивающейся изъ-подъ ночнаго чепца, и въ бѣлой ночной кофтѣ. Она была блѣдна и встревожена, то взглядывала на меня сердито и холодно, то, замѣчая мою блѣдность и унылое расположеніе моего духа, смягчала голосъ свой, и строгій выговоръ начиналъ въ устахъ ея звучать чѣмъ-то ласковымъ. Она ласково стала просить меня не ходить ночью по комнатамъ, потому что я могу простудиться—особенно если ночью кто-нибудь изъ людей забудетъ окно затворить. Потомъ, какъ бы смѣясь, она прибавила: въ другой разъ я нарочно велю кого-нибудь нарядить въ бѣлую простыню, чтобъ испугать тебя... Отчего ты не спросилъ это привидѣніе: зачѣмъ это оно изволитъ прогуливаться у насъ по комнатамъ? Смѣшно! Какъ же ты, такой трусишка, хочешь быть масономъ! Ну, обѣщай же мнѣ быть умникомъ и не разгуливать ночью по комнатамъ, или, право, я нарочно велю напугать тебя, добавила она уже строгимъ голосомъ.

Я обѣщалъ ей никогда больше не ходить босикомъ по комнатамъ—но это нисколько не измѣнило моего расположенія духа.

Я замѣтилъ, что никто не довѣряетъ словамъ моимъ, замѣтилъ, что люди шепчутся и, поглядывая на меня искоса, улыбаются,—что горничная моей матери, Аксюта, прошла, взглянувши на меня такъ какъ-то странно, какъ будто хотѣла сказать: чего ты не выдумаешь! вишь! только потревожилъ весь домъ!

Юлинька сперва засмѣялась, узнавши, что я видѣлъ привидѣніе, потомъ стала увѣрять меня, что это я во снѣ

видѣлъ, потому что ей самой часто снится какое-то привидѣніе.

Одинъ Глаголевскій отнесся ко мнѣ по-человѣчески, какъ равный къ равному.

Онъ выслушалъ меня и пресерьозно сталъ меня разспрашивать, опустивши здоровенный, толстый носъ свой, и многознаменательно сдвинувъ брови, какъ бы рѣшая какую-то очень мудреную задачу.

— Гм! въ саванѣ или въ какомъ иномъ одѣяніи предстало вамъ это привидѣніе?

— Нѣтъ, на немъ было что-то черное, въ родѣ плаща,—только на груди что-то бѣлое—не то рубашка, не то какой-то комокъ—или жабо.

— Гм! Былъ онъ босикомъ, или вы не слыхали шаговъ его?

— Я шаговъ его не слыхалъ, только мнѣ показалось, что, когда онъ уходилъ въ буфетъ, что-то скрипнуло—не то полъ, не то башмакъ.

— Стало-быть, онъ не въ стѣну вошелъ, а въ дверь. Гм—да!.. А волосы его были растрепаны?

— Онъ былъ въ черной, круглой шляпѣ.

— Ну, такъ это было не привидѣніе! съ увѣренностью въ голосѣ замѣтилъ Глаголевскій.

— Отчего? спросилъ я его съ неувѣренностью.

— Да оттого, изволите видѣть, что мертвыхъ въ шляпахъ не хоронятъ. Въ гробахъ надѣвать шляпы на усопшихъ церковью не положено.

Какъ же это я, дуракъ, не догадался! подумалъ я про себя, даже покраснѣлъ, уличенный въ явной несообразительности.

— А вотъ что, не было ли въ рукахъ его ножа или какого-либо смертоноснаго оружія?

— Нѣ... нѣтъ! я этого не замѣтилъ.

Глаголевскій еще ниже потупился и сталъ ухмыляться.

— Это было и не привидѣніе, и не воръ.

— Что жъ это было такое? спросилъ я, сложивши на груди руки и устремя на него вопросительно глаза свои.

— А это былъ чей-нибудь любовникъ.

Я такъ былъ пораженъ отвѣтомъ Глаголевскаго, что даже поблѣднѣлъ.

— Любо-вникъ! повторилъ я съ ужасомъ:—какой любовникъ?

Глаголевскій усмѣхнулся.

— Я этого не могу знать. У васъ, чай, есть горничныя?

— Есть.

— И барышня живетъ у васъ?

— Барышня! Какая барышня? Юлинька? Ну да.

— Ну, вотъ! произнесъ Глаголевскій такимъ тономъ, какъ будто разрѣшилъ всѣ, и свои, и мои недоумѣнія.

Что сдѣлалось со мной—это трудно пересказать. Еслибъ я былъ взрослый, быть можетъ я далъ бы оплеуху этому мудрецу Глаголевскому за одинъ намекъ на такое гнусное подозрѣніе, за одинъ намекъ, касающійся чести дорогой мнѣ дѣвушки; но я былъ неопытный, ничего въ жизни непонимающій отрокъ. Я могъ также повѣрить словамъ его, какъ и не повѣрить; на сколько же они касаются чьей-нибудь чести, я не понималъ, хотя и чувствовалъ что-то гадкое. Что значитъ любовникъ, я также вдругъ не могъ отдать себѣ яснаго отчета; помню только, что это слово поразило меня такъ, какъ поразило бы меня превращеніе лица Глаголевскаго въ ослиную морду.

Когда ушелъ Глаголевскій, я сталъ думать и дошелъ до той мысли, что любовникъ—это влюбленный волокита, который тихонько все себѣ позволяетъ, все!.. что это лицо діаметрально противоположно цѣломудренному Іосифу, ко-

торый вырвался изъ объятій преступной жены Пентефрія. Любовникъ! и гдѣ же? въ нашемъ домѣ! Какое святотатство! Можетъ ли это быть? Гдѣ же онъ былъ—если былъ? За гостиной диванная, изъ диванной двѣ двери: одна — въ спальню къ моей матери, другая—въ столовую; изъ столовой также двѣ двери: одна—направо, въ кабинетъ моей матери, потомъ въ уборную, потомъ въ гардеробную, другая—прямо, въ библіотеку; изъ библіотеки черезъ корридоръ можно пройдти въ дѣвичью и даже въ комнату Юлиньки. Гдѣ же спитъ Аксюта? Кажется, въ гардеробной; по крайней мѣрѣ, тамъ за шкафами есть помѣщенье, и тамъ она всегда работаетъ — кроитъ или шьетъ, иногда гладитъ. Отчего это она взглянула на меня такъ пристально?

Всѣ эти соображенія нестройной массой возникли въ головѣ моей.

Я рѣшился молчать — рѣшился все узнать и, казалось, самъ испугался своего рѣшенія. Цѣлый день щеки мои горѣли—я не могъ ни читать, ни писать, ни учиться.

На другой день Десартъ, во время урока, до такой степени разозлился, что позвалъ въ мою комнату дочь свою и вмѣсто себя велѣлъ ей растолковать мнѣ урокъ мой—значеніе какой-то не то поэтической, не то риторической метафоры. Юлинька, запинаясь, что-то такое мнѣ стала толковать; круглыя очки ея отца въ это время сверкали неподвижнымъ блескомъ, потому что онъ глядѣлъ ей въ глаза, ждалъ и не двигался. Юлинька явно сама не знала, то ли она говоритъ, что нужно говорить, и трусила; кончикъ носика у нея покраснѣлъ, рѣсницы были опущены, а я глядѣлъ ей въ лицо, и въ головѣ моей безпрестанно вертѣлось слово: «любовникъ».

Вслухъ я низачто бы не рѣшился произнести этого слова—оно уже казалось мнѣ неприличнымъ до такой степени, что ни одинъ порядочный человѣкъ не произне-

сетъ его въ обществѣ; даже французское слово «amant» почему-то пришло мнѣ на память, я почему-то придавалъ ему другой смыслъ и воображалъ, что «amant» еще можно сказать, даже напечатать можно, но нельзя, никакъ нельзя вслухъ сказать «любовникъ». Не даромъ же въ рыцарскихъ романахъ (а я читалъ ихъ десятками) ни одинъ влюбленный герой не называется любовникомъ.

Тутъ я опять начиналъ вслушиваться въ несвязныя толкованія Юлиньки, но голова моя все-таки постоянно была занята однимъ и тѣмъ же. Я вспомнилъ, что слово «любовникъ» въ первый разъ услыхалъ я изъ устъ нашего поваренка: «Ишь ты, рябая, сказалъ онъ нашей судомойкѣ,—у самой, чай, любовникъ,—неча тебѣ другихъ-то порочить». Даже поваренокъ, котораго всѣ называютъ *ершомъ* и не пускаютъ даже въ дѣвичью, и тотъ думаетъ, что это слово *порочитъ*! Какъ же смѣетъ Глаголевскій вообразить, что...

Я опять глядѣлъ на Юлиньку и ничего не понималъ изъ того, что она толкуетъ мнѣ,—я злился на Глаголевскаго.

Но, продолжалъ я думать, если это не воръ и не привидѣніе, такъ что же это такое?

Десартъ закричалъ на Юлиньку—qu'elle est bête, и жестомъ указалъ ей, чтобъ она убралась въ свою комнату, а мнѣ—мнѣ велѣлъ отойдти въ уголъ и стать на колѣни.

Я машинально повиновался. Десартъ освѣжалъ себѣ голову, нюхая табакъ, а я стоялъ на колѣняхъ, и стоялъ смирно до тѣхъ поръ, пока мнѣ не сдѣлалось больно; какъ только почувствовалъ я боль въ колѣняхъ, такъ и всталъ.

Десартъ подошелъ, взялъ меня за плечи, тряхнулъ и опять хотѣлъ поставить на колѣни, но колѣни у меня не гнулись—я стоялъ, какъ истуканъ, даже не плакалъ.

Десартъ пошелъ жаловаться къ моей мамѣ, но ему сказали, что ея дома нѣтъ. Вернувшись въ мою комнату, онъ, красный, даже багровый, сталъ ходить отъ двери къ столу, отъ стола къ двери. Потомъ сѣлъ, вынулъ изъ кармана цѣлый пукъ какихъ-то писемъ, нашелъ между ними возможность отдѣлить цѣлый полулистъ чистой, почтовой бумаги, взялъ перо, написалъ записку, сложилъ ее, надписалъ и вышелъ.

Я услыхалъ, что онъ пошелъ къ своей дочери и громко приказалъ ей, отъ его имени, вручить эту записку à Madame de Tschaliguine. Въ этой запискѣ онъ просилъ мать мою, ради справедливости, наказать меня за лѣность, тупость, упрямство и непослушаніе.

Когда онъ совсѣмъ ушелъ, Юлинька прочла записку. Я молча прилегъ на ея диванчикъ, она преспокойно сѣла у моихъ ногъ и стала вязать.

— Юлія Антоновна!—началъ я послѣ натянутаго, продолжительнаго молчанія:—отчего вы такая добрая и отчего вашъ папа такой злой?

— Нѣтъ, видишь, голубчикъ, онъ не злой; онъ злой только тогда, когда учитъ, а когда онъ не учитъ—онъ не злой.

— Вы отдадите его записку?...

— А какъ же иначе? Вѣдь если онъ спроситъ мама, отдала ли я ей эту записку, что тогда?

— Ну, отдавайте!

— Я ушелъ, и слезы крупными каплями покатились по щекамъ моимъ.

ГЛАВА IX.

Что могло быть лучше, уютнѣе, даже роскошнѣе той обстановки, среди которой прозябало мое дѣтство! Въ тѣ годы я и не подозрѣвалъ, что существуетъ бѣдность, что есть нужда, и какимъ страшилищемъ стоитъ она у колыбели какого нибудь новорожденнаго и, подобно мнѣ, ни въ чемъ еще неповиннаго ребенка-нищаго. Откуда же какъ будто капля какой-то горечи такъ рано запала въ мою душу, стала источникомъ тайныхъ слезъ и мучительнаго недовольства?

Развѣ Юлинька могла не отдать записки своего отца, адресованной на имя моей матери? Отчего же я такъ глубоко былъ огорченъ? Кто далъ мнѣ право вообразить себѣ, что Юлинька должна пострадать за меня (ея глупаго обожателя) и въ этомъ великодушномъ страданіи найдти въ глубинѣ души своей великое наслажденіе!

Или раннее чтеніе глупѣйшихъ романовъ подготовляло во мнѣ почву для такихъ требованій отъ жизни? Или, мечтательный отрокъ, я судилъ по себѣ и думалъ, что съ наслажденіемъ пострадалъ бы за эту дѣвушку, еслибъ только представился случай!

Пусть же, думалъ я, утирая слезы, я буду наказанъ самымъ жестокимъ образомъ, и чѣмъ жесточе, тѣмъ лучше... Пусть она видитъ и пусть въ невозмутимой душѣ ея шевельнется раскаяніе или хоть состраданіе къ моимъ мученіямъ.

Но какъ на зло, мать моя воротилась домой въ самомъ веселомъ расположеніи духа, разсѣянно прочла записку Десарта (Юлинька при мнѣ подала ее, опустивъ рѣсницы, и тотчасъ же удалилась). Прочтя записку, мать моя слегка меня пожурила, раскрыла свои клавикорды и стала играть...

*

Я, смущенный, отошелъ въ уголъ залы, сѣлъ на стулъ, разсѣянно слушалъ музыку и думалъ: Отчего же это меня не наказываютъ?... Этакое горе!... Хорошо же! Такъ я и скажу этому французу проклятому, такъ и скажу: дескать, и не думали, и не думали наказывать. Пускай бѣсится!

Послѣ обѣда я ушелъ гулять съ Логиномъ. Не разъ уже я находилъ удовольствіе убѣгать отъ него — отставать, прятаться подъ воротами или за дверьми подъѣздовъ и такимъ образомъ его сердить, а себя тѣшить. На этотъ разъ, на углу Морской и Гороховой, въ толпѣ, я потерялъ его.

Потерявши дядьку, я сначала струсилъ, но, оглядѣвшись, почувствовалъ себя какъ бы на совершенной свободѣ и, принявши на себя притворно-спокойный видъ, прошелъ на Адмиралтейскую площадь; потомъ по набережной (безпрестанно оглядываясь) дошелъ до спуска на Неву; тутъ я сѣлъ на ступеньку и сталъ глядѣть... Не смотря на яркое солнце, разбросавшее по волнамъ вечерѣющій блескъ свой, былъ довольно холодный, сѣверовосточный вѣтеръ; гранитъ, на которомъ я усѣлся, былъ также холоденъ. Мимо меня сходили внизъ солдаты, ремесленники, чиновники съ портфелями, барышни съ горничными и горничныя безъ барышенъ. Поминутно отчаливали лодки и отплывали на Васильевскій островъ по направленію къ Академіи.

Просидѣвши съ часъ, я продрогъ и пустился домой— но, какъ разсѣянный, растерявшійся мальчикъ, попалъ не въ ту улицу и, быть можетъ, долго бы проискалъ домъ нашъ, еслибъ не Егорка, сынъ нашего повара, крестникъ моей няни и ровесникъ мой. Онъ, набивши карманъ свой бабками, съ бутылкой какого-то масла подъ мышкой, тоже спѣшилъ домой, боясь затрещины. Спѣша, мы шли съ

нимъ рядомъ и уговаривались какъ-нибудь уйдти вдвоемъ на Неву—и покататься на лодкѣ.

Домой воротился я черезъ черную лѣстницу, черезъ кухню и черезъ галерею. Такъ въ этотъ день я и не видалъ Логина. Онъ вернулся раньше, уже успѣлъ объявить моей нянѣ, что больше не пойдетъ со мной, и ушелъ къ себѣ въ подвальный этажъ, гдѣ помѣщалась семья его—жена и три дочери.

— Ну, не пойдетъ, такъ не пойдетъ! сказалъ я нянѣ,—я и одинъ пойду.

— Да, такъ тебя одного и пустятъ! Развѣ ты глядишь, куда идешь? Ты и не глядишь и не видишь ничего—у себя передъ носомъ ничего не видишь!.. Попадешь подъ колесо—раздавятъ... и не такихъ еще давили.

— Ну, пусть раздавятъ!

— Ну, вотъ увидимъ, какъ ты одинъ уйдешь.

— Ну, вотъ увидишь...

Вечеромъ, ложась спать, я мечталъ о какой-то незнакомкѣ, которая сѣла при мнѣ въ яликъ: мнѣ воображалось, что эта удивительная красавица — ничуть не хуже Юлиньки. Съ какою граціей протянула она свою ручку здоровенному лодочнику, который ее подсаживалъ, какъ мило покачнулась въ яликѣ, какъ живописно сѣла, улыбнулась, вся озаренная солнцемъ, распустила голубой зонтикъ и уплыла, качаемая волнами и вѣтромъ.

Чуть ли въ эту ночь я не давалъ себѣ клятвы отыскать ее, во что бы то ни стало, заснулъ среди неопредѣленныхъ грезъ и на другой день проснулся съ головной болью.

Два дня я кое-какъ перемогался, чувствовалъ, что заболѣваю, тосковалъ, ходилъ какъ сонный и не говорилъ ни слова. Юлинька первая замѣтила, что я въ жару, сказала нянѣ и онѣ обѣ отвели меня уложить въ постель. Но я низачто не хотѣлъ раздѣваться при Юлинькѣ, и

только тогда, когда она вышла, позволилъ нянѣ стащить съ себя шаровары, снять башмаки и стянуть чулки.

Что если я умру? подумалъ я и въ полудремотѣ тоскливо сталъ дожидаться моей матери.

Говорятъ будто я захворалъ не на шутку и двѣ-три ночи былъ въ такомъ жару, что бредилъ. Къ моимъ икрамъ привязывали съ медомъ листовой табакъ и давали мнѣ солено-сладкую микстуру, по предписанію Ивана Павловича, нашего домашняго доктора.

Семенъ (столь жестоко отвергнутый Аграфеной) впослѣдствіи какъ-то разсказалъ мнѣ, будто я при матери, въ жару, кричалъ: Ловите, ловите любовника! Вонъ онъ спрятался—вонъ онъ! Вонъ за кровать присѣлъ!..—Семенъ при этомъ хотѣлъ намекнуть мнѣ, что, дескать, вы, баринъ, вѣрно, что-нибудь замѣтили на счетъ Аграфены и видѣли во снѣ этого кутью Глаголевскаго; но я не хотѣлъ его слушать.

Въ продолженіе болѣзни моей, въ минуты сознанія, я не переставалъ звать къ себѣ то мать, то Юлиньку. Мнѣ не шутя казалось, что я умираю, и мнѣ хотѣлось наглядѣться на нихъ. Но я не говорилъ, что я умираю: мнѣ было страшно напророчить себѣ вѣчную память, которой видно не хотѣлось мнѣ. Разъ только я сказалъ Юлинькѣ: если мнѣ будетъ хуже, поцѣлуйте меня... И сейчасъ же эта милая дѣвушка, наклонившись, поцѣловала меня, какъ бы въ доказательство, что мнѣ дѣйствительно хуже. Приходилъ ко мнѣ Десартъ; но это былъ опять тотъ самый Десартъ, который когда-то верхомъ сажалъ меня къ себѣ на спину. Онъ старался видимо развлечь, развеселить меня: самъ смѣялся Богъ знаетъ чему, щупалъ мой пульсъ и увѣрялъ, что я мальчикъ такой способный, что... что у него и не было еще ни одного ученика такого способнаго, и что, стало быть, я долженъ какъ можно скорѣе выздоравливать. Однимъ словомъ, Десартъ, несносно тре-

бовательный, вспыльчивый и даже драчливый Десартъ, всячески добивался отъ меня благосклонной улыбки; но я—я глядѣлъ на него холодно, какъ маленькій, умирающій принцъ, которому надоѣли придворная лесть и смѣющееся притворство.

Глаголевскій также навѣстилъ меня.

Но Глаголевскій и тутъ остался вѣренъ своему умственному и нравственному неуклюжеству.—Эге! промычалъ онъ отрывисто, уставивъ на меня водянисто-голубые глаза свои и многознаменательно сдвинувъ брови:—эдакъ, пожалуй, и въ поля Елисейскія, ad patres, махнуть недолго... Ты у меня, мальчикъ, смотри!.. Вонъ, у дьякона Остромірова тоже заболѣлъ мальчишка: думали, выздоровѣетъ, пришли по утру, а онъ ужь и того, окочурился, Богу душу отдалъ... Ты также не умри, добавилъ онъ, приложа къ щекѣ моей оборотную часть ладони, или, лучше сказать начальные суставы своихъ согнутыхъ пальцевъ. Въ первый разъ еще говорилъ онъ мнѣ «*ты*», вѣроятно въ припадкѣ нѣжности, ибо я увѣренъ, что Глаголевскій любилъ меня не какъ ученика, а просто какъ такого мальчика, съ которымъ онъ могъ пріятно убивать свое время, за неимѣніемъ хорошихъ знакомыхъ. Слова Глаголевскаго на меня, какъ на больнаго и впечатлительнаго мальчишку, сильно подѣйствовали; мысль, что я, подобно сыну дьякона, могу *окочуриться* самымъ неожиданнымъ образомъ, наполнила душу мою тоской и тревогой неизъяснимою. Но я не только не гналъ Глаголевскаго, а старался всячески какъ можно долѣе удержать его при себѣ, умолялъ его не покидать меня, по получасу держалъ его за руку и такимъ образомъ заставилъ его просидѣть у меня до глубокой полночи. Мнѣ казалось, что если Глаголевскій убѣдится, что все обстоитъ благополучно и что на томъ свѣтѣ меня, какъ человѣка, еще незамолившаго грѣховъ своихъ, никто не ждетъ съ осо-

беннымъ нетерпѣніемъ, то и успокоитъ меня такъ, какъ никто на свѣтѣ, то-есть самымъ *доскональнымъ* образомъ.

Желая дождаться отъ него такихъ успокоительныхъ словъ, я старался показывать видъ, что мнѣ гораздо легче, что... я молодецъ: могу сидѣть, даже дурачиться, даже ноги кверху задирать. Но Глаголевскій меня не понималъ, не повторялъ своего зловѣщаго карканья, но и не успокоивалъ.

Когда я задремалъ при немъ, онъ сталъ что-то въ полголоса говорить съ моей няней, но что такое, я понять не могъ. Я только видѣлъ, какъ, уходя, онъ прищурилъ глазъ и по направленію къ моей постели мотнулъ головой; какъ няня подошла ко мнѣ на цыпочкахъ, заглянула мнѣ въ лицо (я, разумѣется, въ эту минуту крѣпче закрылъ глаза), увидѣла, что я сплю, и у самой двери чмокнула его въ самыя губы. Глаголевскій хотѣлъ ее обнять, но она слегка его оттолкнула, отворила дверь, потомъ прошлась по комнатѣ, опять на меня поглядѣла и вышла, захвативъ съ собой большой, клѣтчатый платокъ.

Все это происходило при спущенныхъ на ночь сторахъ и при тускломъ свѣтѣ нагорѣвшей свѣчки. Сцена эта отвлекла меня отъ предчувствій смерти, и что-то игривое вертѣлось у меня въ головѣ. Я нисколько не злился на Глаголевскаго, но мнѣ было стыдно за няню. Я остановился на мысли, что наставникъ мой влюбленъ въ Аграфену... и, въ невинности души своей, вообразилъ, что онъ непремѣнно на ней женится; это мнѣ показалось очень смѣшно. Нѣтъ, я не умру, подумалъ я, потушилъ свѣчу и заснулъ при свѣтѣ загоравшагося утра. Съ этого утра началось мое выздоровленіе.

ГЛАВА X.

Странно — мнѣ помнится, что чѣмъ старше я становился, тѣмъ моя мать все меньше и меньше обращала на меня вниманія. Или она очень хорошо меня понимала, или ужъ совсѣмъ не понимала, — или боялась видѣть во мнѣ enfant terrible и, по неволѣ скрытная, невольно прививала скрытность къ моей врожденной пугливости, то-есть распекала и какъ бы отталкивала меня въ такія минуты, когда я былъ особенно расположенъ съ нею откровенничать,—или она своею нѣжностію боялась избаловать меня,— или просто ей со мною было скучно?—не знаю.

Когда я сильно занемогъ, я не могъ не замѣтить тревоги на блѣдномъ лицѣ ея; цѣлыхъ два дня она почти не отходила отъ моей кровати, почти не спала, даже писала и читала въ моей комнатѣ. Но когда мнѣ стало легче, по-прежнему стала пропадать и только изрѣдка навѣщала меня.

Прежде чѣмъ я совершенно выздоровѣлъ, я узналъ, къ моему немалому огорченію, что мама переѣзжаетъ въ Павловскъ на дачу и увозитъ съ собою Юлиньку; что я покину городъ не раньше, какъ черезъ двѣ или три недѣли; что для меня пріисканъ въ гувернеры какой-то нѣмецъ и что онъ къ тому времени будетъ ожидать меня на дачѣ въ Павловскѣ; что если я буду дурачиться, убѣгать изъ дому и дурно учиться, то такъ до самой зимы и пробуду въ городѣ. (О! какъ я тогда возненавидѣлъ этотъ городъ! съ какимъ нетерпѣніемъ сталъ ожидать простора, зелени, и пр., и пр.!)

Шесть возовъ съ мебелью и посудой, подъ присмотромъ повара и Семена, потянулись по дорогѣ въ Павловскъ; вслѣдъ за ними, на другой день, не смотря на мои слезы, мама и Юлинька, въ сопровожденіи двухъ горнич-

ныхъ, обремененныхъ узлами и картонками, сѣли въ четырехмѣстную карету, запряженную четверней, и ускакали.

Я остался дома полнымъ хозяиномъ. Поваренокъ Ерпъ долженъ былъ готовить мнѣ обѣдъ, Логинъ ходить за кренделями и булками (деньги же на расходъ ему были выданы). Няня должна была поить меня чаемъ, не давать мнѣ ни молока, ни сыру, ни ветчины, ни колбасъ— все это строго-на-строго было запрещено нашимъ докторомъ. Десартъ и Глаголевскій должны были по-прежнему до 15 іюня навѣщать меня; но Десартъ, къ немалому моему удовольствію, куда-то уѣхалъ; остался одинъ наставникъ — Глаголевскій.

Ключъ отъ библіотеки, отъ этихъ желтыхъ и до потолка поднимающихся шкаповъ съ книгами моего покойнаго родителя, былъ у меня въ карманѣ. Лазить по полкамъ этой библіотеки, читать заглавія книгъ и по заглавію догадываться, на сколько та или другая можетъ интересовать меня, искать картинокъ, поясняющихъ текстъ, уносить съ собой дорогія французскія изданія, въ особенности изданія по части акушерства и анатоміи, съ приложенными къ нимъ пояснительными картинками, и потомъ по цѣлымъ днямъ ихъ разглядывать—стало моимъ единственнымъ, всепоглощающимъ развлеченіемъ. Никто не давалъ мнѣ права брать изъ этой библіотеки все, что мнѣ вздумается; право это возникло само собой, возникло потому, что въ этомъ давно уже нраву моему никто не препятствовалъ. Особенно интересные романы, въ родѣ «Источникъ Святой Екатерины», «Малекъ Адель», «Таинства» какого-то замка и т. п., я, по прочтеніи, давалъ читать нашему Логину или Глаголевскому.

Логинъ былъ большой охотникъ до чтенія, но читалъ очень медленно, черезъ мѣсяцъ совершенно забывалъ прочитанное, и могъ опять съ такимъ же точно интересомъ

читать ту же самую книгу. У него немало пропало этихъ книгъ, потому что, въ свою очередь, онъ давалъ ихъ читать знакомому цырюльнику, да еще какому-то ламповщику, состоявшему при театрѣ. Глаголевскій также много ихъ зачиталъ, иначе сказать, зажилилъ. Бывало, спросишь его:—Прочли вы, Василій Васильичъ, тѣ книги, которыя я далъ вамъ?

— Нѣтъ, еще не прочелъ, но скоро прочту. Нѣтъ ли у васъ еще какихъ-нибудь? Одолжите.

И для того, чтобы Глаголевскаго одолжить новыми книгами, я бросалъ урокъ и убѣгалъ въ библіотеку; ибо, во-первыхъ, находилъ, что лазить по полкамъ гораздо пріятнѣе, чѣмъ писать подъ диктовку или спрягать полатыни; во-вторыхъ, сталъ подозрѣвать, что Глаголевскому также пріятнѣе наединѣ бесѣдовать съ моей няней, чѣмъ учить меня...

Разъ какъ-то нашла на меня веселая минута: я сталъ приставать къ нянѣ и назвалъ ее: мадамъ Глаголевская.

— Это еще что? удивилась она, поглядѣвши на меня съ полуулыбкой и съ полудосадой, однимъ словомъ, далеко не такъ, какъ глядѣла она на свою работу.

Я плутовски прищурилъ одинъ глазъ и сказалъ ей:

— Ну, ну, не притворяйся. Я вѣдь знаю.

Няня покраснѣла до ушей.

— Что ты знаешь?

— А то знаю, что... ты въ него, а онъ въ тебя... даже видѣлъ разъ, какъ ты его поцѣловала.

Няня какъ-то странно засмѣялась. — Опомнись, батюшка,—проговорила она,—или еще не проспался!

И я, какъ бы дразня ее, сталъ ей разсказывать, какъ больной я притворился спящимъ и все видѣлъ. Слушая меня, няня низко нагнулась надъ шитьемъ и продолжала ковырять иглой своей; наконецъ, глаза ея превратились

въ двѣ едва замѣтныя щелки, и она сказала, какъ бы себѣ подъ носъ: — Ну, видѣлъ, такъ и молчи.

— Да кому же я стану говорить?

— Да никому и не говори.

— Да я никому...

— Господа-то не лучше насъ. Что, они, ты думаешь, святые, что ли! А?

При этомъ она подняла свою голову; ея щелки превратились въ два сердитые глаза, и эти два глаза поглядѣли на меня особенно какъ-то пристально.

— Да я ничего не говорю... Отчего не поцѣловаться... Я ничего... началъ я уже безъ смѣха, какъ бы предчувствуя что-то недоброе: — Я такъ, няня, думаю, поцѣловаться—это Богъ проститъ. Вонъ и Юлинька иногда меня цѣлуетъ. Лишь бы не было...

— Чего?

— Лишь бы не было... какъ бы это тебѣ сказать, не соврать,—лишь бы не было...

Я отвернулся и, чтобъ разомъ порѣшить мысль мою, быстро проговорилъ, какъ бы на вѣтеръ: — Лишь бы не было любовника.

При этомъ, разумѣется, я покраснѣлъ не хуже Аграфены.

— Лю-бо-вника!.. А! вотъ что! Гм! Ишь ты куда ведешь! Ну, да хоть и любовника, кто мнѣ запретитъ? Что я, крѣпостная, что ли? Да хоть бы и крѣпостная, кого я испугалась! Тебя, что ли, буду бояться? Ты самъ-то чей сынъ? А? знаешь ли ты это?

Я уставилъ на нее глаза свои.

— Ну, не знаешь, такъ и нечего мнѣ съ тобой разговаривать. А попрекать меня некому, и не попрекай, и не смѣй попрекать! Не хочу! Нынче я здѣсь, завтра уйду,—и уйду, и брошу васъ, ну васъ совсѣмъ! Живешь, живешь, добраго слова не услышишь. Да ты еще,—не

успѣло молоко на губахъ обсохнуть, туда же тычешь мнѣ въ носъ. Отойди! Ничего слышать не хочу!.. Вишь! вынянчила какого кавалера! Больно ужъ умны вы стали съ вашей маменькой-то! Та тоже намедни... Говорятъ тебѣ, отойди! и говорить съ тобой не хочу.

Я отошелъ; въ головѣ моей пошла какая-то путаница. Неожиданный гнѣвъ Аграфены, какой-то странный, неожиданный намекъ — все это какъ-то смутно потрясло меня. Я сѣлъ за свой письменный столъ, раскрылъ книгу «Таинства Креста», хотѣлъ читать—ничего не понялъ и исподлобья поглядѣлъ на мою разгнѣванную няню... Она продолжала шить, проворно ковыряя иглой и не поднимая головы. Минуты черезъ три я опять подошелъ къ ней. По широкому, румяному лицу ея сбѣгали слезы. Я хотѣлъ обнять ее, но она бросила на окно свою работу, встала, уронила наперстокъ и, не говоря ни слова, вышла.

Когда она вышла, у меня также изъ глазъ покатились слезы.

Вотъ оно, чортъ возьми! какое это страшное, обидное слово «любовникъ»! Не скажи я этого, ничего бы не было... Что это она хотѣла сказать: чей я сынъ? Какъ будто она не знаетъ, что я сынъ моего покойнаго папеньки? Господи, Господи! какъ она обидѣлась! Кусокъ мнѣ теперь въ горло не полѣзетъ—такъ мнѣ обидно!

Въ столовой накрыли приборъ, я пошелъ обѣдать. Къ обѣду перемѣнять тарелки пришелъ Егорка, подавать кушанья пришелъ Логинъ—Аграфена не пришла.

Дѣйствительно ли няня моя сильно обидѣлась, или только притворялась обиженной? Очень можетъ быть, что и притворялась. Она была хитра по-своему и умѣла приноравливаться къ характерамъ, была самолюбива и выходила изъ себя, если не замѣчала къ себѣ барскаго расположенія. То особенно благоволила къ моей матери, то злилась и дулась на нее по цѣлымъ днямъ, и тогда вся-

кій шагъ, всякое мое слово могло разсердить ее. Въ этотъ разъ не была ли она сердита на мать мою за то, что деньги на расходъ она поручила не ей, а Логину? Быть можетъ, это показалось ей крайней степенью недовѣрія къ ея честности. Она о своей честности была самаго высокаго понятія, воображала, что честнѣе ея нѣтъ на свѣтѣ ни одной женщины, и что она сущій кладъ, сущее благодѣяніе для тѣхъ, у кого она нянчитъ. Вѣроятно, моя милая няня очень хорошо поняла, что, огорчившись, она меня огорчитъ и что это послужитъ мнѣ урокомъ, то-есть сдѣлаетъ меня осторожнѣе. Мысль, что я при матери или при комъ-нибудь заподозрю ея поведеніе, тотчасъ же взволновала желчь ея. Не заключила ли она изъ словъ моихъ, что я не только шучу, но и не шутя стою на дорогѣ къ открытію кой-какихъ любовныхъ тайнъ ея; что я уже не такой ребенокъ, какимъ кажусь, что я уже кой-что смыслю и, стало быть, опасенъ; а если опасенъ, то и не мѣшаетъ поплакать.

Всего этого, конечно, я не соображалъ тогда; но, сколько помню, мысль, что моя няня оттого и обидѣлась, что я попалъ не въ бровь, а прямо въ глазъ, въ тотъ же день пришла мнѣ въ голову, именно въ ту самую минуту, когда, отобѣдавши, я нашелъ ее въ моей дѣтской на прежнемъ мѣстѣ и сталъ просить ее простить меня.

Послѣ долгаго, упорнаго молчанія, отталкиванія, «не мѣшай шить!» «ступай, ступай!» и тому подобныхъ выраженій, няня, наконецъ, умилосердилась, простила мнѣ; но взяла съ меня слово, что я никогда не буду говорить такихъ мерзостей; что я еще молодъ, чтобъ надъ ней насмѣхаться или говорить всякій вздоръ; что и въ мысляхъ у меня не должно быть ничего подобнаго; чтобъ я и не думалъ... чтобъ она и не слыхала...

Я далъ ей слово и, слава Богу, мало-по-малу успокоился.

ГЛАВА XI.

Наступили жаркіе дни; душно стало въ городѣ; не сидѣлось въ комнатахъ. Да когда же это, думалъ я, пришлютъ за мной и повезутъ на дачу?.. Никогда еще я не былъ въ Павловскѣ и представлялъ его себѣ чѣмъ-то въ родѣ земного рая. Мое нетерпѣніе скоро перешло въ досаду, досада привела къ безотраднымъ предположеніямъ.

Меня забыли, *кутятъ*, знать меня не хотятъ. И Юлинька не написала ни одной строчки, а еще писать обѣщалась! Богъ съ ними со всѣми!..—Егорка! пойдемъ на Неву кататься: Логина дома нѣтъ; чего намъ ждать его! Пойдемъ, Егорка! Деньги у меня, слава Богу, не переводятся: 30 копѣекъ есть. — Чего думать! Бѣги за шапкой; я на крыльцѣ подожду тебя. Няня! я иду съ Егоркой погулять. Вечеръ-то больно хорошъ. Мы только около Николы Морскаго побѣгаемъ...

— Ступайте.

Удивительно мягка и снисходительна стала моя няня: что ни придумай, что ни сдѣлай—ничего, ни малѣйшаго возраженія!

Очень можетъ быть, что моя Аграфена (женщина добрая, но пустая, по мнѣнію моей матери, и женщина ужъ что-то очень строгая — съ норовомъ женщина, по мнѣнію нашей дворни) разсуждала такимъ образомъ: ну, мальчикъ, буду я глядѣть на тебя сквозь пальцы,—гляди и ты на меня сквозь пальцы; ты, я вижу, глазастъ, — чего добраго, и въ самомъ дѣлѣ что-нибудь запримѣтишь. Лучше не ссориться...—Такъ или иначе она думала, не знаю; но фактъ тотъ, что никогда еще она не была такъ мягка и такъ ко мнѣ снисходительна.

Егорка и я отправились. Пошли на Неву къ англійской пристани. Пришли; видимъ, одна только лодка ка-

чается. Молча, минутъ десять постояли мы на плоту, около желѣзныхъ колецъ, къ которымъ притягиваются носы раскрашенныхъ яликовъ. Лодочникъ спалъ въ одной рубахѣ, какою-то дерюгой накрывши голову. Егорка, выпучивъ впередъ свое пузо, заложилъ руки въ карманы затасканныхъ нанковыхъ шароваръ и ждалъ. Я, помахивая тросточкой, какъ истинный джентльменъ, также чего-то ждалъ. Мнѣ хотѣлось, чтобъ онъ первый заговорилъ съ лодочникомъ, а ему хотѣлось, чтобъ я первый разбудилъ его.

— Разбуди его, Егорка!

Егорка немного помялся на мѣстѣ, подумалъ, какъ быть, и ногой толкнулъ лодку въ бокъ. Лодка откачнулась.

— Эй, лодочникъ!...

Лодочникъ приподнялъ всклокоченную, заспанную голову, надѣлъ шапку и ухватился за весла.

— Вамъ куда? спросилъ онъ.

Я поглядѣлъ на Егорку.

— На взморье,—сказалъ Егорка.

— На взморье! повторилъ лодочникъ и поглядѣлъ на насъ.

— Ну, куда хочешь, только не въ море,—сказалъ я, и при этомъ, засунувъ руку въ правый карманъ синихъ, коротенькихъ брюкъ, побренчалъ кучкой мѣдныхъ грошей, какъ бы въ доказательство, что у насъ есть чѣмъ заплатить ему.

— Вамъ что, покататься что-ль?...

— Покататься.

— Давай, баринъ, двадцать копѣекъ, покатаю.

Егорка поглядѣлъ на меня—дескать, не дорого ли?

— Дамъ тридцать... валяй!

Такъ я храбрился, а самому было жутко: еще ни разу я по Невѣ не плавалъ.

— Садись!

— Садись, Егорка!

Только-что мы стали усаживаться, какъ вдругъ, около самой руки моей, что-то шаркнуло, промелькнулъ чей-то сапогъ, лодка качнулась, и передъ нами сталъ вскочившій въ нее длинный франтъ, въ бѣлыхъ брюкахъ, въ коричневомъ сюртукѣ, въ галстукѣ съ огромнымъ бантомъ, въ круглой шляпѣ съ широкимъ верхомъ и съ такими же широкими, загнутыми съ боковъ полями. Въ первую минуту я не узналъ его; но страшно сконфузился и чуть не испугался, когда усѣвшись, онъ приказалъ лодочнику везти себя на Крестовскій островъ. Я узналъ этотъ непріятный, скрипучій голосъ. Это былъ Равининъ, тотъ самый Равининъ, который съ дѣтства такъ пугалъ меня своими глазами и выходками на вечерахъ моей матери. Онъ также сначала не узналъ меня; но когда, мы уже отплыли, сталъ вглядываться, и лицо его изобразило нѣчто въ родѣ изумленія.

— Чалыгинъ! это ты? спросилъ онъ, немного назадъ откинувъ скуластое, загорѣлое, почти желтобурое лицо свое.

— Я-съ...

— Ты?... А отчего же ты, пріятель, мнѣ не кланяешься!.. Отчего ты узналъ меня и такъ невѣжливъ, что глупой шапки твоей не хочешь приподнять съ твоей глупой головешки? А?...

Я приподнялъ свой картузъ, и не зналъ что сказать ему: черные глаза его — у! какіе непріятные, тяжелые глаза!—такъ и жгли меня.

— Дурно, братъ! скверно ты ведешь себя. Гдѣ твоя матушка?

— Моя мама въ Павловскѣ.

— Въ Павлоскѣ! А! Поближе ко двору захотѣлось! А отчего же ты—ты не въ Павловскѣ?

— Оставили учиться—обѣщались прислать за мной...

— Кто твои учители?

— Десартъ, Глаголевскій.

— А кто тебя учитъ математикѣ?

— Глаголевскій.

— Семинаристъ? А?

— Да...

— То-есть, онъ учитъ тебя тому, чего и самъ не знаетъ,—это хорошо. Умная дама твоя матушка; у такихъ дамъ дѣти всегда дураками растутъ. А кто съ ней поѣхалъ въ Павловскъ?

— Юлинька.

— А! эта французская кукла, набитая русскимъ тряпьемъ, проскрипѣлъ онъ безъ малѣйшей улыбки, и сталъ оглядывать берега въ маленькую, зрительную трубочку, причемъ верхняя губа его перекосилась и приподнялась. Сафьянный футляръ отъ его подзорной трубки остался на лавочкѣ около Егорки. Егорка не утерпѣлъ, взялъ его въ руки и сталъ осматривать.

Равининъ это замѣтилъ; но, не переставая оглядывать панораму города, опять заскрипѣлъ:

— Если ты, мальчишка, не положишь футляръ на мѣсто, я возьму тебя за вихоръ и выброшу вонъ изъ лодки.

Егорка положилъ футляръ на мѣсто и оробѣлъ.

Въ это время мы подъѣхали подъ дворцовый мостъ— и я впервые отъ роду надъ своей головой услыхалъ лошадиный топотъ. Лодочникъ сильно ворочалъ своими веслами. Мѣрными взмахами несли они лодку противъ теченья, огибая Стрѣлку *). Между нами на полчаса водворилось совершенное молчаніе. Не знаю, что думалъ Егорка. Зеленая, суконная, съ поломаннымъ козыркомъ, его шапка

*) Тотъ уголъ Васильевскаго острова, гдѣ теперь стоятъ маяки: ихъ тогда еще не было.

торчала бугромъ на его головѣ; сквозь оттопыренныя уши повременамъ сквозило солнце, на три четверти горизонта уже склонившееся къ западу; глаза щурились, а губы какъ будто собирались свиснуть.

Не знаю, что онъ думалъ; а я... Я въ прескверномъ былъ расположеніи духа. Прогулка на свободѣ и сосѣдство Равинина были для меня двѣ вещи совершенно несовмѣстимыя. Я не зналъ, куда везутъ меня; видѣлъ, что городскія зданія, по берегамъ Малой Невы, стали все рѣдѣть и рѣдѣть; сады, окружавшіе берегъ, казались мнѣ лѣсомъ. Что такое Крестовскій островъ—я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія. Воображалось, что это клочекъ земли, со всѣхъ сторонъ окруженный моремъ. Я съ безпокойствомъ глядѣлъ впередъ, не увижу ли моря—и не видалъ никакого моря. Мнѣ казалось, что я закричу, если увижу море... Но лодка своротила направо, и мы очутились въ какой-то канавѣ. Это была рѣчка Ждановка. Помню, какъ, задѣвая за дно, проѣхали мы подъ балками какого-то мостика. Всего досаднѣе было то, что я не смѣлъ вслухъ спросить Егорку: куда это насъ везутъ? и что намъ дѣлать?

Равининъ не даромъ же считался человѣкомъ ядовитымъ, чуть не мефистофелемъ, среди тогдашней молодежи. Какъ чортъ какой-нибудь, онъ догадался, что я чего-то трушу, и на него нашелъ припадокъ балагурства.

— Эй ты, дядя!—обратился онъ къ лодочнику,—къ полночи мы доѣдемъ, али не доѣдемъ? А?

— Доѣдемъ, лѣниво отвѣчалъ лодочникъ.

Господи Боже мой! къ полночи! подумалъ я.

— А много волковъ на Крестовскомъ? Вчера, писали, бѣшеный волкъ тамъ всѣхъ перекусалъ. Не слыхалъ, убили его, али нѣтъ? А?

— Не слыхалъ, еще лѣнивѣе отозвался лодочникъ.

Равининъ поглядѣлъ на меня такъ, что я едва могъ

поймать взглядъ его; но онъ успѣлъ замѣтить, что слова его попали въ цѣль; губы его вытянулись въ улыбку, и лицо приняло лягушечье выраженіе.

— А ты, пріятель, былъ ли когда нибудь на Крестовскомъ? А?

— Не былъ и не хочу быть,—отвѣчалъ я ему съ отчаяньемъ:—Прикажите лодочнику насъ отвезти назадъ, сдѣлайте такую милость, прикажите...

— Отвезу и назадъ,—отозвался лодочникъ.

— Онъ васъ отвезетъ,—сказалъ Ривининъ, уже по-французски:—но я, какъ закадычный пріятель твоей матери (ami cochon de ta mère), долженъ предупредить тебя. Эти лодочники мошенники и разбойники первой степени. Очень можетъ быть, что на обратномъ пути онъ раздѣнетъ васъ, удавитъ васъ кушакомъ и побросаетъ въ воду. Это очень можетъ случиться (ça arrive!)...

— Это вы нарочно меня испугать хотите,—этого быть не можетъ... Этого не можетъ быть! отвѣчалъ я, хорохорясь. Но Равининъ не могъ не понять изъ самаго тона моего голоса, что я трушу.

— Я одного боюсь... продолжалъ я.

— Чего же ты, пріятель, боишься? А?

— Няня и Логинъ будутъ безпокоиться. Я имъ не сказалъ, что я поѣду кататься въ лодкѣ, и они пойдутъ искать меня. Будьте такъ добры, выпустите насъ куда-нибудь на берегъ... Послѣднія слова проговорилъ я, употребляя всевозможныя усилія, чтобъ какъ-нибудь не заплакать.

— А сколько тебѣ лѣтъ? А?

— Десять...

— Десяти лѣтъ я одинъ съ ружьемъ ходилъ въ лѣсъ на охоту. Четырнадцати былъ подъ ядрами, сражался подъ Бородинымъ. Шестнадцати—былъ уже капитаномъ гвардіи и въ Парижѣ волочился за юбками. Ну, не дрянь

ли ты, если на то пошло, чтобъ я говорилъ тебѣ правду? Или матушка твоя такъ и ведетъ тебя, чтобъ ты былъ тряпкой... А еще увѣряетъ, что ты гражданинъ будешь!.. Ну, чего ты трусишь? Лодочникъ одинъ, а васъ двое, можетъ быть, вы съ нимъ и справитесь. Боишься няньки? Каши она не дастъ тебѣ, или матери скажетъ, что ты отъ рукъ отбился? Ну, мать тебя высѣчетъ — эка бѣда! Часто она тебя сѣчетъ? А?

— Никогда не сѣчетъ. (Слова Равинина сильно задѣли мое самолюбіе).

— А я бы тебя непремѣнно сѣкъ, для того, чтобъ сдѣлать изъ тебя спартанца или гражданина. Попроси ты когда-нибудь эту француженку... Юлиньку-то твою — посѣчь тебя: самъ увидишь, какъ это пріятно, — особливо, если сѣчетъ молоденькая, хорошенькая женщина.

— Я скорѣй убить себя дамъ, а ужъ сѣчь себя не дамъ. Вонъ, ѣдетъ пустая лодка, позвольте намъ пересѣсть въ нее.

— А зачѣмъ тебѣ пересѣсть?

— Домой пора.

— Няня плачетъ? А?.. Что за вздоръ! Кстати, я давно хотѣлъ спросить тебя: часто ты видишь привидѣнія? Говорятъ, ты какое-то привидѣніе видѣлъ?..

— Никакого я не видалъ привидѣнія...

— А стихи Пушкина тебѣ очень нравятся?

— Да, стихи Пушкина—прекрасные стихи; я ничего лучшаго не знаю и не читалъ.

— И наизусть знаешь?

— И наизусть знаю.

— Ну-ка прочти что-нибудь, коли не врешь,—или у тебя душа въ пятки ушла, языкъ не поворачивается?

— Я не могу читать...

Равининъ сталъ раскачивать лодку и такъ ее накренилъ, что я подался впередъ и чуть не упалъ на Егорку.

— Если не хочешь, чтобъ я опрокинулъ лодку, прочти стихи.

— Прочту.

— Ну, читай, гражданинъ, пущу душу на покаяніе.

Я собрался съ силами и обрывающимся голосомъ сталъ читать:

У лукоморья дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ:
И днемъ, и ночью котъ ученый
Все ходитъ по цѣпи кругомъ;
Идетъ направо—пѣснь заводитъ,
Налѣво—сказку говоритъ.

— Эдакая дребедень! Ученый котъ!! перебилъ онъ, чуть не до самыхъ ушей раздвинувъ ротъ свой: — Пишетъ такой вздоръ, а туда же корчитъ изъ себя поэта! И есть же такіе дураки и дуры, которые наизусть учатъ эту белиберду. Читай лучше что-нибудь изъ Расина.

— Изъ Расина я не знаю.

— Ну, изъ Корнеля.

— И изъ Корнеля не знаю.

— Неужели глупый Десартъ не даетъ тебѣ заучивать наизусть лучшіе отрывки изъ великихъ французскихъ классиковъ? Въ твои года я зналъ почти всего Буало и чуть не наизусть всего Тартюфа, а ты учишь стишонки этого краснобая Пушкина! Мольера да Расина весь свѣтъ знаетъ, а о твоемъ Пушкинѣ, вонъ, я думаю, даже и лодочникъ нашъ ничего не слыхалъ. Эй, дядя! слыхалъ ты что-нибудь о Пушкинѣ?

— Это баринъ такой есть—Пушкинъ... бани въ Москвѣ содержитъ, слыхалъ—какъ не слыхать!.. Пушкинскія бани... Мой землякъ тамъ никакъ годовъ шесть, али семь въ баньщикахъ прѣлъ; знаю,—проговорилъ лодочникъ, повидимому, до сихъ поръ не обращавшій на насъ ни малѣйшаго вниманія.

— Да ты грамотный ли? спросилъ его Равининъ.

— Кто? Я-то грамотный ли? А съ чего мнѣ быть грамотнымъ-то! Нѣ, не грамотный.

Я въ это время оглядывалъ берега Невки. Налѣво виднѣлась полоса моря; но мы, слава Богу, почему-то повернули направо. Равининъ также почему-то поглядѣлъ направо въ свою зрительную трубочку. Помню, какъ потомъ продолжалъ онъ свою бесѣду съ лодочникомъ, и вношу эту бесѣду въ мою лѣтопись.

— Ты знаешь ли, напримѣръ, кто у насъ наслѣдникъ престола? А?

— Не знаю.

— Гм! Какъ же ты этого не знаешь?

— А почемъ мнѣ знать; кабы я здѣшній...

— Да вѣдь ты ходишь же когда-нибудь въ церковь? А?

— Хаживалъ, съ неохотой отвѣчалъ лодочникъ.

— Ну, такъ какъ же ты не знаешь, что каждую обѣдню, каждую всенощную и за каждымъ молебномъ повторяетъ попъ: «и наслѣдника его, благовѣрнаго государя великаго князя и цесаревича Константина Павловича... «Али ты въ церкви-то глухой стоишь?

— Это точно что... мы люди темные, что мы знаемъ!

Невѣжество лодочника, судя по выраженію лица Равинина, болѣе тѣшило его, чѣмъ огорчало. Вѣроятно, въ умѣ его въ это время уже слагался забавный анекдотъ, и анекдоту этому суждено было прославить умъ и наблюдательность этого русскаго джентльмена въ средѣ самаго высшаго, петербургскаго общества.

— А царя ты видѣлъ? А?

— Какъ его, батюшку, не видать! видалъ,—отвѣчалъ лодочникъ, глядя куда-то въ сторону; потомъ вдругъ обернулся и спросилъ:—а правда ли, баринъ, баютъ промежъ насъ, такой слухъ прошелъ, будто воля будетъ? Такъ какъ теперича, значитъ, француза прогнали, Бонапарта куда слѣдуетъ препроводили, за семью замками на

семи цѣпяхъ сидитъ, Москву почитай-что всю заново отстроили... то вотъ и говорятъ, будто царь намъ хочетъ волю дать. Слыхали?

— Не слыхалъ. А ты чей? спросилъ его Равининъ уже строгими глазами оглядывая его съ головы до ногъ.

— А я помѣщичій,—отвѣчалъ лодочникъ, оглядывая берегъ.

— Кто твой помѣщикъ? а?

— А енералъ Равининъ. Слыхали? Былъ, да и померъ, царство ему небесное! Теперича, должно быть, за наслѣдникомъ его Николаемъ Николаичемъ состоимъ.

— А много ты платишь оброку?

— Да пятьдесятъ рублевъ ассигнаціями, не мало...

— И исправно платишь?

— Въ контору плачу. И радъ бы не платить, да что ты будешь дѣлать! Неволя!

— А что, братъ, было бы для тебя лучше: платить оброкъ или быть высѣчену—а?

— Чего?

— Оброкъ заплатить или высѣчену быть... что лучше?

Лодочникъ засмѣялся.

— Высѣчену быть! Вотъ нашелъ, баринъ, бѣду! Шкура-то своя, не куплена; одну сдерутъ, другая выростетъ; а пятьдесятъ-то рублевъ, гляди, деньги!

— Ну, приходи завтра ко мнѣ, я велю тебя отодрать, а оброкъ тебѣ подарю. Я твой баринъ, Николай Николаевичъ,—проговорилъ Равининъ, укладывая въ футляръ свою трубочку.

Лодочникъ какъ взмахнулъ веслами на воздухъ, такъ они и остались на воздухѣ, только капли съ нихъ посыпались. Сильно это его озадачило, точно его кто-нибудь по лбу обухомъ съѣздилъ, инда поблѣднѣлъ.

— Ну, греби, греби!

— Да подлинно ли это вы, ба-ба-батюшка?...

— Вотъ приходи завтра—узнаешь. Домъ на Вознесенскомъ проспектѣ, знаешь, чай! А?

Но встревоженный лодочникъ одной рукою снималъ шапку, другой ловилъ весло.

— Ну, греби же, дуракъ!

Лодочникъ принялся грести что есть силы; шапка его валялась у ногъ, крупныя капли пота катились по загорѣлому лицу, волосы развѣвались.

Такъ доѣхали мы до какого-то берега, покрытаго частымъ, еловымъ лѣсомъ. Въ лѣсу стояло двѣ дачи, одна побольше, другая поменьше; къ нимъ отъ воды вела дорожка. Это и былъ Крестовскій островъ.

ГЛАВА XII.

Отлогій, утоптанный бережокъ, покрытый тѣнями лѣса, по мѣстамъ насквозь пронизаннаго лучами золотистаго вечера; небо съ неподвижными группами фіолетовыхъ облаковъ, серебристо-синеватая гладь рѣки,—все это могло бы обаять, и развеселить, и поднять меня на ноги,—все это смутно напоминало мнѣ тѣ вечера, которые я проводилъ гдѣ-то на дачѣ, во дни моего болѣе безмятежнаго дѣтства, того дѣтства, которое даже тогда казалось мнѣ какою-то туманной, отдаленной, поэтической стариной.

Отчего же я не вышелъ на берегъ? Или я привыкъ бѣгать и веселиться только на привязи, чувствуя на себѣ невидимую цѣпь, привязывающую меня къ людямъ, меня оберегающимъ? Или меня мучила совѣсть, за то, что я прямо не высказалъ Аграфенѣ моего намѣренія, обманулъ, надулъ, быть можетъ заставилъ ее бѣгать и съ замирающимъ сердцемъ искать меня? Или Равининъ напугалъ меня?

Дорого бы я далъ, чтобъ выскочить изъ лодки, и, вмѣстѣ съ Егоркой побѣгать въ рощѣ, поискать грибовъ, полежать на травѣ, послушать птичекъ, и въ то же время дорого бы далъ, чтобъ повернуть назадъ и въ одно мгновенье очутиться въ стѣнахъ моей душной комнаты.

Равининъ, перешагнувши изъ лодки на берегъ, пошелъ по направленію къ домикамъ; но въ ту самую минуту, какъ я, ухватившись за Егорку, сталъ просить лодочника везти меня назадъ какъ можно скорѣе,—длинная фигура Равинина повернулась къ намъ лицомъ и спросила лодочника:—Какъ тебя зовутъ?

— Митрофаномъ Егоровымъ,—отвѣчалъ лодочникъ.

— Жди меня! отрѣзалъ Равининъ и опять повернулъ къ домикамъ. Ему навстрѣчу вышла какая-то женщина, вся въ бѣломъ и съ распущенными по плечамъ волосами.

Вотъ тебѣ на! подумалъ я.... Жди его! Развѣ мы затѣмъ поѣхали, чтобъ ждать этого чорта—прости Господи!

Егорка, выскочивъ на берегъ, сталъ звать меня; а я легъ на дно лодки и сталъ упрашивать лодочника, чуть не со слезами, не слушаться Равинина и везти насъ.

— Нельзя, возражалъ мнѣ лодочникъ:—слышали, сказалъ: жди!... Баринъ вишь!... Еще завтра пожалуй такую задастъ баню, что любо-дорого.

— Пойдемте; здѣсь, говорятъ, по деревьямъ бѣлки прыгаютъ; пойдемте,—приставалъ Егорка.

— Не хочу... Ступай лучше поищи, нѣтъ ли гдѣ другой лодки... А что, Митрофанъ, если онъ цѣлую-то ночь заставитъ тебя здѣсь ожидать... Неужели ты всю ночь...

— Эхма! вздохнулъ лодочникъ:—и всю ночь простоишь—ничего не подѣлаешь.

И, свертывая кафтанъ свой, онъ, какъ кажется, собирался положить его себѣ подъ косматую голову и, пока не придетъ Равининъ, выспаться.

— Есть лодка! есть! послышался изъ лѣсу звонкій голосъ Егорки.

А бѣшеный волкъ не нападетъ!.. И озираясь, я побѣжалъ вслѣдъ за Егоркой, черезъ кочки лѣса, къ другой части берега.

— Да еще съ парусомъ! съ па-а-русомъ! на бѣгу повторялъ Егорка радостно запыхавшимся голосомъ.

Но эта лодка (дѣйствительно съ парусомъ) нанята была какими-то кутящими купчиками и также должна была дожидаться, пока тѣ не воротятся изъ какого-то чайнаго заведенія. Въ рукахъ лодочника, уже лысаго старика, съ краснымъ, морщинистымъ лицомъ, былъ штофъ водки; а на кормѣ лежалъ хлѣбъ, да пучекъ зеленаго луку. Ни къ чему не повели наши съ нимъ переговоры, и мы побѣжали назадъ. Прибѣгаемъ—видимъ, на берегу около нашей лодки стоитъ маленькая, въ пухъ разряженная дѣвочка; вокругъ головки ея висятъ заплетенныя косички, каждая косичка заканчивается розовымъ бантикомъ; такого же цвѣта лента, вмѣсто пояса, перехватываетъ ея бѣленькое кисейное платьеце. И съ такими большими, ясными глазами, съ такими длинными, темными рѣсницами! Однимъ словомъ, необычайно милая дѣвочка, лѣтъ около шести или семи.

Увидавши насъ, она повернула къ намъ свое личико, присѣла и сказала: здравствуйте!... Я смотрѣлъ на дѣвочку, какъ на чудо, и въ то же время старался собраться съ мыслями и понять, зачѣмъ это лодочникъ, собиравшійся спать, какъ будто собирается отчаливать,— упирается грудью на весло, а весло упирается въ берегъ. Сердце мое сильно билось.

— Это вы пріѣхали? спросила дѣвочка.

— Мы, мы.

— Такъ уѣзжайте. Папаша велѣлъ вамъ сказать, что ему лодка не нужна; онъ останется ночевать у мамаши.

Мамаша упросила его ночевать. А мы сейчасъ гулять пойдемъ.

Тутъ, немного помолчавъ, она съ пресеріозной миной подошла ко мнѣ.

— Покажите-ка вашу тросточку. Какая гибкая. Только головка нехорошая; вы ее, должно быть, зубами грызли. У меня есть лучше тросточка. Monsieur Штакенъ забылъ ее у насъ. Онъ ее забылъ, а я ему не отдамъ—зачѣмъ забылъ! Такъ вы уѣзжаете! А не хотите погулять? А когда же вы къ намъ опять пріѣдете? Вы бы поскорѣй пріѣхали... я бы васъ попотчивала. У меня есть пастила, пряники, изюмъ, орѣхи, бѣлка есть—все есть.

— А какъ васъ зовутъ? спросилъ я дѣвочку.

— Вѣрочкой.

— Прощайте, Вѣрочка, да отдайте же тросточку-то.

— А я хотѣла вамъ ее не отдавать, н—да! не отдавать, повторила она улыбаясь, вся нагнулась впередъ и за своей спиной спрятала мою тросточку. Вотъ, когда она мнѣ надоѣстъ, а вамъ тогда ее отдамъ—хотите?

— Ну хорошо,—отвѣчалъ я подумавши.

— Ничего нѣтъ хорошаго! подхватила дѣвочка и залилась громкимъ смѣхомъ.

Это меня озадачило; но обидѣться не было никакой возможности—зубки ея такъ и сверкали.

Егорка вскочилъ въ лодку, и она уже двинулась. Я снялъ картузъ...

— Что жъ это, вы уѣзжаете, а не прощаетесь?

— Ну, прощайте!

Дѣвочка стала на цыпочки и потянула ко мнѣ свои алыя губки.

— Ну, да прощайте же! Что же вы не прощаетесь!?

Я нагнулся и, раскраснѣвшись, поцѣловалъ ее, потомъ шагнулъ въ лодку и усѣлся на кормѣ.

— Постойте-ка! закричала Вѣрочка:—постойте!

— Что вамъ?

— Какъ васъ зовутъ? Сережей?

— Да, Сережей.

— Ну, уѣзжайте, уѣзжайте! Я васъ не удерживаю...

Лодка двинулась, и когда мы отдалились отъ берега, я видѣлъ, какъ на темномъ фонѣ лѣса все еще рисовалась маленькая фигурка бѣленькой дѣвочки; мнѣ даже казалось, что она прикладываетъ свою рученку къ губамъ и посылаетъ мнѣ воздушные поцѣлуи.

Конечно, по всѣмъ соображеніямъ, эта Вѣрочка была напередъ подстроена, если не Равининымъ, то своей мамашей; очень вѣроятно, что, высылая ее на берегъ, ей было даже приказано поцѣловать меня,—и все-таки никогда ни прежде, ни послѣ не встрѣчалъ я такой бойкой, такой забавно-милой малютки. Ея неожиданное появленіе совершенно измѣнило расположеніе моего духа. Я забылъ и про няню, и про Логина, и про тревогу въ домѣ, по случаю моего необычнаго, столь продолжительнаго отсутствія.

И не то чтобъ я вдругъ въ нее влюбился, нѣтъ,—она просто меня поразила, на цѣлый вечеръ заняла мое воображеніе. Я не могъ забыть ни ея дѣтски-лукаваго смѣха, ни ея простодушно-дѣтскаго поцѣлуя. Я былъ радъ, что тросточка осталась у нея въ рукахъ.

Лодочникъ сперва молчалъ, потомъ сталъ насъ допрашивать, знаемъ ли мы его барина, и дѣйствительно ли это его баринъ.—Кто его знаетъ,—говорилъ онъ,—можетъ быть, такъ только, пошутить захотѣлъ, чтобъ денегъ не заплатить. Я его уже не впервой вожу туда. Скупой, должно быть, ни разу-то, братцы, на водку не далъ. А коли скупой,—соображалъ онъ,—то какимъ же это манеромъ онъ мнѣ оброкъ проститъ? Чудно!...

Я совершено уже понялъ, что бояться нечего, что ло-

дочникъ этотъ нисколько непохожъ на морскаго пирата, что Равининъ нарочно вралъ, чтобъ только пугать меня, потому что давно меня встрѣчалъ и успѣлъ догадаться, что я *впечатлителенъ*. Трусомъ мнѣ не хотѣлось назвать себя. Я уже мысленно стыдился своей трусливости.

— Давай, Егорка, всю ночь гулять! сказалъ я, очутившись среди Невы, которой невозмутимая поверхность свѣтлыми полосами отражала стѣны дворцовъ, окрашенныхъ въ ярко палевый цвѣтъ полузакатившимся солнцемъ. Вольно дышалось груди, хотѣлось броситься въ воду, улетѣть въ даль, лечь на спину и глядѣть въ это небо, полутемное, полусвѣтлое, мерцающее какъ бы сквозь золотистый дымъ, готовое погаснуть и негаснувшее. Хорошо мнѣ было въ эту минуту и не замѣтилъ я, какъ мы опять пристали къ плотамъ у Англійской набережной.

Лодочнику я отдалъ 30 копѣекъ. Онъ, положа ихъ на свою широкую ладонь, почему-то какъ будто задумался. Мы обѣщались опять придти на пристань, позвать его, Митрофана, и опять поѣхать съ нимъ. Я низачто ни съ кѣмъ не хотѣлъ ѣхать, кромѣ Митрофана; эта прогулка меня душевно породнила съ нимъ, и съ особеннымъ чувствомъ далъ я ему честное слово никогда не садиться въ другую лодку.

— Приходите! сказалъ онъ равнодушно, можно и опять покатать.

Потные и горячіе добѣжали мы до нашего дома. Какъ я предполагалъ, такъ и случилось: вся наша дворня, съ 9 часовъ вечера, искала насъ вокругъ церкви Николы Морскаго и по всѣмъ ближайшимъ каналамъ. Сильно всѣхъ перетревожило мое отсутствіе. Мнѣ обрадовались, но встрѣтили чуть не бранью. Логинъ, поймавши Егорку, такъ оттрепалъ его, далъ ему такую затрещину, что тотъ заревѣлъ на весь домъ и, продолжая ревѣть, побѣжалъ по корридору. Скоро, впрочемъ, за дверями затихъ этотъ

отчаянный ревъ... Бабушка Константиновна—и та поднялась, выползла поглядѣть на меня, постояла, приподняла кулакъ и сказала: «У!...» Въ этомъ «у!» выразила она все свое негодованіе и удалилась. Я попросилъ чаю и рѣшительно всѣмъ объявилъ, что время провелъ чудесно и что всегда буду такъ проводить, — что я уже не маленькій и что знать ничего не хочу!

Но случилось и то, чего я никакъ не могъ предположить, чего мнѣ даже и въ голову не приходило. Я узналъ отъ няни, что мама больна, желаетъ меня видѣть, писала къ доктору, и что Иванъ Павловичъ заѣзжалъ за мной въ коляскѣ, съ тѣмъ, чтобъ немедленно отвезти меня въ Павловскъ, что онъ цѣлый часъ меня дожидался и уѣхалъ.

Это меня поразило, наполнило душу мою страхомъ за мать и раскаяньемъ. Молча напился я чаю, молча раздѣлся и молча легъ. Но когда остался я одинъ въ своей кровати, я зашпилилъ раздвигавшійся пологъ булавкой, сталъ на колѣни, лицомъ къ подушкѣ, и на пришпиленный финифтяный образокъ сталъ молиться... Не стану повторять здѣсь жаркихъ, неповторяемыхъ моленій. Я плакалъ, былъ въ отчаяніи и въ молитвахъ искалъ утѣшенія. Нервный я былъ ребенокъ.

ГЛАВА XIII.

Мое первое путешествіе по Невѣ до Крестовскаго острова — событіе, само по себѣ до послѣдней степени ничтожное; но не для меня: въ немъ я вижу едва ли не первое, самое рѣшительное проявленіе моей дѣтской самостоятельности, и мое искреннее «*хочу*» впервые нашло въ немъ свое осуществленіе. Встрѣча съ Равининымъ потянула меня дальше, чѣмъ я желалъ, чѣмъ я смѣлъ

желать, и уже нравственныхъ силъ моихъ почти не хватало ни на это лишнее пространство, ни на это лишнее время. Мечтающій о великихъ подвигахъ то святости, то рыцарскаго самоотверженія, я сдѣлалъ первый въ жизни маленькій самостоятельный шагъ, и что-жъ?— даже этотъ маленькій шагъ не обошелся мнѣ безъ волненій, опасеній, чуть не слезъ, и привелъ меня къ чему же? — къ мучительному раскаянію, какъ будто я совершилъ Богъ знаетъ какое преступленіе. Очень можетъ быть, что этого раскаянія и не было бы, еслибъ не новость о болѣзни моей матери, и проч. Можетъ быть, безъ этого случая, черезъ день, много черезъ два, я бы опять ушелъ на Неву, нашелъ бы Митрофана (непремѣнно Митрофана, съ другимъ лодочникомъ я ни за что бы не рѣшился ѣхать)—и уже одинъ отправился бы на Крестовскій. Но я не говорю о томъ, что могло бы быть; говорю только о томъ, что было.

А было то, что, проснувшись на другой день утромъ, я долго не вставалъ съ постели и долго думалъ: у меня въ головѣ строились разные планы о томъ, какъ попасть мнѣ въ Павловскъ и какъ увидѣть мать мою.

Вставши, помолившись Господу Богу и напившись чаю, я отправился къ Аграфенѣ и объяснилъ ей, что, еслибъ не проклятый Равининъ, я бы непремѣнно черезъ полчаса очень бы скромно воротился домой и никому не причинилъ бы ни малѣйшаго безпокойства. — Кто же зналъ, что этотъ Равининъ потащитъ меня на какой-то Крестовскій островъ!

— Это онъ къ своей актрисѣ ѣздилъ,—замѣтила няня.

— А развѣ онъ на актрисѣ женатъ?

— Какой женатъ!

— Такъ какъ же это?

— Да такъ, на содержаніе взялъ.

— Какъ это на содержаніе?

— Ну, какъ—какъ! Будто не знаетъ, эдакимъ вѣдь невиннымъ прикидывается, скажите пожалуйста! Охъ ты, кавалеръ! Повѣрь тебѣ только...

И няня, продолжая шить, взглянула на меня искоса, какъ бы желая удостовѣриться, какъ это я такъ хорошо умѣю прикидываться, и при этомъ губы ея улыбались.

— Ну, хорошо, прикидываюсь — я прикидываюсь; только ты мнѣ скажи, какъ это по-твоему взять на содержаніе?

— Обыкновенно какъ: даетъ ей деньги... ну и живетъ съ ней.

— Живетъ? Неправда, онъ не съ ней живетъ: онъ живетъ на Вознесенскомъ, а она на Крестовскомъ островѣ.

— Ну, такъ ѣздитъ къ ней, нечто не все равно...

Я понялъ, насколько могъ понять... Новое открытіе! Объ этомъ я еще не прочелъ ни въ одномъ романѣ. Даже еслибъ я успѣлъ прочесть Фоблаза, и тамъ, я думаю, не почерпнулъ бы ни одной мысли о томъ, что деньги даютъ право на любовь и проч. Видно нѣтъ такой соблазнительной книги, которая не поблѣднѣла бы передъ соблазнами самой жизни.

Вчера еще маленькую Вѣрочку, давшую мнѣ поцѣлуй, я считалъ чуть ли не маленькой лѣсной феей; а нынче это была дочь женщины, которую купилъ Равининъ.

Но я подошелъ къ нянѣ не съ тѣмъ, чтобъ говорить о Равининѣ; я сталъ разспрашивать ее, что слышала она отъ доктора о болѣзни моей матери.

— Слышала только, что больна; ну, а чѣмъ больна, не знаю. Прислала за Иванъ Павлычемъ и велѣла ему тебя привезти. А ты, кавалеръ, на Крестовскій островъ отправился амурничать.

А что если... если она при смерти! Я ее не увижу—

такъ и не увижу!... При этой мысли крупная слеза скатилась у меня по щекѣ. Няня взяла въ руки носовой платокъ, вытерла эту щеку и стала увѣрять меня, что Богъ не безъ милости.

— Знаешь ли, что я придумалъ? Я вотъ что придумалъ: не попросить ли мнѣ Логина нанять лошадей? Авось онъ согласится нынче же отвезти меня въ Павловскъ, хоть въ телѣгѣ... А? какъ ты думаешь?

— А не знаю; самъ его спроси,—съ нерѣшительностью въ голосѣ, какъ бы что-то обдумывая, сказала Аграфена. Вели его позвать; вѣдь онъ упрямъ какъ лошадь, Логинъ-то твой. Ничего не дѣлаетъ... Ну, какой онъ, прости Господи, дядька! Лучше бы за своими дочерьми присматривалъ...

— Я, няня, самъ пойду къ нему...

— Иди, коли у тебя стыда нѣтъ по людскимъ ходить,—иди!

По всему видно, что Аграфена была за что-то зла на Логина, а зимой жила съ нимъ въ ладу и ни разу съ нимъ не ссорилась; видно, совѣсть тогда была покойнѣе.

Я отошелъ и взялся за книжку, въ ожиданіи, что придетъ Логинъ. Минутъ черезъ десять, съ этой книжкой перешелъ я въ залу, еще спустя минутъ пять, черезъ галерею и мимо кухни, по задней лѣстницѣ, спустился въ подвальный этажъ, въ комнату, гдѣ обитало семейство Логина.

Я засталъ его дома и за работой. Старикъ безъ сюртука, въ новыхъ, чуть ли не бисерныхъ помочахъ и затертомъ передникѣ, сидѣлъ на деревянномъ табуретѣ, передъ какой-то доской, утыканной сверху рядомъ гвоздиковъ, и изъ тонкихъ веревочекъ плелъ охотничій ягдташъ; на носу его были большіе очки, у переносья перевитые черной ниткой. Жена его Лукерья, блѣдная, болѣзненная

старушка, въ такихъ же очкахъ, сидѣла подъ образами и что-то штопала.

Полюбовавшись на работу Логина и даже заглянувши за цвѣтную занавѣску, гдѣ одна изъ дочерей его, Феня, чесала косу, я сначала нерѣшительно, потомъ съ большею настойчивостью сталъ упрашивать Логина нанять лошадей и свезти меня въ Павловскъ.

Логинъ отказалъ мнѣ наотрѣзъ; ему явно не хотѣлось бросать своей работы. Какъ великій скептикъ, онъ даже усомнился въ болѣзни моей матери. Изъ словъ его я заключилъ, что вчера, когда Иванъ Павловичъ пріѣзжалъ за мной, няни моей дома не было; что съ докторомъ говорилъ онъ, а не Аграфена, что Аграфена, не раньше, какъ въ десятомъ часу, воротилась откуда-то на дрожкахъ, хватилась меня и подняла тревогу; что докторъ ждалъ меня не цѣлый часъ, а много-много что минутъ десять, и что еслибъ моя мама была при смерти, то не могла бы сама писать.

— Ужъ куда ему, голубчикъ-баринъ, ѣхать!—заключила Лукерья, сложа руки и качая головой, повязанной темнымъ платкомъ по-купечески:—много онъ на своемъ вѣку ѣзжалъ, чай и кости-то у него всѣ переломаны. Посади его теперь на телѣгу — десяти верстъ не проѣдетъ; куда онъ годенъ, батюшка-баринъ! А вотъ, не хотите ли ватрушечки скушать? Паша, подай барину ватрушечки.

Я увидѣлъ, что Логина не переупрямишь. Разговаривая со мной, онъ не переставалъ работать, руки его быстро дѣлали какіе-то узелки, и сѣдая, съ маленькой плѣшью голова, по старой парикмахерской привычкѣ, покачивалась, дѣлая такіе же быстрые узелки, только въ воздухѣ. Нечего было и надѣяться на его жалость или снисходительность.

Паша, старшая дочка Логина, все время возившаяся

у печки, подала мнѣ на тарелкѣ горячую ватрушку, и я съ большимъ аппетитомъ принялся уплетать ее, меланхолически оглядывая полку съ помадными банками, утюгами, щипцами, библіей и другими какими-то старыми книженками, шкафъ съ посудой и чашками, станокъ для дѣланья париковъ, картинки, примазанныя къ стѣнамъ и прочій домашній скарбъ, болѣе существенный. Съ недоѣденной ватрушкой въ зубахъ, вышелъ я на дворъ и глазѣлъ на окна сосѣдей. Въ душномъ воздухѣ раздавался благовѣстъ. Былъ какой-то праздникъ. Не подти ли лучше къ обѣднѣ? подумалъ я и пошелъ наверхъ.

Няня предвидѣла, что Логинъ мнѣ откажетъ. Въ головѣ ея созрѣлъ планъ угодить мнѣ, на зло Логину и, быть можетъ, угодить моей матери. За этимъ, кто знаетъ, быть можетъ, таилось и другое, болѣе сердечное желаніе, а—именно какъ можно скорѣе препроводить меня въ Павловскъ, остаться на совершенной свободѣ и ею воспользоваться. Какой-то вѣтеръ сталъ ходить у ней въ головѣ: или весна разгорячила ей кровь, или Глаголевскій не шутя свернулъ ей голову.

— Хочешь ѣхать? спросила меня няня, прихорашиваясь передъ зеркаломъ.

— Хочу.

— Ну, такъ подожди меня, никуда не выходи, посиди здѣсь, почитай что-нибудь или собери тѣ книжки, которыя тебѣ нужнѣе; бѣлье у меня давно уже все приготовлено; чего съ собой не успѣешь взять, послѣ можно будетъ отправить. А если Логинъ придетъ, смотри, ничего ему не говори; мы это дѣло-то и безъ него обдѣлаемъ.

— И безъ него обдѣлаемъ! повторилъ я, рѣшительно не понимая, какъ это мы его обдѣлаемъ.

Заглянувши въ переднюю, есть ли тамъ кто-нибудь изъ лакеевъ, няня вышла на парадную лѣстницу, и я

слышалъ, какъ вслѣдъ за ней кто-то заперъ дверь и проворчалъ:—Экъ ей не сидится! Не могла заднимъ ходомъ пройти—барыня!

Оставшись одинъ, я пошелъ по дому искать, гдѣ тотъ маленькій чемоданчикъ, на который передъ отъѣздомъ указывала мнѣ мать, и нигдѣ его не нашелъ; хотѣлось поглядѣть, нѣтъ ли его въ гардеробной; но гардеробная была заперта. Фу ты какая досада! думалъ я, хоть плачь! Во что же это прикажутъ мнѣ убирать мои вещи?

Я позвалъ со двора Егорку. Егорка сказалъ мнѣ, что видѣлъ какой-то чемоданъ въ комнатѣ у Юлиньки въ то время, какъ онъ изъ лавочки принесъ ей два фунта черносливу, а я стоялъ въ корридорѣ и прощался съ Аксютой.

— Ну, вѣрно увезла! Что ты будешь теперь дѣлать! Пойдемъ, Егорка, поглядимъ...

Но оказалось, что комната Юлиньки также заперта, что ключъ у Фени. Я попросилъ позвать Феню. Пришла Феня, единственная изъ дочерей Логина, которая ходила наверхъ и прислуживала Юлинькѣ; я зналъ ее чуть не съ колыбели, и ея смѣшныя сказки долго не выходили изъ моей памяти. Это была живая, бѣлокурая, средняго роста дѣвушка. Она была гораздо красивѣе сестеръ своихъ; но Логинъ, какъ отецъ, былъ съ нею гораздо строже, чѣмъ съ другими сестрами, и, говорятъ, не разъ таскалъ ее за косы, требуя отъ нея признанія, откуда у ней иногда появляются деньги. Какъ она ихъ ни прятала, мать постоянно находила ихъ въ ея отсутствіе; разъ нашли пять рублей, разъ три цѣлковыхъ, а одинъ разъ и цѣлыхъ двадцать рублей. Феня не сознавалась, только клялась, что не украла ихъ и что она невинна. У этой Фени были романическія наклонности; какъ и отецъ, она любила почитывать и была мастерица снимать и рисовать узоры.

Я сталъ упрашивать Феню помочь мнѣ достать чемоданчикъ мой изъ комнаты Юлиньки; та стала увѣрять, что никакого чемодана нѣтъ, и въ этой увѣренности отперла мнѣ комнату; но чемоданъ съ открытой крышкой нашелся на диванчикѣ Юлиньки, рядомъ съ цѣлымъ ворохомъ оставленныхъ ею юпокъ. Я тотчасъ же взвалилъ его къ себѣ на плечи и понесъ въ свою комнату, къ немалому изумленію Фени.

— Не нынче-завтра за мной пришлютъ, надо убираться,—сказалъ я ей мимоходомъ, и она преспокойно удалилась.

Когда я вторично открылъ чемоданчикъ, на днѣ его оказалось какое-то измятое письмо; я опустилъ его въ боковой карманъ моей курточки, съ тѣмъ, чтобъ при свиданіи воротить его Юлинькѣ, и принялся укладываться. Прошло все утро — Аграфена не являлась. Билъ часъ, било два—не являлась. Такъ какъ неизвѣстность придавала интересъ моимъ ожиданіямъ, то я и ждалъ мою няню съ великимъ нетерпѣніемъ. Господи, Господи! думалъ я, куда она провалилась. Что если она меня надула? Пріѣдетъ, что-нибудь совретъ по вчерашнему, и я останусь съ носомъ. Господи, Господи! всѣ-то лгутъ, всѣ-то меня обманываютъ!

Но дворовыя сплетни, мстительная обидчивость и другія страстишки, свившія себѣ гнѣздо въ сердцѣ моей дебелой нянюшки, на этотъ разъ помогли мнѣ.

Воротившись домой, Аграфена поспѣшно переложила мой чемоданъ, дополнила его кой-какимъ бѣльемъ, вынесла его, вслѣдъ за мной, на улицу, посадила меня съ собой на извощика и повезла на Обуховскій проспектъ.

Съ проспекта въѣхали мы въ ворота и потомъ на дворъ довольно большаго и неопрятнаго зданія. На дворѣ справа была кузница, слѣва чайное заведеніе или трактиръ для извощиковъ; множество заложенныхъ и неза-

ложенныхъ дрожекъ, лошадей, кулей и пустыхъ винныхъ бочекъ пестрило дворъ; въ углубленіи двора, подъ навѣсомъ, стояла заложенная тройка; расписная дуга коренной, освѣщенная солнцемъ, ярко вырѣзывалась на темномъ фонѣ этого крытаго навѣса или углубленія; въ окнахъ заведенія виднѣлись руки съ блюдечками на растопыренныхъ пальцахъ. Все это я замѣтилъ, потому что, по обыкновенію, все чего-то трусилъ. По темной лѣстницѣ взобрались мы во второй этажъ, отворили дверь, прошли какую-то кухню и очутились въ комнатѣ Глаголевскаго. Еще никогда я не видѣлъ такой смѣшной, неуютной комнаты. Кровать съ ситцевыми подушками и возлѣ вѣшалка съ халатомъ, полотенцемъ и шинелью хозяина; старый, клеенчатый диванъ и передъ нимъ ломберный столъ, покрытый салфеткой съ синими разводами; комодъ съ кирпичемъ вмѣсто одной ножки, и на немъ книги, бумаги, старинный требникъ съ застежками и тарелка съ наколотымъ сахаромъ; прибавьте къ этому три стула, около стѣнъ съ отставшими отъ угловъ и заплѣсневѣвшими обоями. Изъ двухъ небольшихъ оконъ одно было отворено; оно выходило въ какой-то садъ, и, не смотря на это, воздухъ, врывавшійся въ окно, пахнулъ не розами и не липами, а лошадинымъ навозомъ. Единственною роскошью была большая картина съ изображеніемъ полуобнаженной женщины, съ закатившимися глазами, должно быть Клеопатры. Писана же она была такъ, какъ обыкновенно пишутся наши вывѣски. И что за груди были у этой Клеопатры! Какъ я только вошелъ, такъ онѣ и бросились мнѣ въ глаза, совершенно затмивши собой сконфуженное и все-таки сіяющее лицо Глаголевскаго, очевидно осчастливленнаго моимъ присутствіемъ. Онъ такъ потиралъ свои потныя руки, какъ будто мылъ ихъ, и онѣ у него хрустѣли; лобъ лоснился,

и въ горлѣ что-то похрипывало, когда онъ насъ усаживалъ и угощалъ.

Кофе, сахарные крендельки, масло, селедка—все это было недурно; но трактирная котлетка отзывалась дымомъ, и я никакъ не могъ доѣсть ее.

Позавтракавъ, мы не теряли времени и сошли на дворъ. Меня посадили въ рессорную кибитку, запряженную тройкой, уложили въ ней мой чемоданъ и дали мнѣ въ руку вязанку баранковъ. Когда же Глаголевскій, въ качествѣ моего провожатаго и тѣлохранителя, усѣлся со мной рядомъ, а ямщикъ взлѣзъ на козлы, Аграфена бросилась ко мнѣ, стала меня цѣловать и умоляла заступиться, въ случаѣ, если мама будетъ на нее сердиться. Мы тронулись.

— Кумъ, не жалѣй лошадей, да смотри, чтобъ все было хорошо! услыхалъ я вслѣдъ за нами голосъ моей няни, звонко раздавшійся подъ сводомъ проѣздныхъ воротъ.

— Ничего, доѣдемъ! откликнулся старый ямщикъ, и мостовая загремѣла подъ нашими колесами. Я думалъ, что я сплю, такъ все это казалось мнѣ странно. Молодецъ однако же Аграфена! захотѣла меня отправить и отправила!

Не помню, о чемъ именно бесѣдовалъ я дорогой съ моимъ спутникомъ; помню только, что, по выѣздѣ изъ Петербурга на большую царскосельскую дорогу, Глаголевскій снялъ сапоги и поѣхалъ въ однихъ потныхъ носкахъ до самаго Павловска.

Въ тотъ же день, около осьми часовъ вечера, встрѣченные дождемъ и отдаленнымъ гуломъ грома, въѣхали мы въ каменную заставу Павловска.

Ватрушка Логина, встрѣтившись съ завтракомъ Глаголевскаго, вѣроятно разстроила мой желудокъ, и въ Павловскъ я пріѣхалъ съ головной болью. Довольно долго искали мы дачу Б***, хотя въ то время дачъ было далеко не такое множество, какъ теперь. Наконецъ оста-

новились передъ деревяннымъ крылечкомъ, выходящимъ на улицу и осѣненнымъ съ двухъ сторонъ молодыми, мокрыми липами. Семенъ увидалъ насъ въ окно, отворилъ дверь, очень мнѣ обрадовался, на рукахъ перенесъ меня черезъ мокрыя ступеньки на порогъ и покосился на вылѣзавшаго вслѣдъ за мной Глаголевскаго. Прибѣжала Юлинька, удивилась, обняла меня, какъ брата своего меньшаго, и поцѣловала меня въ голову. Я сталъ разспрашивать: здорова ли мама? что съ ней? и проч. и проч.

Моя мать, женщина, какъ и я, такая же нервная, а стало-быть и чуткая, услыхала мой торопливый шепотъ, позвонила и велѣла меня позвать къ себѣ. Черезъ минуту я уже былъ въ ея объятіяхъ. Полубольная, выздоравливающая, но еще слабая, она лежала у себя въ постели. Передъ ней на столикѣ блестѣлъ колокольчикъ, лежала развернутая французская книжка, и аптекарская склянка ярлыкомъ своимъ заслоняла небольшой футляръ съ часами; окно было раскрыто; оно выходило въ садъ; пахло дождемъ, и запахъ расцвѣтающей сирени прокрадывался въ комнату.

Я думалъ, что я получу выговоръ, хотя ласковый, но все же выговоръ, и за то, что не пріѣхалъ съ докторомъ, и за то, что меня вчера дома не было, и за то, что пріѣхалъ самовольно, въ ямской кибиткѣ; вышло напротивъ: мнѣ было сказано, что я умникъ и что я поступилъ прекрасно. Мысленно возгордившись своимъ подвигомъ, я такъ и оставилъ мою мать въ этомъ заблужденіи, такъ и не разсказалъ ей, какую роль играла няня въ моемъ отправленіи. Я былъ такъ счастливъ, что вижу Юлиньку и могу цѣловать руки матери, что почти и забылъ про Глаголевскаго, оставленнаго мною въ гостиной.

Узнавши, что и онъ пріѣхалъ, мать моя велѣла и его безъ церемоніи позвать къ себѣ въ спальню. Глаголев-

скій, войдя, низко поклонился и поглядѣлъ на образъ; я думалъ, что онъ перекрестится; но онъ поклонился вторично, и, конечно, поклонился бы въ третій разъ, еслибъ мама моя не попросила его садиться и не стала благодарить за трудъ, который онъ взялъ на себя, вызвавшись проводить меня до самаго Павловска:

— Очень было пріятно,—отвѣчалъ Глаголевскій откашлянувшись и замолчалъ.

(Теперь приведу я чуть ли не въ первый разъ разговоръ моей матери, ясно отчеканившійся въ моихъ воспоминаніяхъ, къ немалому моему удовольствію).

— Хорошо ли онъ у васъ учится? спросила она про меня у Глаголевскаго.

Глаголевскій глубокомысленно сдвинулъ брови и отвѣчалъ:

— Хорошо, недурно, даже очень недурно, хотя и не безъ того, чтобъ сына вашего не посѣщала иногда лѣнь, по справедливости названная матерью всѣхъ пороковъ.

— Эта лѣнь часто и на меня находитъ,—замѣтила мама улыбнувшись:—только не думаю, чтобъ я отъ этого была порочнѣе; напротивъ, иногда и согрѣшила бы, да лѣнь грѣшить. Однако, это дурно, что сынокъ мой по мнѣ пошелъ, добавила она, переводя на меня черные, проницательно-ласковые глаза свои. Что̀ простительно женщинѣ, непростительно мужчинѣ. Слышишь, Сережа, г. Глаголевскій на тебя жалуется.

— Я не жалуюсь, ваше превосходительство, отозвался Глаголевскій, къ немалому моему утѣшенію: — я не жалуюсь: онъ учится знатно, и память у него здоровая, золотая память; вотъ только подъ диктовку пишетъ разсѣянно, въ «*ять*» и «*есть*» безпрестанно сбивается.

— Ну, этому не скоро выучишься: кажется, еще и правилъ такихъ нѣтъ. Гдѣ писать эти «*ять*», я и до сихъ

поръ въ толкъ не возьму—такъ и пишу, какъ случится. Разъ я слышала споръ Карамзина съ Измайловымъ на счетъ какого-то русскаго выраженія: одинъ утверждалъ, что можно такъ сказать, а другой клялся и божился, что невозможно. Кто изъ нихъ былъ правъ я не поняла, только, разумѣется, повѣрила Карамзину, потому что еслибъ не онъ, я бы и совсѣмъ по-русски разучилась — нечего было бы и читать.—Сережа, отчего ты такой скучный? Или у тебя опять голова болитъ? Юлинька, дай ему, милая моя, мятныхъ капель, да ужъ познакомь его и съ Фрейманомъ; я ли сама его представлю, или они сами познакомятся, это, я думаю, все равно. Ты, Сережа голубчикъ, кстати пріѣхалъ. Тебѣ теперь есть съ кѣмъ гулять. Безъ этого нѣмца, тебѣ было бы очень неудобно: я далеко пѣшкомъ ходить не люблю, Юлинька начинаетъ хозяйничать, ей некогда, да къ тому же и по-нѣмецки пора тебѣ выучиться, не правда ли? А вы у насъ ночуете, г. Глаголевскій?

— Нѣтъ, ваше превосходительство. Покормивши лошадей на постояломъ дворѣ, тотъ же ямщикъ сею же ночью и повезетъ меня.

— Ахъ да, сколько ему заплатить? Юлинька, вели ему выдать деньги, поднеси ему рюмку водки, или дай ему на чай, да, пожалуйста, поблагодари его отъ моего имени.

Юлинька вышла.

— А я къ вамъ съ просьбой, ваше превосходительство,—потупившись началъ Глаголевскій:—только не смѣю просить.

— Въ чемъ дѣло?

Что за просьба? подумалъ я, не безъ любопытства поглядывая на Глаголевскаго, — ужъ не хочетъ ли онъ просить руки моей нянюшки? Вотъ будетъ штука-то!

— Въ чемъ же дѣло? повторила мать, видя, что тотъ откашливается и не начинаетъ.

— Хочу просить вашего ходатайства. Въ нашей палатѣ открывается мѣсто столоначальника: я бы могъ получить его, кабы протекція; а вы, говорятъ, знакомы съ нашимъ предсѣдателемъ. Не напишете ли вы ему хоть строчку на счетъ меня, недостойнаго раба... Кто знаетъ! Судьбы Провидѣнія неисповѣдимы...

— Я была когда-то хороша съ женой его; но мы такъ давно не видались, что... признаться, я забыла даже, какъ и зовутъ-то вашу предсѣдательшу.

— Ее зовутъ Авдотьей Петровной, ваше превосходительство.

— А нельзя ли написать къ его племянницѣ, которая вышла замужъ за Калистратова—одного моего очень хорошаго знакомаго. — Говорятъ, она имѣла или имѣетъ большое вліяніе на своего дядюшку; но опять бѣда! опять не помню, какъ и ее зовутъ.

— А ее зовутъ Александрой Ивановной,—отвѣчалъ Глаголевскій, замѣтно обрадованный готовностью моей матери написать къ Калистратовой.

Мать моя улыбнулась и насмѣшливо-весело поглядѣла на Глаголевскаго.

— А не знаете—ли, спросила она:—нѣтъ ли у вашего предсѣдателя гдѣ-нибудь на сторонѣ такой особы, которая бы имѣла на него еще большее вліяніе?

Глаголевскій задумался.

— Врядъ ли есть такая особа, ваше превосходительство.

— Почему же вы думаете, что нѣтъ?

— А потому я такъ думаю, что онъ по большимъ праздникамъ къ заутрени ѣздитъ, и вообще богобоязненный, да и жена у него еще женщина не старая; потому я такъ и соображаю, ваше превосходительство.

— Это дѣлаетъ честь вашей сообразительности.

Польщенный Глаголевскій просіялъ такъ, что до самыхъ бровей покраснѣлъ отъ удовольствія. Съ этой ми-

нуты онъ сталъ развязнѣе, и глупая складка глубокомыслія исчезла на высокомъ лбу его.

— Ну, такъ я напишу къ Александрѣ Ивановнѣ,— только не сегодня, надняхъ. Письмо пошлю по почтѣ, прямо на имя ея благовѣрнаго, въ академію. Не безпокойтесь, я свое слово сдержу. Къ тому же, вы и не подозрѣваете, что я очень вамъ благодарна. Помните, прошлой зимой, въ февралѣ, у нашихъ людей появилась рукопись, занесенная къ намъ въ домъ какимъ-то старцемъ, вѣроятно раскольникомъ; называлась она «Богородицинъ сонъ», и было въ ней сказано, что кто читаетъ этотъ сонъ или кто его слушаетъ, тотъ очищается отъ всѣхъ грѣховъ Люди, даже эта дура Аграфена, отъ всей души поддались этому обольщенію; вы ихъ разувѣрили, напугали ихъ страшнымъ судомъ и вѣчными муками; но и вамъ они повѣрили не вдругъ—подослали ко мнѣ Аксюту спросить, какого я мнѣнія объ этой рукописной галиматьѣ. Я прочла и, разумѣется, подтвердила все, что вы сказали имъ. Но и этимъ дѣло не кончилось: мнѣ они также не совсѣмъ повѣрили, отправили повара къ какому-то церковному старостѣ. Этотъ церковный староста, спасибо ему, окончательно убѣдилъ ихъ, что этотъ сонъ больше ничего, какъ еретическое надувательство. Такъ и сожгли они эту премудрую рукопись, собравшись на квартирѣ у Логина. Жена этого Логина страшно боялась, чтобъ не разнесло печь, пришла ко мнѣ и вся дрожитъ. Сами согласитесь, что, съ такимъ легкимъ отпущеніемъ всѣхъ грѣховъ въ карманѣ, можно рѣшиться на какое угодно преступленіе, измошенничаться и провороваться самымъ отчаяннымъ образомъ. Не будь вы, чего добраго, этотъ «сонъ» надѣлалъ бы бѣдъ. Какъ же мнѣ васъ не благодарить за это? Говорятъ, будто вы наизусть можете прочитать всѣ часы и всю обѣдню. Удивляюсь, отчего это вы не пошли по духовному званію.

Глаголевскій вздохнулъ. — Такая знать звѣзда моя, ваше превосходительство! По разнымъ наговорамъ не попалъ я въ академію, потомъ примѣшались разныя неблаговидныя обстоятельства; пришелъ я къ попу, отцу Герасиму (по моей теткѣ, онъ приходится мнѣ родственникомъ), пришелъ къ нему и говорю: такъ и такъ, что мнѣ дѣлать? А онъ мнѣ и говоритъ:—попомъ тебѣ быть нельзя, въ дьяконы—голосъ, говоритъ, у тебя хоть и хорошъ, да ты горловымъ болѣзнямъ подверженъ, вѣчно съ опухшимъ горломъ ходишь; никуда ты не годишься въ дьяконы; въ дьячки, говоритъ, и не думай: пойдешь въ дьячки, на порогъ тебя не пущу—придешь, постоишь въ передней, да такъ и уйдешь, хоть ты мнѣ и родственникъ, седьмая вода на киселѣ; ступай въ монахи или выходи лучше изъ духовнаго званія; есть у меня случай, запишу тебя въ канцелярскіе; можетъ быть, говоритъ, ты и пойдешь по слѣдамъ Сперанскаго, и пойдешь, говоритъ, и пойдешь...

— Ну, это не совсѣмъ безопасно—ходить по слѣдамъ Сперанскаго; эдакъ или въ ссылку, или въ Сибирь попадешь,—замѣтила мать, разглядывая физіономію Глаголевскаго и какъ бы вслушиваясь въ каждый звукъ его голоса.

— Избави Господи! Я этого не хочу; мнѣ бы только хоть столоначальникомъ — я больше ничего не хочу, по ограниченности моихъ желаній. И хочу я этого званія не ради честолюбія, а ради безкорыстія. Получая по окладу, буду малымъ доволенъ — буду всячески оберегать себя отъ сѣтей лукаваго.

— Отъ какого лукаваго?

— Да отъ каждаго просителя, подходящаго къ нашему столу: рѣдкій изъ нихъ не суетъ или двугривеннаго или пятіалтыннаго; нищій какой-нибудь — и тотъ суетъ. Да такъ суютъ, ваше превосходительство, что не

успѣешь головы отвернуть, какъ ужъ подъ бумагой и лежитъ динарій или сребрянникъ.

— Ну, и что же, вы берете?

— Взять, думаешь, грѣхъ; да и не за что; —все зависитъ отъ столоначальника; а не взять — еще хуже,— скажутъ, заважничалъ,—чего добраго, еще и изъ службы выгонятъ. Поневолѣ иногда берешь, чтобъ не испортить репутаціи.

— И у васъ всѣ берутъ?

— Всѣ до единаго, ваше превосходительство, просто за великое безчестіе почитаютъ не брать — такой порядокъ, ваше превосходительство.

— А предсѣдатель?

Вопросъ этотъ, неожиданный, какъ ударъ по лбу, замѣтно испугалъ Глаголевскаго.

— Предсѣдатель! сказалъ онъ, видимо колеблясь: — предсѣдатель богатъ, ваше превосходительство, два дома нажилъ. Къ тому же, онъ старикъ богобоязненный. А клевета кого щадитъ? Кто беретъ взятку, тому кажется, что ее всѣ берутъ. Будь я столоначальникомъ, ваше превосходительство, сталъ бы бороться—на то и человѣкъ, чтобъ бороться.

Мать моя такъ на него посмотрѣла, какъ будто хотѣла сказать: ну, ты врядъ ли бороться станешь!

— Дайте мнѣ честное слово,—сказала она,—что вы никогда, ни отъ кого взятокъ брать не будете.

Это было такъ сказано, что Глаголевскій опять испугался. Онъ, я думаю, въ жизнь свою еще не слыхалъ такого страннаго желанія, устремилъ на нее мутно-голубые глаза и вѣрно думалъ: тебѣ-то что, буду ли я брать или не буду! Вотъ удивительная женщина!

— Присягу дамъ, ваше превосходительство,—пробормоталъ онъ, покраснѣвши и потупившись.

— Хорошо! энергически сказала больная:—хорошо! я

когда-нибудь приведу васъ къ присягѣ... Погодите, будетъ время — взяточниковъ не будетъ, и придетъ это время, какъ *тать въ нощи*, прежде, чѣмъ вы ожидаете, раньше, чѣмъ вы воображаете!

Глаголевскій слушалъ ее и ничего не понималъ.—Ужъ не страшнымъ ли судомъ она меня пугаетъ!...—подумалъ онъ. А что онъ это подумалъ, я это заключаю изъ слѣдующихъ словъ: — Да, ваше превосходительство, не даромъ сказано: О днѣ же томъ и часѣ никто же вѣсть.

— Впрочемъ, пора вамъ отдохнуть, да и я устала съ вами бесѣдовать,—сказала моя мать уже совершенно другимъ, какъ бы вдругъ упавшимъ голосомъ.—Прощайте, Василій Васильевичъ. Дай вамъ Богъ успѣха!... Сережа, затвори окно, или—нѣтъ, сейчасъ придетъ дѣвушка, она затворитъ. Ступай!

Мать моя позвонила, и мы вышли, уступая мѣсто ея горничной.

ГЛАВА XV.

По выходѣ изъ спальни матери, я обѣжалъ всю дачу, и странно было мнѣ видѣть знакомую мебель въ незнакомыхъ комнатахъ. Тотъ ломберный столъ, на которомъ когда-то при мнѣ играли въ банкъ, стоялъ на террасѣ, выходившей въ садикъ; на столѣ кипѣлъ самоваръ, Юлинька заваривала чай. Изъ-за высокой жестяной сахарницы, поставленной на стулъ, выглядывала морда какой-то собаки. Я сейчасъ же узналъ, что ее зовутъ Павлиномъ и что она добрая: взялъ изъ корзинки сахарный кренделекъ, попотчивалъ этого четвероногаго Павлина и сразу заслужилъ его истинно дружеское ко мнѣ расположеніе.

Но когда я растворилъ настежь дверь въ отведенную мнѣ комнату, то остановился, пораженный тою нечаянностью, которую предчувствовалъ. У окна сидѣлъ мой новый гувернеръ, и вся его фигура, съ горбатымъ носомъ (à la Schiller), съ коротенькимъ чубукомъ въ зубахъ и съ длинной, фарфоровой трубкой, бросившись мнѣ въ глаза, почему-то показалась мнѣ одного сплошнаго цвѣта, а именно какого-то темно-сѣраго.

Увидавъ меня, онъ пошевелился, положилъ на окошко какую-то книгу, вынулъ изъ зубовъ круто загнутый роговой мундштучекъ, произнесъ:—А!—и сквозь волну табачнаго дыма протянулъ мнѣ руку; но я, не оглядѣвши комнаты, даже не замѣтивши въ ней двухъ приготовленныхъ постелей, побѣжалъ назадъ къ Юлинькѣ и, взволнованный, спросилъ ее:—Юлинька! гдѣ же я буду спать? У меня голова болитъ—я хочу скоро спать лечь.

— Ты будешь спать въ своей комнатѣ.

— А гдѣ же будетъ этотъ нѣмецъ спать?

— Онъ тоже будетъ спать въ твоей комнатѣ.

— Какъ!.. Ни за что на свѣтѣ!..

— Да больше и негдѣ. Мама такъ распорядилась.

— Пойду сейчасъ къ мамѣ и скажу ей, что при нѣмцѣ я не могу ни раздѣваться, ни спать, ни... ничего... не могу... Вотъ еще что выдумали! Стану я при нѣмцѣ!...

— Мама легла спать, и ты не ходи къ ней, не тревожь ее...

— Я лучше на чердакъ пойду ночевать.

— Вотъ это будетъ забавно! Только на чердакѣ теперь сыро, да и крысы бѣгаютъ; чего добраго, еще тебѣ носъ откусятъ... Ахъ, какой ты капризный! И чего бояться, самъ посуди, что онъ можетъ тебѣ сдѣлать? Твой Фрейманъ вотъ уже третій день какъ у насъ, и предобрый-добрый; даже мнѣ вчера утромъ принесъ откуда-то цѣлый букетъ ландышей.

— Не могу, не могу...

— Ну, какъ хочешь.

Юлинька преспокойно стала разливать чай; а я надулся, мысленно бранилъ себя, зачѣмъ пріѣхалъ; даже объ Егоркѣ вспомнилъ: завтра бы опять на Неву ушелъ, на Крестовскій бы... мелькнуло у меня въ головѣ.

Однимъ словомъ, я раскапризничался такъ, какъ обыкновенно капризничаютъ судьбой и людьми избалованные мальчики. Голова у меня болѣла сильнѣе и сильнѣе, чай не помогъ, мятныя капли также не помогли. Съ горя ушелъ я на крыльцо, выходящее на улицу; но и тамъ засталъ непріятную сцену: Глаголевскій безъ картуза сидѣлъ на верхней ступенькѣ, подостлавъ подъ себя свой собственный клѣтчатый носовой платокъ. Передъ нимъ, нагнувшись и опустивши подносъ, стоялъ Семенъ, и пока тотъ бралъ стаканъ съ чаемъ, вполголоса грубилъ ему.

— Не въ свой огородъ залѣзаете,—услыхалъ я:—какъ бы въ шею кто не наколотилъ....

— Такихъ, братъ, какъ ты-то, я и десятерыхъ въ бараній рогъ согну. А тебѣ до меня дѣла нѣтъ. Самъ про себя промышляй, коли ты не мокрая курица. Вотъ что!

— То-то не мокрая курица! отвѣчалъ Семенъ, упирая глаза свои въ кустикъ волосъ на высокомъ челѣ Глаголевскаго.

Очень можетъ быть, что мое неожиданное появленіе помѣшало Семену найти въ умѣ своемъ болѣе энергическій отвѣтъ Глаголевскому, и его языкъ безсознательно повторилъ послѣднія слова его. Глаголевскій же щурилъ глаза, на лбу его выступали красныя пятна, а въ рукѣ ложечка медленно размѣшивала въ стаканѣ сахаръ. Семенъ ушелъ и въ дверяхъ своимъ подносомъ чуть-было не задѣлъ по головѣ моей. Глаголевскій, отхлебнувши стаканъ, поставилъ его возлѣ себя на ступеньку и сказалъ мнѣ, что, напившись чаю, онъ пойдетъ.

— Куда?...

— Промяться. Да надо вотъ спросить, гдѣ постоялый дворъ, узнать, долго ли тройка-то наша тутъ отдыхать будетъ. Ямщикъ-то запьетъ, пожалуй, чего добраго. Тоже, чай, любить выпить.

Вѣроятно, Глаголевскій сообразилъ, что оставаться ему не слѣдуетъ, потому что Семенъ, чего добраго, по глупости, опять какъ-нибудь нагрубитъ ему. Вѣдь отъ словъ и до потасовки недалеко, а затѣять шумъ да драку на крыльцѣ или гдѣ нибудь поблизости — скандалъ! Чего добраго, потеряешь послѣднюю рекомендацію.

Практическій человѣкъ былъ этотъ Глаголевскій, не смотря на все свое умственное и нравственное неуклюжество.

А Семенъ, я думаю, и не сталъ бы съ нимъ драться. Глаголевскій былъ дѣтина ражій, а Семенъ былъ малый на видъ зѣло щедушный; но такъ-какъ въ наружности его было нѣчто гордое, такъ-какъ даже за столомъ, съ тарелкой, онъ стоялъ иногда, отставивъ ногу и надменно приподнявъ голову, то... кто знаетъ, чѣмъ бы это кончилось. Чего не бываетъ тамъ, гдѣ замѣшается ревность или оскорбленное самолюбіе! Думалъ ли Семенъ, нерѣдко завивавшій свои волосы и носившій сапоги со скрипомъ, что этотъ вѣщатель загробныхъ тайнъ, этотъ разскащикъ разныхъ душеспасительныхъ исторій отобьетъ у него сердце Аграфены!

— Ну, прощайте, мальчикъ! сказалъ Глаголевскій, допивши свой чай:—что прикажешь сказать нянѣ, коли увижу?...

— Что сказать нянѣ! Прощайте! Скажите ей, что у меня сильно голова болитъ, такъ болитъ, что индо глаза слипаются.

— Ты, смотри, опять не захворай!

— Захвораю, нарочно захвораю!

*

— Что такъ?

— Да такъ! Скажите нянѣ, что у меня нѣмецъ будетъ спать въ одной со мной комнатѣ. Можетъ быть, злой-презлой, почемъ я знаю?... Ну, прощайте! Да вотъ отвезите ей отъ меня на память этотъ сахарный кренделекъ... Погодите, я его во что нибудь заверну.

— Ничего, давайте. Я его къ себѣ положу въ карманъ. Да вотъ кстати и бумажка нашлась... А нѣмецъ — это ничего. Я однажды съ однимъ пьяницей на одной постели спалъ, такъ вотъ это омерзительно: такой былъ свинья, что хуже ничего и не выдумаешь; хорошо еще, что у самого въ головѣ трезвонило. А что нѣмецъ! — нѣмецъ иной разъ лучше нашего брата умѣетъ вести себя. Ну, прощайте!

Я отпустилъ его отъ себя не безъ сожалѣнія. (Вотъ что значитъ привычка, какую силу она имѣетъ въ дѣтствѣ! Я такъ же, какъ и къ нянѣ, привыкъ къ этому Глаголевскому, даже любилъ его).

Сильная головная боль и нѣкоторая доза мнительности при этомъ заставили меня на все согласиться. Воспользовавшись отсутствіемъ Фреймана (Юлинька, вѣроятно, съ умысломъ вызвала его на террасу), я легъ спать, уткнулъ голову въ подушку и заснулъ мертвымъ сномъ.

Помню, какъ, на другой день утромъ, проснулся я, почувствовавъ на головѣ своей чью-то сухую и теплую руку. Я быстро поднялъ голову и съ испугомъ поглядѣлъ вокругъ себя. Передо мной стоялъ мой нѣмецъ.

— Nun mein liebes Kind! wie jetzt. Es ist Zeit aufzustehen.—услыхалъ я впервые непонятные мнѣ звуки нѣмецкаго говора; но слова эти, часто потомъ повторяемыя, остались у меня въ памяти.

Я встрепенулся, быстро натянулъ на себя одѣяло и покраснѣлъ такъ, какъ покраснѣла бы молоденькая пятнадцатилѣтняя дѣвушка, еслибъ вдругъ разбудилъ ее такъ

рано незнакомый мужчина. Это значитъ, что я переживалъ еще, такъ сказать, дѣвическій періодъ моего дѣтства, точно также, какъ нѣкоторыя дѣвушки переживаютъ въ дѣтствѣ періодъ мальчишества, или то счастливое время, когда имъ нипочемъ бороться съ мальчиками, лазить съ ними по деревьямъ или въ снѣжки играть; словомъ, то время ихъ райской невинности, когда всѣ то и дѣло стыдятъ ихъ, или ворчатъ на нихъ, какъ бы торопя ихъ къ стыдливому сознанію своего пола или поселяя въ душѣ ихъ пугливое предчувствіе какого-то будущаго паденія.

Окружающіе меня не торопили меня къ гордому сознанію, что я мужчина и что, стало быть, не подобаетъ мнѣ чего-нибудь стыдиться. По своимъ понятіямъ, я былъ выше лѣтъ своихъ, по инстинкту же оставался едва ли не такимъ же ребенкомъ, какимъ и слѣдовало мнѣ быть. Такъ иногда бѣдная дѣвочка, брошенная судьбой въ среду грязнаго разврата, много видитъ, много слышитъ, но въ глубинѣ души, до поры до времени, можетъ оставаться чистой и инстинктивно цѣломудренной. Я встрѣчалъ такихъ дѣвочекъ, и вовсе не удивляюсь тому, что мнѣ, уже не разъ размышлявшему о томъ, что такое любовникъ, почему-то было стыдно въ это утро одѣваться при незнакомомъ нѣмцѣ.

Неумытый и непричесанный, долго стоялъ я среди комнаты, какъ потерянный, и еслибъ не пришелъ Семенъ съ рукомойникомъ, я такъ бы и не зналъ, что мнѣ дѣлать...

Съ свѣжей головой, въ тѣни свѣжаго утра и опять передъ самоваромъ, встрѣтился я съ Юлинькой и встрѣтилъ Павлина, моего новаго пріятеля.

— Ну, что ты подѣлывалъ въ городѣ? разсказывай!— заговорила Юлинька.

— Ахъ! что я дѣлалъ... мало ли что я дѣлалъ. Нельзя же всего разсказывать!

— Отчего?

— Да такъ... Со мной были такія удивительныя, необыкновенныя приключенія, что... лучше и не спрашивайте. Скажите-ка лучше, какъ вы-то здѣсь безъ меня поживали?

— Ничего, такъ себѣ, — утромъ занимались, потомъ гуляли въ паркѣ, потомъ обѣдали; бывали и гости у насъ, разныя новости разсказывали; вечеромъ ѣздили кататься. Около насъ на дачѣ живетъ одна... впрочемъ, ты ея не знаешь.

— Кто такая?

— Живетъ княгиня Малыгина. Былъ у насъ раза два Набатовъ.

— Ну, и очень съ вами любезничалъ?

— Очень любезничалъ. Однако, пей твой чай. Семенъ, готовъ ли кофе для Ивана Богданыча?

— Я ужъ ему снесъ.

— Хорошо.

— И такъ, съ вами не случилось ничего необыкновеннаго?

— Развѣ есть что-нибудь необыкновенное?

На этомъ разговоръ нашъ и кончился. А мнѣ хотѣлось, чтобъ она пристала ко мнѣ съ разспросами, какія такія были со мной приключенія; я бы разсказалъ ей, какъ меня поцѣловала какая-то незнакомка на *пустынномъ* Крестовскомъ островѣ; мнѣ было бы пріятно, еслибъ Юлинька не вдругъ мнѣ повѣрила; мнѣ было бы лестно показаться въ глазахъ ея романическимъ героемъ. Но равнодушная Юлинька, къ великой моей досадѣ, и не подумала меня разспрашивать. Казалось, она была нелюбопытна, какъ птичка: при птичкѣ что хочешь говори и дѣлай, только не цѣлься въ нее или не лови ее, и она не обратитъ никакого вниманія. Казалось, она выслуши-

вала все, что ей говорили, а уходя и не думала о томъ, что слышала, — но это только казалось.

ГЛАВА XVI.

Мнѣ было бы очень легко общими чертами изобразить и мое поведеніе, и мои успѣхи, и мое времяпрепровожденіе въ Павловскѣ и, такимъ образомъ, сократить трудъ свой на нѣсколько главъ; но не такова моя задача я хочу припомнить все; что на меня вліяло (какъ бы ни было ничтожно это вліяніе), и какъ я велъ себя *не вообще*, а при каждомъ случаѣ, данномъ самою жизнью и уцѣлѣвшемъ въ моей памяти.

Тогдашній Павловскъ, по своей природѣ, былъ тотъ же Павловскъ, но нѣсколько иной по характеру, ибо каждая мѣстность, часто посѣщаемая людьми, приноравливается къ движеніямъ времени; тамъ, гдѣ она не измѣнилась, не запустѣла, не обстроилась и даже не огородилась, тамъ время и не двигалось, какъ не двигается воздухъ въ какомъ-нибудь душномъ погребѣ или вода въ болотѣ. Путешествіе изъ города въ Павловскъ въ то блаженное время сопряжено было для бѣдныхъ людей съ расходами, иногда немаловажными. Обыкновенно лѣтомъ поднимались въ дорогу рано утромъ, брали съ собой чай, бѣлый хлѣбъ, сыръ, разныя закуски и отправлялись туда гулять на цѣлый день, цѣлыми семействами. Обратный путь совершали ночью, насладившись всѣми прелестями парка, теплотою погоды, счастіемъ незабвенныхъ встрѣчъ съ лицами Царской фамиліи, или наоборотъ — измокши, продрогнувши и почти никого не встрѣтивши. Ночевать можно было въ одной только, далеко не помѣстительной и не конфортабельной гостинницѣ. Обыкновенно пріѣзжавшіе въ Павловскъ разсчитывали на ночлегъ у кого-

нибудь изъ своихъ знакомыхъ или родныхъ, нанимающихъ дачи; дачъ же этихъ, какъ уже замѣчено, было далеко не такъ много, какъ теперь.

Не смотря на это, оттого ли, что въ Петербургѣ было больше господъ, у которыхъ не переводились ни экипажи, ни лошади; оттого ли, что Царское Село было любимымъ и въ то время почти постояннымъ мѣстопребываніемъ Государя, а стало-быть и всѣхъ его окружающихъ; оттого ли, что самъ Павловскъ вмѣщалъ въ себѣ три двора: дворъ вдовствующей Императрицы и двухъ Великихъ Князей: Николая и Михаила Павловичей; оттого ли, что Павловскъ особенно всѣхъ чѣмъ-то привлекалъ и всѣмъ нравился,—только и тогда не былъ онъ пустъ въ лѣтніе мѣсяцы, и тогда вы могли встрѣтить по дорожкамъ парка множество гуляющихъ, особливо въ воскресный или табельный день. Но теперешній, почти демократическій Павловскъ, съ его желѣзной дорогой, воксаломъ, кафе-ресторанами и скамьями, окружающими ту эстраду, съ которой гремитъ оркестръ и гдѣ заѣзжіе артисты оканчиваютъ послѣдній взмахъ своего смычка подъ громъ рукоплесканій публики, шесть разъ примчавшейся туда изъ города, въ двадцати шести длинныхъ, биткомъ набитыхъ вагонахъ,—этотъ, говорю я, теперешній Павловскъ былъ въ то время въ полнѣйшемъ смыслѣ слова аристократическимъ. Чиновники или купчики того времени, прикатившіе туда погулять, чувствовали себя какъ бы въ чертогахъ у волшебнаго принца, на все смотрѣли съ чувствомъ какого-то умильнаго благоговѣнія, и въ этомъ чувствѣ, разумѣется, находили немалую дозу отрады и утѣшенія. Нѣкоторые обыватели скромныхъ уголковъ Петербурга о своей поѣздкѣ въ Павловскъ разсказывали съ такимъ же оттѣнкомъ польщеннаго самолюбія, какъ если бы были приглашены и только-что воротились съ обѣда отъ графа А. или съ вечера отъ княгини Б.

Если я тогдашній Павловскъ называю по преимуществу аристократическимъ, то можете сами вообразить, сколько тамъ было затѣй, цвѣтовъ, павильоновъ и музыки! Какіе волшебные вечера для Августѣйшихъ хозяевъ, и для званыхъ, и для незваныхъ гостей протекали тамъ, среди блеска иллюминованныхъ дорожекъ и мостиковъ, среди украшенныхъ гирляндами кіосковъ, или на площадкѣ около Розоваго павильона, по окнамъ котораго мелькали тѣни танцующихъ, а изъ-за гардинъ сверкали огни и позолота! Бальная музыка далеко тамъ слышалась, какъ бы замирая въ тѣни деревьевъ или расплываясь въ лунномъ сіяніи. Можете сами представить себѣ, сколько тамъ по утрамъ было изысканной простоты, а по вечерамъ упрощенной роскоши. Какихъ хорошенькихъ фрейлинъ можно было тамъ видѣть и какихъ почтенныхъ и добродѣтельныхъ встрѣчать старушекъ! Сколько нынѣ забытыхъ именъ (которыя, впрочемъ, и теперь бы ожили, еслибъ кто-нибудь принялся за нелицемѣрную исторію нашего русскаго общества) въ то время звучало тамъ то грозной, то благотворно-вліятельной, то знаменитой, то просто знаменательной современностью! Произнесите теперь: Аракчеевъ!— и ничего, какъ будто его никогда и не было; а тогда— о! тогда звукъ этого имени повергалъ въ трепетъ, поселялъ уныніе, возбуждалъ ненависть или страшное желаніе поподличать... Sic transit gloria mundi!

Вмѣстѣ съ забытыми именами, тамъ гуляло и мое забытое отрочество!...

Иванъ Богдановичъ Фрейманъ постоянно въ семь часовъ утра будилъ меня, послѣ чаю давалъ мнѣ урокъ нѣмецкаго языка, для начала изъясняясь со мной на плохомъ французско-швабскомъ нарѣчіи. Потомъ мы шлялись съ нимъ почти до обѣда, потомъ и послѣ обѣда вечеромъ тоже шлялись. Съ небольшимъ въ два мѣсяца я сталъ

уже понимать и болтать по-нѣмецки. Не метода преподаванія (у него и не было никакой особенной методы), а просто моя память помогала мнѣ. Фрейманъ, человѣкъ лѣтъ около пятидесяти, похудѣвшій толстякъ, съ осунувшимся лицомъ и длиннымъ, меланхолически-понуреннымъ носомъ, былъ идеалистъ, какихъ въ то время немало было между необрусѣвшими нѣмцами. У него была привычка, въ часы отдохновенія, сидѣть съ открытымъ ртомъ или поднимать къ небу унылые глаза, какъ бы ища въ облакахъ отвѣта на мучившіе его вопросы. Иногда, среди долгихъ размышленій, неожиданно произносилъ онъ нѣсколько стиховъ изъ Уланда или Шиллера. Иногда, во время нашихъ прогулокъ, посреди объявшаго насъ зеленаго сумрака и полуденной тишины, я замѣчалъ, какъ навертывались на глаза его слезы. Видно было, что старикъ тосковалъ, оплакивалъ какую-то жизнь, какія-то тяжелыя для него утраты, что, впрочемъ, не мѣшало ему срывать васильки, дѣлать изъ нихъ небольшіе букетики и относить ихъ моей матери или вручать выбѣжавшей къ намъ навстрѣчу Юлинькѣ.

— Ахъ, дитя мое! дитя мое! сказалъ онъ мнѣ однажды, подавляя вздохъ:—я молчу, потому что мнѣ не повѣрятъ, а я былъ богатъ, у меня былъ замокъ, была жена, былъ сынъ. Сынъ убитъ въ битвѣ съ французами, замокъ наполовину разрушенъ тѣми же французами. Жена, которую я страстно любилъ, моя милая, незабвенная Шарлотта, съ ума сошла и умерла. Проклятый Наполеонъ—этотъ бичъ народовъ и бичъ свободы—сокрушилъ мое благоденствіе. Я не зналъ, куда бѣжать, и бѣжалъ въ холодную Россію; не зналъ, что дѣлать, и пошелъ въ гувернеры. Ахъ, дитя мое! еслибы вы знали, какъ нелегко мнѣ доживать вѣкъ свой въ чужой землѣ, вдали отъ родныхъ развалинъ и родныхъ могилъ...

Затѣмъ опять слѣдовали проклятія Наполеону, врагу

свободы, какъ будто въ Германіи до него была какая-нибудь свобода, кромѣ поэтической. Врагъ національностей—да, но не врагъ того, чего почти во всей континентальной Европѣ не было, а между тѣмъ не одному моему Фрейману казалось, что Наполеонъ — и врагъ, и нарушитель свободы. Это кажущееся нарушеніе свободы не прошло безъ послѣдствій: жажда воскресить будто бы погибшую, а въ сущности и несуществовавшую свободу овладѣла духомъ націй, боровшихся съ военнымъ деспотизмомъ стопобѣднаго императора...

Итакъ, мой бѣдный нѣмецъ оплакивалъ не только свою семью, но и какую-то свободу! Глядя на него, мнѣ какъ-то не вѣрилось, что у него былъ замокъ, что онъ былъ любимъ какою-то Шарлоттой и имѣлъ воинственнаго сына. Такъ, съ однимъ чемоданчикомъ, бѣдно одѣтый господчикъ, прибывшій въ уѣздный городокъ, въ качествѣ учителя, никого не увѣритъ, что въ столицѣ онъ былъ знакомъ съ министромъ, что княжна Милліонари была влюблена въ него, что баронесса Круппъ предлагала ему взаймы двадцать тысячъ и что онъ вообще пользовался необыкновеннымъ счастіемъ,—хотя бы онъ и говорилъ совершенную истину. Но мечтамъ о какихъ-то золотыхъ дняхъ, о какой-то загадочной свободѣ, о зарѣ, встающей надъ темнымъ человѣчествомъ,—этимъ мечтамъ, глядя на лицо Фреймана, я невольно вѣрилъ. Охотно училъ наизусть стихи изъ Гёте и Шиллера (даже не всегда понимая ихъ) и смотрѣлъ въ раскрытыя страницы «Flegeljahre» Жана Поль-Рихтера, какъ въ темную пропасть, на днѣ которой таятся свѣтлые родники и неисчерпаемыя сокровища, и гдѣ только я, ничтожный смертный, ничего разглядѣть не въ состояніи. Шиллеръ, Жанъ Поль и мой сантиментальный, философствующій и въ какой-то міровой любви ищущій себѣ удовлетворенія нѣмецъ, наконецъ, уединенныя мѣста Павловскихъ садовъ

и окрестностей—все это какъ нельзя лучше совпадало съ моими отроческими настроеніями, съ моей фантастической головой и влюбчивымъ сердцемъ, хотя увы! я уже не былъ попрежнему влюбленъ въ нашу Юлиньку. Радужныя мечты, также какъ и небесныя радуги, блестятъ не долго: капли дождя не могутъ слишкомъ долго сверкать въ видѣ зеркальнаго вѣера передъ пылающимъ солнцемъ. Отъ ниспавшихъ капель, въ эти теплые дни, передъ моимъ отрочествомъ поднимался розовый туманъ, и вся дѣйствительность, казалось мнѣ, плавала въ причудливо зыблющихся волнахъ его.

Любовь къ Юлинькѣ перешла для меня въ чувство въ высшей степени неопредѣленное, въ какое-то постоянное непостоянство. Я встрѣчалъ хорошенькихъ гувернантокъ, гуляющихъ съ дѣтьми, и красивыхъ дѣвочекъ, гуляющихъ съ пожилыми и строгими на видъ англичанками, и, вѣроятно, эти встрѣчи, эти новыя полудѣтскія личики своимъ сіяніемъ затмили образъ Юлиньки. Я никогда не успѣвалъ порядочно разглядѣть моихъ красавицъ, но мечталъ объ нихъ, и на другое утро, пробѣгая дорожками парка, думалъ найдти ихъ на томъ же мѣстѣ, подъ тѣми же деревьями, въ той же тѣни, гдѣ вчера я видѣлъ ихъ, и, разумѣется, не только на томъ же мѣстѣ не встрѣчалъ ихъ, но, по большой части, никогда уже и нигдѣ потомъ не имѣлъ счастія видѣть ихъ.

Все это было и очень смѣшно, и глупо,—но что было—то было. Я желалъ бы знать, доступны ли такія раннія фантазіи дѣтямъ людей рабочихъ, окруженныхъ нуждой или грубымъ невѣжествомъ? Смѣю думать, что природа не справляется съ состояніями и съ обстановкой: родись я нищимъ, я бы также мечталъ въ 10 лѣтъ—только мечты мои были бы инаго склада, получили бы иное направленіе. Подрумяненный калачъ на лоткѣ или сахаромъ подбѣленный пирогъ на окнѣ кондитерской, конечно, от-

влекли бы меня отъ желанія заглядывать подъ шляпки хорошенькихъ дѣвочекъ. Полуголодный ребенокъ, я бы мечталъ о чемъ-нибудь болѣе существенномъ. Мечта поцѣловать красавицу и мечта стянуть съ лотка пряникъ или яблоко одинаково могутъ быть заманчивы и одинаково мучительны. Какъ я никогда бы не рѣшился подойдти и поцѣловать незнакомку, такъ и нищій мальчикъ вѣроятно бы не рѣшился подойти и украсть что-нибудь съѣдомое; но ни та, ни другая мечта не прошла бы безъ вліянія на жизнь, то-есть на будущій образъ мыслей и поступки взрослаго.

Мать моя выздоравливала, но все еще работала или читала, сидя въ постели. Въ дождливые дни, (а ихъ-таки было немало) она призывала меня къ себѣ и заставляла меня читать ей что-нибудь по-русски. На ея столикѣ находилъ я всѣ тогдашніе газеты и нумера журналовъ. Никогда не забуду, какъ въ первый разъ я читалъ стихотворенія Рылѣева: я читалъ ихъ съ чувствомъ, но они, признаюсь, мнѣ вовсе не казались гражданскими; я былъ слишкомъ незрѣлъ, для того, чтобы читать между строчками. Стихотворенія Пушкина, попадавшіяся въ «Полярной Звѣздѣ», мнѣ больше нравились, и я ихъ списывалъ.

Однажды я спросилъ мать мою, отчего Равининъ не любитъ Пушкина, и здѣсь произошелъ цѣлый разговоръ, выяснившій для меня нѣкоторыя черты его характера.

— Оттого, душа моя, Равининъ не любитъ Пушкина, что самолюбивъ, какъ чортъ. Пушкинъ какъ-то, подъ веселый часъ, въ обществѣ сострилъ надъ нимъ. Вотъ онъ и не можетъ этого забыть. Впрочемъ, они пріятели, и я помню, бывало, Равининъ безпрестанно попадался мнѣ на Невскомъ ни съ кѣмъ другимъ, какъ съ Пушкинымъ. Пушкинъ разъ сказалъ Ч—ву: Эхъ, братъ, ужасно какъ мнѣ трудно моими стихами угодить этому Равинину: вѣчно къ пустякамъ прицѣпится; но за это-то я и люблю его:

смерть хочется написать что-нибудь такое, чтобъ даже и Равинину могло понравиться.—Но я и тогда подумала, что врядъ ли когда нибудь Пушкинъ угодитъ ему. Равининъ никого и ничего хвалить не любитъ. Для него тотъ и хуже, кто его умнѣе; тотъ и глупъ, кто его даровитѣе. Рано стали покланяться ему въ обществѣ, какъ какому-то фениксу,—вотъ онъ и вообразилъ себѣ, что онъ фениксъ.

— А вы не помните, какъ это Пушкинъ сострилъ надъ нимъ?

— Разсказывали мнѣ, только я не помню; знаю только, что, по милости Пушкина, въ нѣкоторыхъ кружкахъ стали Равинина называть *Равиномъ,* а иногда *Равви,* то-есть учитель, по-еврейски....

— Ну, хорошъ учитель! не дай Богъ такого учителя.

— А не будь онъ богатъ, могъ бы учить,—говорятъ, отлично знаетъ математику. Бывши офицеромъ, 17-ти лѣтъ, онъ прочелъ нѣсколько лекцій въ артиллерійской школѣ — разумѣется, изъ тщеславія. Батенковъ, который не хуже его знаетъ математику, говорилъ мнѣ, что Равининъ могъ бы далеко пойти при его знаніяхъ и честолюбіи.

— А онъ былъ военный?

— И знаешь, отчего вышелъ въ отставку? На какомъ-то смотру какой-то генералъ, его начальникъ, назвалъ его лошадь *клячей*—очень можетъ быть, шутя назвалъ, или потому только, что онъ не успѣлъ во время подскакать къ нему. Изъ-за этой клячи вышла цѣлая исторія. Равининъ вышелъ въ отставку, чтобъ имѣть право вызвать на дуэль своего бывшаго начальника; этого, однако же, онъ не сдѣлалъ, но придумалъ другаго рода мщеніе: обиженную лошадь онъ отправилъ въ Англію на скачку, въ увѣренности, что она выиграетъ призъ. И все это придумалъ онъ для того, чтобъ, въ случаѣ удачи, написать своему бывшему командиру записку слѣдующаго

содержанія: «Ваше превосходительство, моя кляча состязалась въ Англіи съ такими-то скаковыми лошадьми и такого-то числа, на скачкѣ, выиграла призъ, о чемъ я имѣю честь увѣдомить ваше превосходительство». Но и это не удалось: несчастная лошадь, при высадкѣ на англійскій берегъ, споткнулась на какой-то доскѣ, зашибла ногу и охромѣла; такъ ее тамъ и продали какому-то заводчику. Не знаю положительно, такъ ли это было; повторяю только то, что мнѣ самой разсказывали; во всякомъ случаѣ, это очень вѣроятно.

— А онъ развѣ богатъ, мама?

— Разумѣется.

Почему *разумѣется,* я не допрашивалъ. Тутъ пришло мнѣ въ голову обратиться къ матери съ вопросомъ, не знаетъ ли она кой-чего о той актрисѣ, которая... и проч., и проч.; но подумалъ — и не рѣшился ее объ этомъ спрашивать. Полагаю, что и прекрасно сдѣлалъ, что не рѣшился. Мать моя, конечно, въ свою очередь спросила бы меня: откуда я это знаю? Я бы, конечно, пробормоталъ, что я это слышалъ.—А отъ кого ты это слышалъ? спросила бы она и довела бы меня до полнаго признанія, а на мою Аграфену и безъ того собиралась гроза.

Только что мать моя послала письмо къ Калистратовой съ просьбой похлопотать за Глаголевскаго, какъ получила письмо изъ дому отъ своего бывшаго парикмахера-башмачника и моего дядьки—Логина.

Въ письмѣ этомъ, какъ видно, писанномъ имъ самимъ въ продолженіе многихъ дней и такимъ почеркомъ, какъ будто каждая буква была взята имъ съ бою и поставлена на бумагу измятая, хромая и въ то же время сбирающаяся улизнуть, Логинъ разливался въ жалобахъ: онъ писалъ, сколько безпокойствъ надѣлалъ ему внезапный отъѣздъ мой, совершенный *крадучимъ образомъ*, жаловался на ехидныя козни Аграфены, на ея шашни съ Гла-

голевскимъ, вообще на ея соблазнительное поведеніе, будто бы позорящее домъ нашъ.

ГЛАВА XVII.

Я зналъ одну барыню, бѣжавшую отъ мужа съ корнетомъ, барыню далеко не безукоризненнаго поведенія, (съ моральной точки зрѣнія), но до такой степени строго наблюдавшую за нравственностью своихъ горничныхъ, что, пользуясь крѣпостнымъ правомъ, она колотила ихъ за малѣйшее отступленіе отъ той морали, которой сама слѣдовать вовсе не находила за нужное. Зналъ я также одного шулера, который отъ камердинера своего требовалъ безукоризненной честности, и еслибъ тотъ осмѣлился на пять копѣекъ надуть его—онъ бы немедленно наказалъ его. Не доказываетъ ли это, что у нѣкоторыхъ господъ, подъ вліяніемъ крѣпостныхъ отношеній, въ мозгу слагалось нѣчто въ родѣ привилегированнаго права, какъ на всевозможныя добродѣтели, такъ и на всевозможные пороки и слабости,—права, которое они низачто не хотѣли уступить людямъ темнымъ, менѣе ихъ цивилизованнымъ? Мать моя, не смотря на всѣ ея хорошія качества, все-таки была барыня. Ее нисколько бы не встревожило, еслибъ она узнала, что подруга ея, влюбившись, надѣлала кой-какихъ глупостей; но письмо Логина ее встревожило. Страсть моей няни къ Глаголевскому показалась ей чуть не преступленіемъ. Еслибъ мы были въ городѣ, очень могло бы случиться, что моей Аграфенѣ и трехъ дней не позволили бы остаться въ домѣ; но, къ счастью Аграфены, мы были въ 30-ти верстахъ отъ города.

— Какъ это ты уѣхалъ? спрашивала меня разгнѣванная мать:—какъ ты могъ потихоньку уѣхать, такъ

уѣхать, что даже Логинъ ничего не могъ знать о твоемъ отъѣздѣ!

Я разсказалъ ей, какъ было дѣло.

Она въ утреннемъ чепцѣ продолжала ходить по террассѣ. Я глядѣлъ ей въ лицо и машинально гладилъ Павлина, который обнюхивалъ карманъ мой и вилялъ хвостомъ.

— Значитъ, Логинъ самъ не хотѣлъ проводить тебя—а? Но что такое у ней съ этимъ дуракомъ Глаголевскимъ?

— Не знаю—отвѣчалъ я, покраснѣвши до ушей.

— Ты краснѣешь, значитъ что нибудь да знаешь.

— Что мнѣ знать, мама?

Мать моя непремѣнно бы догадалась, что я лгу; уже брови ея сдвинулись, и черные большіе глаза холодно остановились на моемъ лицѣ, я уже почувствовалъ на лицѣ ихъ жгучую проницательность, какъ вдругъ — съ щеткой въ рукѣ и съ тряпкой на плечѣ, въ дверяхъ показался Семенъ, блѣдный отъ внутренняго волненія.

— Что тебѣ? полуобернувшись спросила его мать моя.

— Я знаю-съ...

— Что ты знаешь?

— Аграфена вѣшается на шею къ эвтому учителю и... и я самъ видѣлъ...

— Что ты видѣлъ, я тебя не спрашиваю,—перебила его мать моя: — я только спрошу тебя: — ты самъ вѣшаешься ли къ кому нибудь на шею? или—если какая нибудь дура повиснетъ у тебя на шеѣ—придешь ли ты жаловаться? А?

— Я... такъ только къ слову...

— Пошелъ! тебя никто не звалъ и никто тебя не спрашиваетъ!

Семенъ ушелъ замѣтно сильно сконфуженный, но я былъ въ душѣ глубоко ему благодаренъ. Его появленіе

почему-то вдругъ повернуло въ другую сторону мысли моей странной матери. За минуту она была барыня—и вдругъ стала разсуждать такъ, какъ бы разсуждалъ какой нибудь философъ въ концѣ осьмнадцатаго столѣтія; но такое сужденіе кончилось выводомъ, до котораго можно дойдти только по женской философіи, а именно, что виноватъ одинъ только Глаголевскій, и виноватъ не потому, что онъ человѣкъ, такой же какъ и всѣ, а потому что онъ учитель.—И этого скота я еще рекомендовала въ столоначальники! сказала она, и это было ея послѣднее гнѣвное слово. Затѣмъ она сошла въ садъ и стала обламывать сухія вѣтви.

Пріѣхалъ Набатовъ и влетѣлъ на террассу. Павлинъ зарычалъ, но я придержалъ его за ухо. Михаилъ Матвѣичъ, или по-просту Миша Набатовъ, увидѣлъ въ саду мать мою и сталъ ей раскланиваться.

— Вотъ еще волокита пріѣхалъ! замѣтила она въ отвѣтъ на его поклоны, и видя, какую озадаченную физіономію скорчилъ при этомъ юный гость, засмѣялась.

— Кто? Я волокита?! О, мадамъ Чалыгинъ! Я желалъ бы вѣчно волочиться по вашимъ слѣдамъ, но это бы значило—куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней.

— Что вы щиплетесь, какъ ракъ—это я знаю; но чтобъ я была съ копытомъ—это вы ошибаетесь: я не лошадиной породы.

— Въ какомъ смыслѣ—въ какомъ ужасномъ смыслѣ вы принимаете слова мои! сказалъ красавчикъ Набатовъ, какъ-то особенно блеснувши глазами, улыбаясь и въ то же время дѣлая жестъ, выражавшій скорбь и отчаянье. —О, несравненная мадамъ Чалыгинъ!...

— Поздно, поздно, cher m-r Nabatoff! сравненіе уже сдѣлано.

— Да я хотѣлъ сказать... Я совсѣмъ не про васъ хотѣлъ сказать...

— Поздно—не виляйте! Я сержусь и ухожу одѣваться... Сережа, одѣнься и ты: мы поѣдемъ вмѣстѣ.

— А я? спросилъ Набатовъ.

— А какое мнѣ до васъ дѣло?

И Набатовъ понималъ, что мать моя нисколько не сердится, и мать моя понимала, что такой выходкой не разсердишь этого Мишу, хоть онъ и прикинется надувшимъ губы. Изъ этого взаимнаго пониманія и выходили такіе забавные разговоры. Набатовъ же, какъ уже я разъ замѣтилъ, любилъ играть словами, каламбурить и дурачиться, какъ обыкновенно дурачатся всѣ повѣсы, въ присутствіи дамъ, прощающихъ ихъ молодости. Молодость—это такой грѣхъ, который всего охотнѣе прощается тѣми, кто ему завидуетъ. И еслибъ этотъ смертный грѣхъ былъ вѣченъ, то-есть могъ бы продолжаться до 80 лѣтъ, человѣчество пошло бы инымъ путемъ и не придумало бы тѣхъ скучныхъ законовъ, которые оно придумало. Для Набатова, когда онъ былъ въ такомъ обществѣ, (а онъ особенно любилъ женское общество)—для Набатова, напримѣръ, былъ законъ не писанъ, и за это одни его любили, другіе не выносили его присутствія. Но, странная вещь, онъ и мнѣ почему-то не очень нравился,—онъ, казалось, не только былъ по своей природѣ вѣтренъ, но и желалъ казаться вѣтренымъ. Изъ-подъ его веселаго простодушія выглядывала кошачья хитрость. Я иногда очень смѣялся, когда онъ шалилъ, но не любилъ его, да и онъ мало обращалъ на меня вниманія—все больше ухаживалъ за Юлинькой.

Чрезъ полчаса, уже одѣтый въ синюю курточку съ черными шнурками и серебряными пуговицами въ три ряда (въ родѣ чего-то гусарскаго), вспрыгнулъ я въ кабріолетъ и усѣлся возлѣ моей матери, одѣтой по послѣдней модѣ, съ большими, бѣлыми, страусовыми перьями на шляпкѣ. Набатовъ выбѣжалъ насъ провожать—и мы

поѣхали. Но Набатовъ уцѣпился какъ-то сзади, между рессорами, и такимъ образомъ, къ немалому моему удовольствію, проѣхалъ съ нами до половины улицы; потомъ соскочилъ, упалъ и пока я хохоталъ, онъ вытиралъ то свое колѣно, то свою прокатившуюся по дорогѣ шляпу.

Мы проѣхали мимо дворца и направили путь къ заставѣ по дорогѣ въ Царское.

— Мама!

— Что, душа моя?

— Вы давно познакомились съ Набатовымъ?

— Не помню, давно ли; кажется, въ театрѣ князь Ладоміровъ его ко мнѣ въ ложу отрекомендовать привелъ.

— Какой онъ веселый!

— Будетъ ли изъ него путь, Господь его вѣдаетъ. Странный молодой человѣкъ! И за дамами, и за вліятельными лицами ухаживаетъ. Логинъ завивать актрисъ ходилъ — за кулисами его видѣлъ, а старикъ Акимъ Александровичъ у архіерея встрѣчалъ его и увѣряетъ, что это пренабожный молодой человѣкъ; однимъ словомъ, нашъ пострѣлъ вездѣ поспѣлъ. Надо на всякій случай предупредить Юлиньку, чтобъ она ему не слишкомъ позволяла вольничать.

За этимъ послѣдовало молчаніе; лошадка бѣжала скорой рысью, страусовыя перья развѣвались; за нами клубилась пыль, день былъ знойный; я сталъ думать о Юлинькѣ и вспомнилъ о письмѣ, которое я нашелъ на днѣ своего чемоданчика. Неужели это я потерялъ его, думалъ я, досадно!

— Мама,—спросилъ я,—какъ вы думаете, если бы я нашелъ чье-нибудь письмо, можно мнѣ прочитать его?

— Запечатанное? спросила мать.

— Нѣтъ не запечатанное, а такъ, листикъ.

— Все-таки нельзя — подло подглядывать за чужими мыслями, если только...

— Bonjour! Bonjour! зазвенѣлъ женскій голосъ изъ коляски, проѣзжавшей мимо. Въ коляскѣ сидѣла полная, пожилая барыня, также по модѣ одѣтая, въ такой же шляпкѣ, но не съ бѣлыми, а съ синими страусовыми перьями; съ нею были еще дѣвицы, одна—блондинка, другая — брюнетка; на запяткахъ, держась за кисти, стояло два лакея въ треугольныхъ шляпахъ. Это каталась княгиня Малыгина съ своей воспитанницей и ея гувернанткой.

— Я все забываю, что она была у меня съ визитомъ, сказала мать.

— А мы куда ѣдемъ?

— Въ Царское.

Это значитъ опять туда же, подумалъ я, и на мое расположеніе духа нашло небольшое облачко.

Изъ всѣхъ визитовъ, сдѣланныхъ мною въ это лѣто, я имѣю возможность разсказать вамъ только о трехъ, хотя всѣ они на этотъ разъ какъ-то смутно рисуются въ моей памяти.

Помню, разъ пріѣхали мы на дачу къ одному старику. Толстенькій, невысокаго роста, большеголовый, рябой и гладко выбритый, онъ носилъ еще на себѣ отпечатокъ вельможи стараго Екатерининскаго времени: улыбка, взглядъ, вѣжливость — все было то же, да не то. Чувствовалась какая-то разница, и уловить ее, передать ее нѣтъ возможности. Иначе держалъ онъ голову, иначе держалъ въ рукѣ золотую табакерку, иначе вынималъ платокъ, сморкался и, поводивши платкомъ у себя подъ носомъ, какъ бы слегка обметая верхнюю губу, опускалъ его въ боковой карманъ своего казакина... На широкомъ лицѣ его, еще свѣжемъ, не смотря на сѣдые волосы, было, такъ сказать, три отраженія трехъ нравственныхъ силъ— отраженіе вѣры въ догматъ, принятый съ молокомъ матери и непоколебленной ни малѣйшимъ сомнѣніемъ;

отраженіе вѣры въ несокрушимость своего положенія, какъ россійскаго дворянина и помѣщика, и отраженіе того самодовольства, которое является на лицѣ человѣка, увѣреннаго, что слава дней его не прейдетъ во вѣки. Онъ видѣлъ матушку Екатерину, стоялъ на караулѣ у ея апартаментовъ, гордился тѣмъ, что онъ человѣкъ лучшаго времени, что все, что было послѣ, никуда негодно, что свѣтъ начинаетъ съ ума сходить, и что Россія, съ кончины матушки Екатерины, назадъ пошла и до чего дойдетъ — одному Господу Богу извѣстно. Таковъ былъ тотъ старикъ, къ которому однажды завезла меня мать моя; звали его Тарутинымъ Тимофѣемъ Николаевичемъ; мать мою онъ замѣтно очень любилъ, говорилъ ей «ты» — разсуждалъ съ ней о политикѣ, давалъ ей разные медицинскіе совѣты и собственноручно переписалъ для нея рецептъ какого-то всеисцѣляющаго бальзама. (Съ этимъ Тарутинымъ я встрѣчусь въ дни моей юности, а потому и говорю о немъ). Однажды, когда моя мать бесѣдовала съ нимъ, я ушелъ въ садъ, окружающій дачу, и встрѣтилъ тамъ маленькую, пухленькую, курносенькую дѣвочку: она стояла на дорожкѣ, съ личикомъ, выпачканнымъ раздавленными ягодами; увидавши меня, она какъ будто струсила, потомъ протянула рученку въ сторону и сказала: «ici ist малина!» эта французско-нѣмецко-русская фраза осталась у меня въ памяти: не ясно ли, что этотъ ребенокъ съ колыбели разомъ прислушивался къ тремъ языкамъ и спутывалъ ихъ, создавая себѣ свой особенный языкъ, не русскій, не французскій и не нѣмецкій, а какой-то спутанный?

Помню, разъ пріѣхали мы на дачу къ графинѣ Калязиной, старушкѣ лѣтъ шестидесяти... Мы застали ее въ сквозныхъ сѣняхъ съ дѣтскимъ ружьемъ.

— Что съ вами, графиня? спросила мать моя.

— Да вотъ, что прикажете дѣлать, моя милая! Внукъ

мой—такой разбойникъ!—поставилъ меня здѣсь на часы. Ну, вотъ я и стою—сойти не смѣю.

Мать моя разсмѣялась. Не помню, чѣмъ кончилась эта забавная сцена; помню только, что, когда мы вошли въ комнаты, тонко продушенныя запахомъ живыхъ цвѣтовъ, съ мебелью, обтянутой желтымъ штофомъ и съ окнами, завѣшенными такими же дорогими гардинами, прибѣжалъ мальчикъ лѣтъ девяти, внукъ графини, оглядѣлъ меня съ головы до ногъ красивыми, темно-сѣрыми глазами, въ которыхъ такъ и сверкало что-то повелительное и дерзкое; онъ былъ въ красномъ киверѣ и съ дѣтской саблей въ рукѣ.—Бабушка,—спросилъ онъ у графини, не сводя съ меня глазъ и даже осматривая башмаки мои,—можно мнѣ съ нимъ познакомиться?

— Ахъ, какой ты! Конечно можно... даже должно, сказала старушка по-французски, смѣясь и качая головой, и любуясь загорѣлыми щечками красиваго внучка, и какъ бы извиняясь въ чемъ-то передъ моею матерью.

— А кто онъ такой? спросилъ внукъ.

Ему объяснили, онъ выслушалъ.

— Пойдемъ со мной,—сказалъ мнѣ внукъ графини и преспокойно взялъ меня за руку. Мнѣ сильно не хотѣлось его слушаться; но я пошелъ за нимъ. Пришли мы на чистенькій, подстриженными акаціями обсаженный дворикъ. На дворѣ этомъ было штукъ шесть мальчиковъ и одна дѣвочка. Всѣ они играли въ солдаты, дали мнѣ въ руку палку, вмѣсто ружья, поставили меня во фронтъ рядомъ съ дѣвочкой, у которой была точно такая же на плечѣ палка. Молоденькій графъ Коля нами командовалъ—кричалъ на меня, что я не умѣю ружья держать, махалъ саблей и, подъ звуки дѣтскаго барабана, маршируя впереди насъ, вытягивалъ носки, шагалъ задомъ, словомъ, мастерски передразнивалъ офицеровъ того времени. Мы сбивались съ ноги, особливо я (лучше всѣхъ марширо-

вала дѣвочка, только отставала)... Наконецъ, мое неумѣнье вести себя во фронтѣ не на шутку разсердило сіятельнаго Колю. Онъ остановилъ насъ и разсудилъ, что меня слѣдуетъ наказать палками по ногамъ; я, услыхавши такое повелѣніе, разумѣется, сталъ въ оборонительное положеніе и рѣшительно объявилъ, что не хочу играть. Коля сталъ меня уговаривать — увѣрялъ меня, что это не больно, что это такъ только для вида, будто бы будутъ меня бить, а въ сущности вовсе бить не будутъ, а только для вида.—Вонъ, намедни, добавилъ онъ, указывая на дѣвочку, — вонъ намедни мы и Машу наказывали, и ничего — хотѣла заплакать, а увидѣла, что небольно, и ничего... Что же ты послѣ этого за солдатъ?

Я все-таки не соглашался.

— А! если такъ! закричалъ онъ, вспыхнувъ:—ребята, на гауптвахту его! Вотъ мы съ тобой справимся! (Полагаю, что подъ именемъ гауптвахты разумѣлось пустое стойло въ конюшнѣ, которой дверь на этотъ разъ была отворена). Мальчики, какъ видно, уже привыкшіе къ повиновенію, бросились на меня—кто схватилъ за рукавъ, кто за панталоны. Я сталъ бороться, отбиваться всѣми силами, даже дѣвочку задѣлъ локтемъ по головѣ, наконецъ, когда у меня вырвали мое ружье, то-есть палку, и со всѣхъ сторонъ налегли на меня, я заоралъ.

Непремѣнно вышла бы драка самая отчаянная, драка до синяковъ и до слезъ, еслибъ вдругъ изъ сѣней не появился высокій, статный лакей въ ливреѣ, обшитой галунами, и въ красномъ жилетѣ съ серебряными пуговицами. Онъ несъ подносъ, уставленный чашками съ шеколадомъ, и съ серебряной корзинкой, наполненной бисквитами.

— Ваше сіятельство! сказалъ онъ вкрадчиво-солиднымъ тономъ:—бабушка ваша прислала это вамъ и вашимъ гостямъ. Изволили приказать вамъ ихъ попотчивать.

Всѣ забыли меня и бросились къ подносу; воинственное расположеніе духа у всѣхъ въ одну минуту превратилось въ сластолюбивое. Самъ Коля потерялъ свою командирскую важность и принялся за чашку и за бисквиты. Я одинъ имѣлъ еще тотъ же сконфуженный видъ, я одинъ считалъ себя почему-то глубоко оскорбленнымъ и обиженнымъ; это происходило оттого, что я росъ между взрослыми, приноравливался къ большимъ, а не къ дѣтямъ, и оттого, что никогда еще до сихъ поръ не игралъ въ солдаты. Очень былъ я радъ, когда мать моя, въ сопровожденіи сіятельной старушки, вышла опять въ сѣни и позвала меня.

Коля, прощаясь со мной, поцѣловалъ меня и сказалъ:

— Хоть ты и стоишь того, чтобъ тебя подъ арестъ посадить, ну, да такъ ужъ и быть, на первый разъ прощаю; приходи опять играть: мы тебя сдѣлаемъ разбойникомъ и будемъ ловить тебя.

Третій визитъ мой былъ визитъ къ княгинѣ Малыгиной, нашей сосѣдкѣ; но о немъ слѣдуетъ говорить подробнѣе. Моимъ знакомствомъ съ домомъ этой княгини я покончу первое и послѣднее мое житье-бытье въ Павловскѣ, послѣдній періодъ моего безмятежнаго и радужнаго ребячества.

ГЛАВА XVIII.

Дворовые княгини Малыгиной узнали нашу Юлиньку, ту самую Юлиньку, которая когда-то оставалась на ихъ рукахъ и на ихъ попеченіи. Жена дворецкаго, Ѳеоктиса, учившая ее когда-то чулки вязать, стала заходить къ намъ. Юлинька зазывала ее къ себѣ въ комнатку, угощала ее кофеемъ, иногда клубникой со сливками, иногда пока-

зывала ей какое-нибудь новое вязанье тамбурной иглой,— и Ѳеоктиса, женщина лѣтъ сорока, осторожная сплетница и олицетворенная вкрадчивость, съ небольшими, очень умными карими глазками, съ темнымъ пушкомъ надъ верхней губой и съ такимъ же точно пушкомъ надъ кончикомъ небольшаго носа, съ боку похожаго на очень маленькое сѣдло для очень маленькой деревянной лошадки,—Ѳеоктиса ничего дурнаго не говорила про свою барыню, но изъ ея словъ выходило какъ-то само собой очень много сквернаго... Юлинька узнала, что Зизи, поступившей на ея мѣсто въ домъ княгини, очень плохое житье; что княгиня простить ей не можетъ того, что она не красавица, что она не нравится гостямъ и ничѣмъ не веселитъ ее. «Ничѣмъ!—ну хоть бы разсказала что-нибудь, или хоть бы какъ-нибудь подурачилась!— ничего-то, ничего въ ней нѣтъ милаго, моя матушка! Ничего милаго!» повторяла Ѳеоктиса, то любуясь Юлинькой, то поглядывая на меня такими глазами, какъ будто видитъ во мнѣ Амура, будущаго побѣдителя сердецъ. Потомъ Ѳеоктиса разсказывала какую-то очень запутанную исторію на счетъ французика, мужа княгини, будто бы прокутившаго въ одинъ годъ болѣе 200,000 и теперь замышляющаго жениться на какой-то другой, богатѣющей-разбогатѣющей русской барынѣ, только-что овдовѣвшей.— Ну-съ, — говорила Ѳеоктиса, — княгиня все это узнала, оченно всѣмъ этимъ огорчена, и пишетъ ему—этому вертопраху, прости Господи!—что если онъ женится, то она самому французскому королю будетъ собственноручно писать и всѣ документы ему предоставитъ. Оно, конечно,— продолжала Ѳеоктиса, — барыня наша женщина уже не молодыхъ лѣтъ, и не слѣдъ ей было выходить замужъ за эдакаго мальчишку, да еще за француза: хоть бы какого русскаго нашла, ну, тотъ бы, по крайности, хоть что нибудь чувствовалъ, а то что же можетъ чувство-

вать какой-нибудь фертикъ, да еще французъ, прости Господи!... Княгиня-то наша это теперь все сама понимаетъ и... и... ужъ не знаю, что у ней на умѣ! Ничѣмъ недовольна. А добрая, очень добрая! И сама теперь видитъ, что я ей нужна, что я одна при ней, что нечего ей на своего-то птенца уповать—тотъ ее и въ грошъ не ставитъ. Ей-богу такъ, матушка ты моя, даже попреки ей дѣлаетъ. И даромъ, что еще такая... все-то понимаетъ! да еще какъ понимаетъ-то! Кому же это можетъ нравиться, коли такихъ лѣтъ, а ужъ все понимаетъ! Вотъ вы, барышня, на моихъ, почитай, рукахъ росли,—распространялась Ѳеоктиса, обращаясь къ Юлинькѣ и при этомъ опуская блюдечко съ кофе на вершокъ ниже губъ, чтобъ оно не мѣшало имъ сплетничать:—вы на моихъ рукахъ росли—и что-жъ вы понимали?

Юлинька, по-видимому, и теперь не все понимала изъ того, что передавала ей Ѳеоктиса; но всякій разъ, когда шелъ разговоръ о Зизи, изъявляла желаніе повидать ее.—«Чай, ни она меня не узнаетъ, ни я ее».

Послѣдствіемъ такихъ разговоровъ было то, что Юлинька встрѣтилась съ Зизи, и ужъ я не знаю — Зизи ли первая подошла къ Юлинькѣ, или Юлинька первая подошла къ Зизи. Знаю только, что я, въ одинъ прекрасный вечеръ, засталъ ихъ обѣихъ у нашего крылечка подъ липами и подошелъ къ нимъ.

Зизи было съ небольшимъ 15 лѣтъ, но казалась она вовсе не ниже ростомъ и не моложе Юлиньки. На первый взглядъ она произвела на меня непріятное впечатлѣніе. Блѣдное, выразительное лицо ея было какое-то не дѣтское: черные, блестящіе глаза ея изъ-подъ прямыхъ бровей глядѣли — какъ бы это сказать — не то что сердито, не то что исподлобья, а такъ какъ-то не то холодно, не то недовѣрчиво; тонкій, орлиный носъ ея слишкомъ выдавался впередъ, тонкія губы рѣдко улыба-

лись; но зато, когда появлялась улыбка, не скоро улыбка эта переставала удлиннять ея ротъ и казалась непроницаемо насмѣшливой; такъ напримѣръ, когда она улыбалась, глядя на меня,—казалось, что глаза ея говорятъ: ну, ты еще глупенекъ, дитя, нечего мнѣ толковать съ тобой....

И сталъ я встрѣчать эту Зизи все чаще и чаще въ сообществѣ съ Юлинькой. Я думалъ, судя по сплетнямъ Ѳеоктисы, что я найду въ ней грустную, забитую, угнетенную дѣвочку; но видъ ея вовсе не возбуждалъ во мнѣ ни малѣйшаго состраданія; напротивъ: иногда мнѣ казалось, что она на Юлиньку и даже на мать мою глядитъ съ состраданіемъ. На свою гувернантку, дѣвушку лѣтъ 22, нѣмецкаго происхожденія, высоколобую, высокогрудую и голубоглазую Луизу Карловну, она почти не обращала вниманія, и когда та звала ее, Зизи преспокойно оставалась стоять съ нами на улицѣ или сидѣть на скамьѣ въ паркѣ, точно слышала скрипъ дерева, а не голосъ своей наставницы.

О чемъ говорила Зизи съ Юлинькой, оставаясь съ нею наединѣ, я никакъ не могъ себѣ даже представить. На чемъ онѣ сошлись? А сошлись на чемъ-то. Казалось, между ними ничего нѣтъ и ничего быть не можетъ общаго, какъ между канарейкой и скворцомъ, — а видно что-то было, что такъ скоро свело ихъ и такъ скоро сблизило. Когда я издали смотрѣлъ на этихъ дѣвушекъ, мнѣ казалось, не Зизи, а Юлинька въ чемъ-то признается ей, а Зизи только слушаетъ, улыбается или сердито смотритъ въ землю и молчитъ. Когда же говоритъ Зизи, на ея блѣдномъ лицѣ появляется румянецъ, глаза начинаютъ блестѣть, прямыя брови сходятся въ одну темную линію, а указательный пальчикъ на правой рукѣ то поднимается, то дѣлаетъ какіе-то жесты, какъ будто она и наставляетъ, и отрицаетъ, а Юлинька слушаетъ и глядитъ на нее съ нѣкоторымъ изумленіемъ.

Я понялъ, что мѣшаю имъ, а потому и не подходилъ къ нимъ, и не слушалъ ихъ. Гувернантка Зизи, Луиза Карловна, также рѣдко подходила къ нимъ. Гуляя съ нами въ паркѣ, она также очень скоро сошлась съ нашимъ Фрейманомъ и нашла въ немъ что-то среднее между чучелой и задушевнымъ другомъ. То подтрунивала надъ его муругой фигурой, то вырывала у него изъ рукъ его коротенькую трубочку, то вдругъ срывала съ него шляпу и, вмѣстѣ съ этой несчастной шляпой убѣгая, заставляла меня ловить себя; то сантиментальничала и по цѣлымъ часамъ бесѣдовала съ нимъ, усѣвшись на какой-нибудь скамеечкѣ подъ тѣнь наклонившихся деревьевъ; также какъ и онъ, поднимала глаза свои къ небу, вздыхала, даже руку къ сердцу прикладывала (чего не дѣлалъ мой нѣмецъ) и говорила, какъ бы упиваясь его рѣчами: wiederholen sie! wiederholen sie! повторите — повторите!

Такимъ образомъ, почти всѣ изъ живущихъ на дачѣ княгини Малыгиной сошлись съ нашими. Даже нашъ Семенъ, видно, рѣшился утѣшиться: сталъ ухаживать за Липочкой, горничной Зизи, и по вечерамъ, гдѣ-нибудь за угломъ, по-голубиному съ ней бесѣдовалъ. И все это сдѣлалось какъ-то само собой, съ легкой руки Ѳеоктисы.

Вслѣдъ за этимъ, сама княгиня Софья Ивановна Малыгина сдѣлала визитъ моей матери. Мать моя была нерада этому визиту, а пришлось и ей, въ силу свѣтскаго этикета, недѣли двѣ спустя, отправиться на сосѣднюю дачу съ визитомъ. На дачахъ, да еще по сосѣдству, ничѣмъ нельзя отговориться—ни хлопотами по дѣламъ, ни нездоровьемъ, ничѣмъ,—стало быть, невниманіе было бы равносильно явному пренебреженію и повело бы къ пересудамъ, отъ которыхъ до клеветы одинъ шагъ, — а какая же женщина не боится женскихъ клеветъ?

День былъ праздничный; мы были съ мама у обѣдни,

и оттуда подъѣхали прямо къ подъѣзду дачи, занимаемой княгиней. Выскочивъ изъ коляски, я хотѣлъ бѣжать домой; но мама обернулась и сказала мнѣ: — Какъ! ты хочешь меня одну покинуть? не ожидала!

Пришлось и мнѣ познакомиться съ ея сіятельствомъ. Швейцаръ дернулъ за шнурокъ, лакей въ штиблетахъ и галунахъ пошелъ докладывать. Въ залѣ кто-то закричалъ: Sacre bleu!—и такъ рѣзко, такъ звонко закричалъ, что я вздрогнулъ. Это былъ бѣлый попугай въ высокой проволочной клѣткѣ, и это онъ насъ такъ привѣтствовалъ. По коврамъ вошли мы въ гостиную, убранную диванами, зеркалами и фарфоровыми куклами.

Не успѣлъ я разглядѣть какого-то пастушка, разстегивающаго корсетъ какой-то пастушкѣ, какъ видно, упавшей въ обморокъ, не успѣлъ я полюбоваться на фарфоровую грудь ея, какъ въ дверяхъ послышался шорохъ платья—и появилась сама княгиня, которую я чуть-чуть было не принялъ за большую фарфоровую куклу, съ такою же бѣлой, полуобнаженной грудью, и точно также готовую опрокинуться. Въ минуты первыхъ, необходимыхъ и съ дѣтства заученныхъ привѣтствій, которыми обмѣнивалась княгиня съ моей матерью, я точно съ такимъ же любопытствомъ сталъ ее разглядывать, и разглядѣвши, сталъ подозрѣвать, что она — старуха...

— Это сынъ вашъ? спросила она по-французски мать мою: — Какой милый ребенокъ! Поздравляю васъ, chère madame Chaliguin! Я люблю, когда мальчики похожи на мать, и терпѣть не могу, когда дочери похожи на отца; а онъ двѣ капли—вы... Я его за это поцѣлую. Поди ко мнѣ, душа моя! — И только что я машинально сунулся впередъ, одна изъ полныхъ, до самыхъ плечъ обнаженныхъ рукъ ея, мягкая, какъ подушка, обогнула мою голову, и нервная дрожь пробѣжала у меня по спинѣ; сухія губы ея прикоснулись къ губамъ моимъ—прозвучалъ

поцѣлуй, да еще не одинъ, а цѣлыхъ два... Тутъ я вполнѣ почувствовалъ, что она старуха. Мать замѣтила мое смущеніе и расхохоталась...

— Садитесь! садитесь!.. Вы отъ обѣдни? не правда ли? Ну, кого видѣли? что слышали? Правда ли, что въ Грузинѣ — такое было страшное происшествіе?.. И... можно ли было думать, что у этого человѣка такое горячее, пламенное сердце!.. Говорятъ, окровавленнымъ платкомъ повязалъ себѣ голову и дышитъ мщеніемъ... ужасно! Какъ на все это посмотрятъ у насъ!.. И неужели это правда?.. И знаете, что еще я слышала: — будто папа недоволенъ нашимъ библейскимъ обществомъ, а именно тѣмъ недоволенъ, что оно будто бы посылаетъ въ Польшу книги священнаго писанія... Правда ли, что онъ издалъ буллу — и пишетъ въ этой буллѣ: мы-де страшно оскорблены такимъ коварствомъ... Книги эти пишетъ, подрываютъ фундаментъ нашей религіи и, такъ сказать, зачумляютъ души...

— Это все было очень давно, княгиня,—кажется въ іюлѣ или въ августѣ 1816 года...

— Вообразите,—это я слышала на-дняхъ отъ Лизы Финиковой, которая слышала это отъ самой княгини Голицыной. Я, признаюсь вамъ, очень струсила за наше общество... И старуха положила руку свою на библію, которая въ богатомъ бархатномъ переплетѣ, съ бронзовыми застежками, лежала передъ ней на столикѣ.—Такъ это было уже давно!.. А-а!.. Ну, это меня успокоиваетъ... Однако же — каковъ этотъ папа! Недаромъ я иногда спорю съ Зизи... Вообразите, ей также католическій исповѣдникъ — inspecteur, какъ она его называетъ, запретилъ читать Евангеліе. Я этого не понимаю, не понимаю, m-me Chaliguin—не понимаю!.. Ну, поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ... Есть вещи, которыя меня раз-

страиваютъ... Я такъ много страдала, моя милая, и такъ еще страдаю... что...

Я при этомъ не могъ не посмотрѣть на княгиню. Дѣйствительно, безхарактерное и какъ бы опухшее, сомнительной бѣлизны и свѣжести лицо ея выразило нѣчто похожее на страданіе, что̀ вовсе не шло ни къ ея фальшивымъ локонамъ, въ видѣ банта пришпиленнымъ на высотѣ ея темени, ни къ ея полновѣсному тѣлу, перетянутому около таліи узенькимъ, новомоднымъ поясомъ, ни къ ея позѣ, въ которой проглядывала претензія на грацію... Трудно было однако-жъ рѣшить, сколько ей лѣтъ. Когда она не морщилась и не хохотала, ей казалось не больше сорока пяти; когда же лицо ея выражало тревогу, мелкія морщинки разбѣгались по всей ея физіономіи — и тогда... тогда она вдругъ выглядывала старухой лѣтъ шестидесяти или около...

— Гдѣ же ваша Юлинька? Я надняхъ ее встрѣтила—и, признаюсь, позавидовала вамъ. Кто могъ ожидать, что она такъ выровняется, будетъ такая граціозная, такая comme il faut! Это большое счастіе имѣть при себѣ хорошенькую дѣвушку; это привлекаетъ, это оживляетъ общество, это... какъ бы вамъ сказать?.. Ну, да вы меня понимаете... Я очень пожалѣла, что вамъ отдала мою Юлиньку... Уступите-ка мнѣ ее, chère m-me Chaliguine! Ха-ха-ха! вы смѣетесь! ха-ха-ха! но я не шутя бы ее у васъ похитила.

И рыхлое тѣло старухи, отъ сдержаннаго смѣха, заколебалось на всѣхъ своихъ, видныхъ глазу, поверхностяхъ, на груди, около плечъ и около шеи.

Мама въ свою очередь стала хвалить ей Зизи.

— Ну, что моя Зизи! Что вы находите въ ней хорошаго? холодно отозвалась княгиня и пристально поглядѣла на мать мою.

— Юлинька очень ее хвалитъ; говоритъ, что она рѣдко встрѣчала такихъ дѣвушекъ.

— Ну, очень рада, что она ей такъ понравилась... Нѣтъ, m-me Chaliguine, не будемъ говорить другъ другу ни комплиментовъ, ни колкостей. Я вамъ только одно сказать могу—я ничего не пожалѣла на воспитаніе моей Зизи и ничего не жалѣю. Увидѣла, что она плохо и съ ошибками говоритъ по-нѣмецки,—взяла ей нѣмку, потому взяла, что на будущій годъ собираюсь ѣхать въ Германію на воды, и если моя Зизи не будетъ говорить по-нѣмецки—это срамъ! Этого сраму я не снесу, моя милая! Она хочетъ въ женскій монастырь уйти—пусть уходитъ, но я не пущу ее, пока не сошла съ ума... сойду съ ума, тогда пущу... А пусть уходитъ! Я на это ни слова; но пусть уходитъ такъ, чтобъ я не знала, и не слыхала, и не видѣла! Что дѣлать! на многое въ жизни приходится смотрѣть вотъ эдакъ...—И княгиня передъ глазами сдѣлала изъ пальцевъ своихъ что-то въ родѣ перегородки.—Не правда ли, chère m-me Chaliguine, если не глядѣть на многое сквозь пальцы, лучше и не жить! Я по крайней мѣрѣ—я—я не могла бы жить!..

«J'vous adore! Baise moi! sacrrrrre bleu! j'vous adore! sacrrrre!» закричалъ попугай. Пользуясь этимъ случаемъ, я вышелъ въ залу и вдругъ увидѣлъ Зизи. Сложа руки и вытянувъ ножки, сидѣла она у стѣны, около фортепьяно и саркастически улыбалась. Увидѣвши меня, она встала и ушла направо въ дверь, не сказавши мнѣ ни слова; впрочемъ, бѣлый попка въ эту минуту занималъ меня несравненно болѣе, чѣмъ эта непривѣтливая дѣвушка. Вслѣдъ за мной въ залу вошла княгиня и моя мать.

— Никакъ не могу отъучить эту проклятую птицу кричать: sacre... Не повѣрите, какъ это меня бѣситъ,—говорила княгиня, медленно выступая впередъ:—Я купила этого

попугашку въ Марсели, и вѣроятно какой-нибудь матросъ такъ научилъ его. Что я ни дѣлала, моя милая, чтобъ отъучить! Сама изъ спринцовки водой на него за это брызгала; никакъ перевоспитать не могу! никакимъ образомъ! И вообразите, кормлю я его, а онъ вѣдь—не-бла-го-дарный!—терпѣть меня не можетъ! Вотъ, поглядите... повожу пальцемъ около клѣтки... Видите, видите! такъ и хочетъ укусить, такъ и норовитъ! Видите, даже хохолъ свой дурацкій растопырилъ! И надоѣлъ же онъ мнѣ ужасно! такъ кричитъ по утрамъ, что забыться не даетъ. Прикажу его въ саду поставить. Пусть тамъ кричитъ...

— Только на ночь его не оставляйте на открытомъ воздухѣ.

— Почему?

— Онъ простудится.

— Ничего, не безпокойтесь, я велю его закутывать,— а то, не хотите ли, я вамъ уступлю его?

— Нѣтъ... мнѣ не надо—я не люблю попугаевъ.

— Да вѣдь это въ модѣ...

— Благодарю васъ, княгиня... Ну, однако же пора! Прощайте! Гдѣ ваша Зизи? Надѣюсь, вы ей позволите бывать у насъ...

— Прекрасно! только съ уговоромъ, чтобъ ваша прелестная Юлинька навѣщала меня, свою бывшую мать... Я никогда бы съ ней не разсталась, еслибъ не случай— не увлеченье... Ну! вы женщина съ сердцемъ, также какъ и я, грѣшная, не любите дамскаго общества — вы меня понимаете... Ахъ, да! что бишь такое я хотѣла васъ спросить!... Постойте... что-то такое... касающееся...

И княгиня остановилась, потупя голову и куда-то въ сторону покосивши выпуклые, когда-то голубые глаза свои. Такъ простояла она нѣсколько секундъ.

— Ну! забыла!... Когда-нибудь вспомню... Прощайте, сосѣдка, до свиданья!...

Таковъ былъ нашъ первый визитъ и мое первое знакомство съ княгиней Малыгиной.

ГЛАВА XIX.

«Да, Юлія, вы можете окончательно погибнуть, вамъ нужна моя помощь.

«Темные, непросвѣщенные люди окружаютъ васъ—и они будутъ рады вашимъ заблужденіямъ.

«Душа ваша спитъ—проснитесь—женихъ у дверей—часъ дорогъ.—Небесная любовь ожидаетъ васъ. L'Amour celeste vous attent... Это преступленіе—да проститъ васъ святая дѣва.»

Вотъ тѣ отрывочныя, темныя и въ настоящую минуту, конечно, далеко не слово въ слово повторяемыя мною фразы, которыя съ большимъ трудомъ разобралъ я между строчками мельчайшимъ почеркомъ исписаннаго по-французки почтоваго листика.

Это было письмо, найденное мною на днѣ моего чемоданчика; я вспомнилъ о немъ и нашелъ его за подкладкой моей старой домашней курточки. Слова моей матери, что подло читать чужія письма, тревожили мою совѣсть, и сердчишко мое сильно билось, когда, удалившись въ темный уголъ сада, совершалъ я это преступленіе.

Кто писалъ письмо, не знаю, даже крючковатой подписи никакъ я разобрать не могъ. Являлся вопросъ: отдавать ли мнѣ это письмо или изорвать и бросить? Я рѣшился отдать, прикинувшись, что не обращалъ на него никакого вниманія.

— Откуда ты это взялъ?! спросила меня изумленная Юлинька, раскрывъ глаза, и яркій румянецъ разлился по

*

всему ея личику:—Я давно искала это письмо, какъ оно могло попасть къ тебѣ?

Я бойко разсказалъ ей, какъ письмо это попалось мнѣ подъ руку.

— Зачѣмъ же ты до сихъ поръ мнѣ не отдалъ его?

Я также бойко сообщилъ ей, почему я никакъ не могъ ей отдать его.

— Ну, и, разумѣется, ты его прочелъ? сказала она, не глядя мнѣ въ лицо. (Мать моя при этомъ непремѣнно бы смотрѣла мнѣ въ глаза). Пришла моя очередь покраснѣть по уши.

— Отчего жъ разумѣется?...

— Да оттого, что ты не можешь, чтобъ не прочесть...

— Развѣ я такой подлецъ, чтобъ чужое письмо...

— Ну, ужъ не говори, знаю, что ты прочелъ его. Спасибо, что отдалъ,—и, стараясь улыбнуться, она добавила:—умникъ, что отдалъ.

Затѣмъ она спрятала письмо въ столикъ и сѣла за свою работу. Я ушелъ изъ ея комнаты, какъ будто оплеванный. Мнѣ стало невыносимо стыдно и горько. Она догадалась, что я способенъ на подлость; увѣрена, что я и лжецъ, и подлецъ, и притворщикъ. Отчего же она такъ увѣрена! Господи, Господи! Даже Юлинька видитъ, что я такой гнусный человѣкъ! Что дѣлать?

И цѣлый день я былъ не въ духѣ. Гуляя въ паркѣ, я задумывался, и когда Луиза Карловна ущипнула меня за ногу,—сказалъ ей: отвяжитесь!

Но не только мой поступокъ—самое содержаніе письма, его фразы никакъ не выходили у меня изъ памяти. О какомъ такомъ преступленіи намекаетъ это письмо? Юлинька — такая милая, такая свѣтлая, такая добрая— преступна! погибаетъ! нуждается въ чьей-то помощи!... Господи! Господи! что это за непонятная такая исторія!..

Женихъ у дверей... Какой женихъ? Развѣ есть женихъ у Юлиньки? Кто его знаетъ? Кто его видѣлъ? Кто слышалъ объ этомъ женихѣ? А какъ спросить? Заикнись я только спросить — сейчасъ будетъ явно, что читалъ письмо, а еще хорохорился, въ обиду вламывался! Боже мой; Боже мой! зачѣмъ же это я сказалъ ей: развѣ я подлецъ? лучше бы я этого не говорилъ... Что теперь дѣлать?

И на другой, и на третій день я былъ все какъ-то не веселъ. Подъ вліяніемъ этихъ тайныхъ угрызеній, подъ вліяніемъ таинственныхъ фразъ, мною потихоньку прочитанныхъ, подъ вліяніемъ похвалъ, расточаемыхъ красотѣ Юлиньки, и моей вины передъ ней, я сталъ опять любить ее, думать и мечтать о ней. Я опять сталъ съ особеннымъ вниманіемъ вглядываться въ ея нѣжный и чистый профиль, въ ея свѣтло-каріе глазки, опушенные длинными рѣсницами, въ контуры головы ея, повязанной голубою лентою, со всѣхъ сторонъ прихватившей ея зачесанные вверхъ и въ широкое кольцо, въ видѣ коронки, заплетенные волосы. Я опять сталъ почему-то робѣть въ ея присутствіи. И она ко мнѣ перемѣнилась: не то, чтобъ стала избѣгать меня, а стала не замѣчать моего присутствія, стала въ отношеніи ко мнѣ почти такая же, какъ и Зизи, только не глядѣла на меня съ такою же саркастической улыбкой, но зато безъ всякой улыбки стала встрѣчать меня—такъ-таки совсѣмъ безъ улыбки! Только и улыбалась, когда встрѣчала Зизи и когда навстрѣчу ей протягивала руки. Эту Зизи я начиналъ ненавидѣть. Въ началѣ августа стояла великолѣпная погода. Павловскъ цвѣлъ; пріѣзжающихъ и гуляющихъ было великое множество; каждый вечеръ къ намъ на террассу собиралась компанія, пили чай, спорили, смѣялись, читали тогдашней цензурой запрещенные стихи, каламбурили. Были военные, были статскіе; я почти никого не замѣ-

чалъ и никого не слушалъ; я или уходилъ съ моимъ Фрейманомъ на границу парка и тамъ, съ однимъ мальчикомъ, змѣйки пускалъ, или сидѣлъ дома и любовался Юлинькой. Набатовъ являлся каждую субботу; но и къ Набатову перемѣнилась Юлинька; даже помню, какъ она на него разсердилась за то, что онъ при гостяхъ потихоньку взялъ ее за руку. Я никогда не видалъ, какъ сердится Юлинька, и увидѣлъ въ первый разъ, какъ она сердится: вся ея фигурка подалась назадъ, въ глазахъ мелькнули большія-большія золотыя звѣзды, брови и губки приняли выраженіе ребенка, который только-что обжегъ себѣ пальчикъ и боится заплакать.

Самъ Набатовъ понялъ, что Юлинька разсердилась, и замѣтно удивился такому явленію; онъ сталъ на ухо увѣрять ее, что если она сердится, то онъ при всѣхъ станетъ передъ ней на колѣни.—Я не сержусь,—говорила Юлинька.

— Если вы сердитесь, я всю ночь простою у васъ подъ окномъ, буду вздыхать и молиться.

— Я не сержусь! не сержусь! съ торопливой досадой повторяла Юлинька.

— M-r Michel! раздался голосъ моей матери—и все общество вдругъ замолко, всѣ оглянулись на Юлиньку...— M-r Michel, подите-ка сюда!

Набатовъ, сконфуженный и чуть замѣтно ежась, подошелъ къ моей матери.

— Ну, садитесь подлѣ меня, и не смѣйте уходить!

Я уже, кажется, говорилъ, что Набатовъ въ присутствіи мужчинъ не позволялъ себѣ дурачиться. Въ то время, немудрено было дошутиться до дуэли, еслибъ кому-нибудь шутка его не понравилась. Онъ это очень хорошо понималъ.

Такъ прошло недѣли двѣ или три. Напрасно старался я разговориться съ Юлинькой—никакъ не могъ, и до-

шелъ до того, что сталъ при ней Зизи ругать.—Это дрянь,—говорилъ я,—уродъ долгоносый! Я и говорить-то бы съ ней не сталъ; просто спесивая дрянь, и только.

Но Юлинька и не думала мнѣ возражать или заступаться, какъ будто ей было все равно!...

Время шло; стали перепадать дожди; августъ шелъ къ концу. Юлинька стала по цѣлымъ вечерамъ пропадать у Зизи. Княгиня Малыгина засыпала ее подарками. Эта старуха, какъ видно, всю жизнь свою была страстной, и до глупости, до скандаловъ увлекающейся женщиной; до двѣнадцати лѣтъ она баловала свою Зизи такъ, какъ рѣдко родныя матери балуютъ дочерей своихъ; говорятъ, исполняла всѣ ея прихоти и потомъ вдругъ охладѣла. Теперь пришла ей очередь влюбиться въ нашу Юлиньку. Видно справедлива пословица: каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку. Мать моя смѣясь говорила Юлинькѣ: смотри, какъ бы эта княгиня не объявила на тебя претензіи; она ужъ и такъ кому-то сказала, что я тебя отъ нея увезла.

— Нѣтъ, мама (Юлинька также иногда называла мать мою: maman), я не люблю княгини, потому что она разлюбила дочь свою.

— А развѣ.... Зизи дочь ея?

— Да,—коротко и рѣшительно отвѣтила Юлинька.

Мать моя почему-то не продолжала этого разговора—такъ онъ и кончился. Но вотъ что я отчасти помню: это разговоръ въ нашей гостиной въ тотъ вечеръ, когда къ намъ вдругъ неожиданно явился Равининъ.

Равинина всѣ встрѣтили съ особеннымъ удовольствіемъ. Равининъ былъ въ духѣ—злой язычекъ его дребезжалъ, прерываемый всеобщимъ хохотомъ. Помню, что въ то время, когда гостямъ разносили малину, мелкій сахаръ и сливки, рѣчь зашла о княгинѣ Малыгиной. — Какъ, гос-

пода! проскрипѣлъ Равининъ: — вы берете молоко, не спросивши хозяйки, откуда она его беретъ!

— Разумѣется, — отозвалась мать моя, — беремъ у кого и всѣ берутъ — у молочницы.

— У той самой молочницы, которая продаетъ молоко княгинѣ Малыгиной?

— Вѣроятно.

— Ну, такъ это то самое молоко, въ которомъ она купалась. Развѣ вы не знаете, что она беретъ молочныя ванны, и потомъ, за половинное количество свѣжаго молока, на другое утро уступаетъ молочницѣ то самое молоко, въ которомъ она освѣжала свои прелести.

— Фи! что за вздоръ!... какъ? неужели?...—Всѣ стали хохотать; нѣкоторые морщились отъ этой грязной остроты, но нѣкоторые повѣрили Равинину, и въ числѣ повѣрившихъ былъ и я, разумѣется. Равининъ также не ѣлъ малины съ молокомъ; но, говорятъ, совсѣмъ по другой причинѣ, просто потому, что желчный темпераментъ его не выносилъ ничего молочнаго.

Потомъ Равининъ зло осмѣивалъ дѣятельность библейскаго общества; тутъ мать моя разсказала, до какой степени папская булла 1816 года растревожила княгиню Малыгину.

— Это вотъ по какому случаю-съ,—заговорилъ одинъ подслѣповатый молодой человѣкъ, потирая руки:—у княгини-съ есть имѣнье въ Подольской губерніи. Ей вздумалось послать своему сельскому священнику 50 экземпляровъ русскаго Евангелія для раздачи крестьянамъ. Ma cousine, Элиза Финикова, узнавши объ этомъ, объяснила ей, что это дѣло опасное и рискованное, что за это ей страшно достанется, потому что была такая-то булла. Княгиня хотя и... не очень умна, однако жъ отвѣчала ей, что у ней крестьяне православные, а не католики. — А почему вы знаете? спросили ее. Оказалось, что сама кня-

гиня не знаетъ, какого вѣроисповѣданія ея крестьяне,— она никогда и не бывала въ Подольской губерніи....

— Мнѣ она этого не говорила,—вступилась мать.

— А вы знаете, отчего она вамъ не говорила? Оттого и не говорила, что сама поняла, что сдѣлала глупость.

И тутъ поднялся споръ—одни стали доказывать, что слѣдуетъ желать, чтобъ всѣ наши крестьяне западныхъ провинцій приняли католичество, другіе возражали. Я былъ тогда еще слишкомъ малъ, чтобъ понимать подобные разговоры. Припомню только, что бо̀льшая часть тогдашней аристократической молодежи училась въ школахъ, основанныхъ іезуитами; припомню ужъ кстати и то обстоятельство, что въ то время нѣкоторыя свѣтскія дамы и дѣвицы высшаго общества, стоя въ церкви, иногда такъ громко между собой разговаривали по-французски и обмѣнивались привѣтствіями съ молодыми людьми, такъ часто переходили съ мѣста на мѣсто, что превращали церковь въ салонъ и приводили въ соблазнъ толпу, то-есть всѣхъ остальныхъ прихожанъ, особливо бѣдныхъ старичковъ и старушекъ. Такое поведеніе въ модныхъ русскихъ церквяхъ, смѣю думать, происходило вовсе не отъ атеизма и невѣрія, потому что, въ царствованіе Александра I, наши аристократки наперерывъ стремились слушать знаменитыхъ въ то время католическихъ проповѣдниковъ, или съ особеннымъ увлеченіемъ отдавались мистическому настроенію. Удивляться ли послѣ этого, что въ гостиной моей матери многіе открыто проповѣдывали, что все спасеніе Россіи въ католицизмѣ.

Мое же тогдашнее спасеніе отъ грустной мечтательности и предположеній, обидныхъ для моего щекотливаго самолюбія, заключалось въ Юлинькѣ.

— Мама,—спросилъ я какъ-то мать мою,—какъ вы думаете (тогда дѣти по большей части говорили «*вы*», а

не «ты», своимъ родителямъ: до «*ты*» еще не доходила русская цивилизація), какъ вы думаете, есть у Юлиньки женихъ или нѣтъ?

— Спроси ее, душа моя, есть ли у ней женихъ. Я ничего не слыхала и полагаю, что тутъ никакого отъ меня секрета быть не можетъ; у ней есть отецъ, и я не могу ей запретить выйти замужъ за кого ей вздумается. Я очень бы желала, чтобъ у ней былъ женихъ и чтобъ этотъ женихъ былъ человѣкъ честный.

— Юлія Антоновна! произнесъ я въ тотъ же день вечеромъ.

— Что тебѣ? торопливо отвѣчала Юлинька, углубленная въ чтеніе.

— Простите меня, если я виноватъ.

— Чѣмъ ты виноватъ?

— Развѣ я не виноватъ?

— Не знаю.

— За что же вы на меня сердитесь?

— Откуда ты это взялъ, что я на тебя сержусь? Какой ты смѣшной мальчикъ!

— Такъ вы не сердитесь?

— И не думала.

— Зачѣмъ же вы не хотѣли говорить со мной?

— Когда?

— Вѣдь вы знаете, что я васъ очень люблю.

— Я въ этомъ никогда и не сомнѣвалась, и я тебя люблю...

— А Зизи я не люблю, не люблю, не люблю; она должно быть хитрая... и такъ улыбается, точно змѣя...

— Ты ее не знаешь и знать не можешь; это душа высокая, святая душа. Я не стою ея дружбы, даромъ что она моложе меня... Но я ее люблю и буду любить,— въ горничныя пойду къ ней, если нужно,—такъ я люблю ее.

Помню, меня озадачила эта горячность Юлиньки: это была опять новая черта, которой я никогда еще не замѣчалъ въ ея характерѣ.

— Ну, хоть она и святая-разсвятая, а все-таки я ее не люблю, не люблю и не люблю.

Послѣ этого разговора мнѣ стало легче; я убѣдился, что Юлинька на меня нисколько не сердится, и, вдобавокъ, мнѣ было пріятно слышать изъ устъ ея, что и она меня любитъ. Я этому простому, дѣтскому выраженію вѣроятно придавалъ какой-нибудь свой особенный смыслъ, который и обольщалъ, и утѣшалъ меня. Раннее чтеніе романовъ принесло плоды свои на моей рано воспріимчивой и пригрѣтой почвѣ, хотя плоды эти и были похожи на кислыя яблоки, достигшія величины орѣха, которыя при первомъ вѣтрѣ падаютъ, прячутся въ травѣ, и только для разныхъ козявокъ служатъ то чертогомъ, то благодатной, вкусно-сытной трапезой.

ГЛАВА XX.

Лѣто замѣтно шло къ концу. Постараюсь и я какъ можно скорѣй привести къ концу описаніе моего лѣтняго житья-бытья въ Павловскѣ. Главное, о чемъ я забочусь въ моемъ разсказѣ, это—не забывать тѣхъ лицъ, съ которыми, къ счастью или несчастью, придется мнѣ сталкиваться въ иные годы. И поневолѣ пропускаю я безъ очерка тѣ лица, которыя хотя и навѣщали гостиную моей матери, но исчезли съ горизонта, прежде чѣмъ я почувствовалъ себя юношей. Я пропускаю ихъ по тремъ причинамъ: во-первыхъ потому, что былъ малъ, чтобъ понимать ихъ; во-вторыхъ потому, что никогда уже потомъ ни разу не встрѣтилъ ихъ и, стало-быть, не имѣлъ

случая ни подновлять моихъ впечатлѣній, ни вызывать по нѣскольку разъ моихъ воспоминаній, ни провѣрить ихъ; потому, наконецъ, что имена ихъ стали слишкомъ извѣстны, и не мой судъ — судъ исторіи ожидаетъ ихъ.

Еслибъ мать моя была жива, и теперь писала свои записки, я увѣренъ, она сумѣла бы ихъ описать; для нея это были бы живыя лица, для меня—тѣни прошлаго; и наоборотъ, тѣ, которыя стали для меня впослѣдствіи живыми лицами, для нея были тѣни будущаго. Не знала она, что выйдетъ изъ Юлиньки, изъ Зизи, изъ Набатова, изъ Глаголевскаго, изъ Луизы Карловны, изъ Вѣрочки, которую я встрѣтилъ на Крестовскомъ, изъ Коли—графа Калязина, изъ дочерей Логина, изъ меня, наконецъ, и моего новаго пріятеля Алеши Игнатина, который выучилъ меня змѣйки пускать.

Объ Алешѣ Игнатинѣ и на этотъ разъ скажу только, что онъ жилъ съ своимъ семействомъ въ одной избѣ, между паркомъ и чистымъ полемъ, между крестьянскимъ дворомъ и огородами. Отецъ его былъ бѣдный человѣкъ, мать—пожилая нѣмка и больная женщина, старшій братъ—ученикъ академіи художествъ, младшая сестра—ребенокъ одной рубашенкѣ, сидѣвшій то на кучѣ песку, то на сѣнѣ, то на рукахъ у своего папеньки, который въ свою очередь любилъ сидѣть на заваленкѣ въ одномъ халатѣ.

Луиза Карловна—гувернантка Зизи — называла мать Алеши своей тетенькой (tante) и часто по воскресеньямъ, вмѣстѣ со мной и Фрейманомъ, совершала къ нимъ свою прогулку. Она уходила въ избу и, быть можетъ, одѣляя дѣтей конфектами или пряниками, воображала себя Шарлотой и мечтала о какомъ-нибудь Вертерѣ. Фрейманъ садился на какой-нибудь пень или на бугорокъ и покуривалъ свою геттингенскую трубочку; я ходилъ или бѣ-

галъ взадъ и впередъ, какъ человѣкъ, которому ничто еще не мѣшаетъ бѣгать.

Разъ Алеша пускалъ змѣй; я робко сталъ подходить къ нему и остановился шаговъ за двадцать.

— Что стоишь? сказалъ мнѣ Алеша:—ты лучше придержи его, а я побѣгу... Что стоишь?

— Какъ придержать?

— Да вотъ эдакъ—да, смотри, на хвостъ-то не наступи ему! Ну...—Онъ отбѣжалъ шаговъ на тридцать:— Пущай теперь!

Я пустилъ; онъ побѣжалъ еще дальше; змѣй взвился, своимъ мочальнымъ хвостомъ задѣвъ меня по носу. Эта потѣха, разумѣется, мнѣ понравилась; я завелъ свой собственный змѣй и сталъ имъ, въ сообществѣ, Алеши утѣшать себя отъ всяческихъ огорченій, въ родѣ тѣхъ, напримѣръ, которыя наносила мнѣ прямо въ сердце жестокосердая Юлинька.

Мало-по-малу я сошелся съ Алешей. Сначала—совѣстно вспомнить—я оглядывалъ его чуть ли не такъ же, какъ оглядывалъ меня въ Царскомъ Селѣ молоденькій графчикъ: — меня инстинктивно смущали его грязныя руки, его платье, похожее на коротенькій капотъ, его шапка, ни дать ни взять такая же, какъ у нашего Егорки, и, наконецъ, его грубое, нецеремонное со мной обращеніе. «Что стоишь?» «чего зѣваешь?» «ступай!» «стой!» «эхъ ты!» и т. п. Впрочемъ, въ этой грубости не было ничего обиднаго, я нисколько не сердился на этого мальчика; мнѣ только хотѣлось начать говорить съ нимъ точно также, какъ и ему со мной. Но сначала мнѣ это не удавалось; не скоро дошелъ я до того, что и самъ сталъ говорить ему: «чего зѣваешь? ну, поворачивайся!» или— «самъ ты чудище!» и т. д. На видъ онъ былъ невзраченъ, глядѣлъ карапузикомъ; но бѣгалъ, какъ волченокъ, и не было никакой возможности поймать его на бѣгу; онъ

оборачивался, присѣдалъ, дразнилъ меня языкомъ, визжалъ и изъ-подъ руки вывертывался такъ, что я изъ силъ выбивался, но никакими хитрыми изворотами не могъ схватить его.

Онъ былъ старше меня однимъ годомъ, но ниже меня; зато голова его была чуть ли не на вершокъ шире моей: лицо скуластое, глаза навыкатѣ, губы толстыя.—Разъ я засталъ его не въ духѣ.

— Что ты, Алеша?

— Меня обидѣли.

— Кто тебя обидѣлъ?

— Сашка Порской.

— Кто такой?

— Да вонъ, братъ мой Мишка дружитъ съ нимъ. Изъ академіи ночевать къ намъ приходитъ — такой-то зуда, что... Ишь, какъ хохочутъ!

Изъ сѣней въ это время дѣйствительно слышался чей-то молодой, звонкій хохотъ.

— Чѣмъ же онъ тебя обидѣлъ?

— Стихи на меня написалъ.

— Какіе стихи?

— А чортъ ихъ знаетъ, какіе. У! зубоскалы! Я вотъ у нихъ вырвалъ стихи-то—вооотъ они! во-отъ!

— Давай ихъ сюда.

И Алеша отдалъ мнѣ комокъ бумаги, который успѣлъ уже отсырѣть въ сжатомъ кулакѣ его. На этой бумажкѣ было написано:

«Ты правду говоришь, а можетъ быть и врешь,
Что губы ты свои вершками продаешь,
Напрасно дѣлаешь—напрасно губы тратишь:
Вершками продавать—большой убытокъ схватишь.»

— Это онъ про тебя? А?

— Про меня.

— Да ты ему также что-нибудь, какую-нибудь этакую штуку напиши.

— Я не умѣю,—отвѣчалъ Алеша, и легъ на землю, сперва брюхомъ и въ траву уткнулъ носъ свой, потомъ перевернулся на спину и сталъ съ отчаяньемъ глядѣть въ небо, покрытое дождевыми тучами.

— Ну, что ты валяешься! что ты, дуракъ, на сырой землѣ валяешься! послышался голосъ старшаго брата. Это былъ отрокъ, лѣтъ 18-ти, красивый собой, бѣлокурый и довольно плотный, въ сюртукѣ, но безъ жилета и безъ галстука. Онъ вышелъ къ намъ на лугъ, въ сопровожденіи друга своего Сашки Порскаго. Сразу можно было видѣть, что этотъ Сашка насмѣшникъ; такого умнаго, оживленнаго лица, какъ у этого Сашки, я никогда еще не видалъ; высокій лобъ, сѣрые, продолговатые глазки, носъ съ небольшой горбинкой, узенькій, но выдающійся подбородокъ, немножко искривленный ротъ—все говорило, что это такой зуда, такая шпилька, такой колокольчикъ, что коли начнетъ звенѣть, поневолѣ унесешь въ душѣ своей насмѣшливый и въ то же время какой-то игриво-заливающійся смѣхъ его.

«Ахъ, Алешка ты, Алешка!»

Началъ онъ нараспѣвъ, засунувши длинныя, худенькія руки свои въ карманы нанковыхъ, изжелта-пыльнаго цвѣта панталонъ и сокрушенно покачивая головой:

«Ахъ, Алешка ты, Алешка!
Хоть и ходишь ты въ капотѣ,
Ты ни дать, ни взять лукошко...»

Тутъ Сашка пріостановился и покрылъ смѣхомъ небольшую паузу:

«Ты ни дать, ни взять лукошко
Или просто—пень въ болотѣ!»

Обидчивость и даже злость Алеши очевидно потѣшала Сашку—и онъ въ этотъ день сдѣлалъ изъ него что-то въ родѣ пріятнѣйшаго препровожденія времени.

«Ахъ, Алешка ты, Алешка!«

сталъ повторять Сашка экспромтъ свой; но видно ужъ слишкомъ пронялъ онъ бѣднаго мальчика. Алеша вскочилъ на ноги и, преслѣдуемый звонкимъ хохотомъ, весь испачканный, побѣжалъ къ парку.

Я побѣжалъ за нимъ. За мной, выпячивая впередъ животъ свой и пуская по воздуху голубыя струйки дыма, пошелъ мой нѣмецъ.

Онъ кричалъ мнѣ:—He! Es ist Zeit nach Hause... he!...

— Что имъ я нынче дался? что они ко мнѣ пристаютъ, черти? жаловался Алеша, забравшись въ чащу и, какъ ёжъ, прижавшись къ дереву.

— Пойдемъ ко мнѣ—мы на нихъ также напишемъ...

— Пойдемъ.

Когда мы подходили къ нашей дачѣ, я боялся, чтобъ кто-нибудь изъ нашихъ не замѣтилъ моего новаго пріятеля. Чего добраго, какой-нибудь Семенъ принялъ бы его за уличнаго мальчишку и не позволилъ бы ему пройти ко мнѣ въ комнату. За моего нѣмца я не боялся: онъ смотрѣлъ на Алешу, какъ на родственника сантиментальной Луизы Карловны, къ тому же онъ отсталъ отъ насъ чуть ли не на цѣлую версту.

Когда Алеша вошелъ въ нашу маленькую залу, уставленную цвѣтами, онъ пріостановился и сталъ ее оглядывать; потомъ, молча и какъ бы сгорбившись, прошелъ ко мнѣ въ комнату—и ее сталъ оглядывать; потомъ сѣлъ на кончикъ кресла и насупился.

— Ну, будь веселѣе, голубчикъ, — сказалъ я ему и поцѣловалъ его.

— Да я выпачканъ, вытри меня пожалуйста—вишь, какъ я выпачканъ!

Я принялся его чистить, даже предложилъ ему мыло и умывальникъ.

Такъ началась наша дружеская короткость. Алеша

часа два или три пробылъ у меня въ комнатѣ, переглядѣлъ все, что только могъ переглядѣть; былъ очень радъ, когда я подарилъ ему тотъ клубокъ нитокъ, который берегъ я для своего собственнаго змѣя, предполагавшагося быть величины чудовищной. Воротившійся вслѣдъ за нами Фрейманъ поворчалъ на насъ за то, что мы вынули пробку изъ его чернильницы и съ мѣста на мѣсто переложили какую-то книгу съ его закладками.

Алеша забылъ о мщеніи; но я не забылъ своего обѣщанія — досталъ бумаги, карандашъ и сталъ сочинять... Думалъ, думалъ, что бы такое написать... и вытянулъ изъ головы своей слѣдующихъ два глупѣйшихъ стиха:

Зубы скалить очень можно,
Только очень осторожно.

На этомъ и окончилась моя первая попытка стихи писать. Видно, судьба не дала мнѣ дара насмѣшки. Смѣю думать, что и тотъ, кому случайно попадется на глаза моя рукопись и кто прослѣдитъ по ней исторію моего дѣтства, скажетъ то же самое, т. е. подтвердитъ, что не было во мнѣ никакихъ задатковъ ядовитаго остроумія.

Помню, въ этотъ самый день вечеромъ, когда, послѣ легкаго ужина, я помолился, раздѣлся и легъ, а мой Фрейманъ, облекшись въ халатъ, принялся продолжать безконечное письмо свое, я думалъ то о своихъ неудачныхъ стихахъ, то о Сашкѣ: фигурка его безпрестанно вертѣлась у меня въ глазахъ; она дразнила меня своимъ веселымъ смѣхомъ, и мнѣ ужасно хотѣлось съ нимъ познакомиться.

Послѣ пріятнаго для меня объясненія съ Юлинькой, я опять пошелъ къ Алешѣ. На этотъ разъ я былъ позванъ въ избу, и велъ себя въ ней такъ же, какъ и Алеша у насъ на дачѣ, то-есть все оглядывалъ и сидѣлъ на кончикѣ стула. Помню, какъ отецъ Алеши сталъ меня допрашивать, чей я сынъ? гдѣ служилъ мой покойный па-

пенька? какой у него чинъ былъ? и сколько душъ крестьянъ у моей матери? Всѣ эти простые вопросы, помню, ставили меня въ тупикъ гораздо болѣе, чѣмъ когда-то вопросы Логина о томъ, почему Нева течетъ въ море, а не изъ моря, —почему земля есть шаръ и тому подобное. Ни о чинѣ отца, ни о его службѣ, ни о количествѣ душъ и земли, находящейся въ нашихъ владѣніяхъ, я рѣшительно никогда не думалъ и никогда ни у кого не спрашивалъ. Отецъ Алеши вѣроятно принялъ меня за страшнаго гордеца, а я отмалчивался, потому что и самъ не зналъ, что мнѣ отвѣчать ему.

Оставшись наединѣ съ Алешей, я признался ему, какъ сильно люблю я одну особу, и что, если онъ хочетъ, я могу когда-нибудь показать ему мою красавицу. Но Алеша при этомъ оттопырилъ свои губы и, какъ мнѣ кажется, слушалъ меня такъ, какъ обыкновенно слушаютъ волшебныя сказки: и не возражаютъ, и не вѣрятъ; знаютъ, что вздоръ, что нѣтъ никакой волшебницы Кандиды и никакого ковра-самолета, а слушаютъ съ удовольствіемъ. Онъ выразилъ свое желаніе увидать мою красавицу именно такимъ тономъ, какимъ обыкновенно говорятъ: покажи мнѣ твоего чорта, въ полной увѣренности, что бояться нечего, потому что коли чортъ самъ самолично не явится, показать его нѣтъ никакой возможности.

Я смутно догадывался, что неудачнаго я выбралъ наперсника, и, дѣйствительно, между нами въ то время мало было общаго. Онъ едва-едва умѣлъ читать и писать порусски; во всю свою жизнь, до 11 лѣтъ, прочелъ только азбуку, нѣсколько басенъ Хемницера, да еще Карамзина Марѳу Посадницу, да и ту насильно его заставили прочитать, потому что ужъ больно скучно, говорилъ Алеша. По-нѣмецки онъ зналъ порядочно (мать его учила), по-французски же ничего иль очень мало. Память у него

была довольна тупа, и доставалось ему за это порядкомъ: били его въ школѣ, били дома. Всѣ эти невзгоды выносилъ онъ скрѣпя сердце; но, прощая старшимъ, никогда, ни малѣйшей обиды не прощалъ своимъ сверстникамъ; онъ бы и брата своего поколотилъ, еслибъ былъ увѣренъ, что сладитъ съ нимъ.

— Ты развѣ никогда не былъ влюбленъ? спросилъ я наконецъ Алешу.

— А ты развѣ былъ? спросилъ онъ меня въ свою очередь — и когда же! — послѣ того, какъ я цѣлый часъ описывалъ ему красоту моей Юлиньки и намекалъ ему, что я когда-нибудь женюсь на ней... Господи, Господи! какого безтолковаго друга отыскалъ я себѣ въ этомъ Павловскѣ!

Съ Сашей или Сашкой Порскимъ я такъ и не познакомился. Онъ все ходилъ съ Мишей, братомъ Алеши, и въ тотъ самый день, какъ я потомъ съ нимъ встрѣтился, онъ, точно также засунувъ руки въ карманы сѣровато-желтыхъ панталонъ своихъ, поглядѣлъ на меня съ кислой миной, насмѣшливая улыбка слегка покривила его губы, но онъ былъ не въ духѣ, ни съ кѣмъ не говорилъ, и глаза его были заплаканы. — Кто такъ смѣется, какъ смѣется Сашка, тотъ видно въ душѣ своей носитъ такой же неистощимый запасъ слезъ, какъ и смѣха.

Вотъ все, что могъ я вспомнить о моихъ знакомствахъ въ Павловскѣ; остается разсказать одно событіе, потому что, въ частной жизни человѣка, иногда появленіе новой личности — такое же событіе, какъ для государства прибытіе новаго посланника или для провинціи — пріѣздъ новаго губернатора. Разъ, проснувшись утромъ, я узналъ, что мать моя ночью отправилась въ Петербургъ. Я пошелъ искать Юлиньку, но не нашелъ ее ни на террассѣ, ни въ ея комнатѣ; мнѣ сказали, что она ушла гулять въ паркъ.

*

День былъ воскресный, стало быть, свободный отъ уроковъ. Фрейманъ, проснувшись и напившись кофе, опять принялся доканчивать свое безконечное посланіе въ Германію, къ какому-то профессору, своему другу. Онъ посылалъ ему цѣлыя тетради и, разумѣется, посылалъ понемногу, чтобъ не вдругъ платить на почту. Я сталъ подбивать его идти въ паркъ. Мнѣ хотѣлось какъ можно скорѣй поглядѣть на Юлиньку, какъ можно скорѣй разспросить ее, зачѣмъ уѣхала мать моя — зачѣмъ уѣхала, не простясь со мной, и неужели я не стою того, чтобъ со мной проститься?

— Иванъ Богдановичъ! Herr Фрейманъ! пойдемте, пожалуйста... Юлинька ушла одна — на нее могутъ пьяные напасть, мало ли какое можетъ случиться несчастіе! Что же вы ничего не говорите?

Нѣмецъ всталъ, вытеръ свое перо, заткнулъ чернилицу и закурилъ свою трубочку.

— Что-жъ вы ничего не говорите?

Нѣмецъ подошелъ къ зеркалу и сталъ повязывать галстухъ, стиснувъ зубами мундштучекъ своей коротенькой трубочки.

— Она счастлива,—проговорилъ онъ.

— Она? Кто она? Что ты, бредишь что ли! подумалъ я, и продолжалъ: — Ну да, да, да... Но развѣ не можетъ съ ней случиться какого-нибудь несчастія?

— О! несчастіе можетъ со всякимъ человѣкомъ случиться.

— У меня есть какое-то дурное предчувствіе: развѣ вы не вѣрите предчувствіямъ?

— О! какъ не вѣрить предчувствіямъ! Я, когда шелъ Наполеонъ, я имѣлъ большое предчувствіе.

— Пойдемте же искать Юлиньку. Мнѣ очень, очень нужно... Пойдемте!

— Гдѣ искать? Мы ее не найдемъ, дитя мое. Она мо-

лода, она хороша и, стало быть, счастлива! сказалъ онъ, подавляя вздохъ.

— Авось найдемъ. Я на всякій случай зонтикъ возьму — можетъ быть, дождь пойдетъ. Пойдемте!

Нѣмецъ, не торопясь уложилъ свое письмо, не торопясь, надѣлъ свой сѣрый сюртукъ и свою немножко помятую шляпу и, какъ будто я сталъ виноватъ, что заставляю ждать его, проговорилъ съ нетерпѣніемъ: — So wollen wir gehn!

Мы вышли и — встрѣтили Юлиньку около дворца. Она только что отошла отъ какого-то экипажа, который съ опущенными стеклами покатилъ во весь духъ по направленію къ Петербургу.

— Я отдала письмо, просила отвезти,—сказала она, шагая къ намъ навстрѣчу, продуваемая вѣтеркомъ и съ простывающимъ на лицѣ румянцемъ.

— Къ кому же это?

— Къ одной моей подругѣ,—смѣясь отвѣчала Юлинька.

— А ну, если его не отдадутъ, а прочтутъ?

— Ну, кто же станетъ читать! Не всѣ же такіе любопытные, какъ ты.

— А не знаете ли вы, зачѣмъ уѣхала мама въ Петербургъ? Ночью былъ дождь, а она уѣхала?

— Что за бѣда, что дождь. Ей не спалось; ну, и захотѣлось ей выспаться въ коляскѣ на свѣжемъ воздухѣ, ну, и поѣхала. Къ тому же изъ Москвы дядя твой пріѣхалъ, Левъ Маркычъ; ну вотъ, кстати утромъ и навѣститъ его.

— Дядя мой пріѣхалъ!

— Да, — помнишь, онъ года три тому назадъ пріѣзжалъ, еще привезъ тебѣ два тульскихъ пряника, пастилу, да еще что-то... не помню...

— А я помню—тотъ самый маленькій, стальной ящичекъ съ бархатной крышкой, который я вамъ подарилъ.

— А, это онъ привезъ? Ну, вотъ!

И я сталъ думать, что-то на этотъ разъ привезъ мнѣ мой дядюшка. Я въ то время едва зналъ его. Въ Петербургѣ онъ появлялся рѣдко и имѣлъ такое множество знакомыхъ, что заѣзжалъ къ моей матери на нѣсколько минутъ, спрашивалъ себѣ чашку чаю, выпивалъ ее, извинялся и уѣзжалъ. Это былъ щепетильный, чистенькій, вѣчно пріятно улыбающійся старичекъ съ претензіями на моложавость, съ наклонностью ухаживать за красивыми женщинами, причислявшій себя къ кругу самой высшей аристократіи и дорожившій пригласительными записочками отъ знатныхъ особъ. (Объ немъ я уже упоминалъ въ первой главѣ моего разсказа. Мы еще съ нимъ встрѣтимся и тогда успѣемъ покороче узнать его).

Итакъ, думалъ я, мама уѣхала, чтобъ повидаться съ моимъ дядюшкой.

Но прошелъ день, другой, третій — она не возвращалась. Мы всѣ, даже вѣчно спокойная Юлинька, были встревожены. У насъ на дачѣ вышли всѣ деньги, оставленныя на провизію нашему повару. Для чаю вдругъ недостало сахару, потому что мама, по разсѣянности, увезла съ собой въ карманѣ всѣ ключи, и въ томъ числѣ ключикъ отъ жестянки съ сахаромъ.

Мама воротилась къ намъ на дачу на четвертый или на пятый день къ вечеру; съ ней пріѣхалъ и Левъ Марковичъ. Увидавши меня, онъ сдѣлалъ мнѣ ручкой, то-есть поцѣловалъ кончики своихъ пальцевъ, и поглядѣлъ на меня съ тою же любезной улыбкой, которая никогда не сходила съ узенькихъ губъ его.

— Не правда ли, очень выросъ? сказала мать.

— И похожъ на васъ, моя милая,—сказалъ дядя.

— Онъ отчасти и на отца похожъ, замѣтила мать.

— Гм! промычалъ дядя, закусивши губы, и какъ бы

въ знакъ согласія наклоняя голову:—это пока еще неизвѣстно; я помню моего брата ребенкомъ—сходства нѣтъ.

— Не знаю—иные находятъ...

— Хе-хе-хе! иные; не смѣю спорить... но я не нахожу: и въ этомъ... въ этомъ я прошу васъ извинить меня, моя милая.

Мать моя поглядѣла на него съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ и спросила его, не хочетъ ли онъ съ дороги чаю.

— Хе-хе-хе! вы знаете, что я чай люблю и готовъ пить его десять разъ въ день. Когда хотите буду пить, особенно теперь—я усталъ, меня закачало... Когда-то, будетъ у насъ шоссе! Вы мнѣ дадите какой-нибудь уголокъ, чтобъ я могъ расположиться... Или, знаете что?—Отправьте-ка меня въ Царское Село—тамъ у меня есть одинъ пріятель, отставной камергеръ Сытинъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Петръ Петровичъ Сытинъ; я давно не видалъ его.

— Зачѣмъ вамъ къ Сытину? Я не пущу васъ; вы такой рѣдкій гость, Левъ Маркычъ,—сказала мать, но сказала безъ той обычной ласковости въ голосѣ, какая слышалась всегда, когда она о чемъ-нибудь кого-нибудь просила.

— Нѣтъ, ужъ вы, моя милая, позвольте мнѣ выпить у васъ чаю, отдохнуть и прикажите отвезти меня въ Царское—я тамъ и ночую.

Не дождавшись отъ моего дядюшки никакого подарка, я ушелъ, и ужъ не знаю, о чемъ онъ бесѣдовалъ съ моей матерью. Помню только, что часовъ въ 10 вечера дядя мой уѣхалъ въ Царское ночевать у своего превосходительнаго пріятеля, а въ часъ ночи неожиданно воротился ночевать у насъ (тамъ его вѣроятно не оставили). Помню, какую онъ поднялъ возню у насъ на дачѣ: опять ставили для него самоваръ, превращали диванъ въ по-

стель, уставляли ширмы и туалетный столикъ (безъ туалетнаго столика дядя мой не могъ провести ни одного утра). На другой день видѣлъ я его въ бархатной ермолкѣ и бархатныхъ сапожкахъ гуляющимъ по террасѣ. Онъ любезничалъ съ Юлинькой, разливающей чай, жаловался на скверный петербургскій климать и поджидалъ почтовыхъ лошадей.

Его ужасно безпокоила мысль опоздать въ Петербургъ. Если я не ошибаюсь, онъ обѣщалъ въ этотъ день обѣдать у графа Хвостова. Мать моя его не удерживала, не смотря на теплый, солнечный день—день, располагающій болѣе къ созерцанію природы, чѣмъ каменныхъ громадъ, настроенныхъ неугомоннымъ человѣчествомъ.

Въ концѣ августа и мы, въ одинъ холодный и дождливый день, покинули Павловскъ.

ГЛАВА XXI.

И вотъ я опять въ Петербургѣ. Въ сумерки я пошелъ въ мою дѣтскую, и показалось мнѣ, что я цѣлый годъ не былъ въ ней. Мысль, что въ этой комнатѣ все пойдетъ по-старому, такъ же какъ шло и до моего отъѣзда въ Павловскъ, невольно пришла мнѣ въ голову. Не знаю, что чувствуетъ жеребенокъ, когда его къ осени съ чистаго поля загоняютъ въ стойло; но если онъ въ то время что-нибудь чувствуетъ, то это жеребячье чувство въ этотъ вечеръ смутно отзывалось въ душѣ моей. Жеребенокъ не къ одной матери можетъ привыкнуть: онъ можетъ отчасти привыкнуть и къ тому кучеру, который приносилъ ему воду, чистилъ его стойло и скребницей водилъ по спинѣ его отъ гривы до хвоста. Не

найдя этого знакомаго ему кучера, очень можетъ быть, что такой жеребенокъ меланхолически понуритъ голову и лишнихъ разъ десять обернетъ свою морду, чтобъ посмотрѣть, не видать ли стараго кучера. Моя Аграфена конечно сильно бы обидѣлась, еслибъ я сравнилъ ее съ кучеромъ; но въ этотъ вечеръ я невольно замѣчалъ ея отсутствіе и скучалъ по ней, какъ жеребенокъ.

Когда мать моя изъ Павловска пріѣзжала въ Петербургъ, Аграфена явилась къ ней объявить, что ей открывается новое мѣсто въ няньки, и что врядъ ли она теперь будетъ нужна мнѣ, такъ-какъ она слышала о гувернерѣ. Очень можетъ быть, что Аграфена, догадываясь, что тайна ея разгласилась, хотѣла только испытать мать мою и рѣшилась заговорить съ ней, пустившись на такія соображенія: дескать станетъ ли барыня меня уговаривать остаться: коли станетъ уговаривать — останусь, коли нѣтъ — чортъ васъ возьми!

Мать моя не стала ее уговаривать; но дала ей денегъ, подарила ей свой старый лисій салопъ, какую-то шаль и еще что-то по части тряпокъ... Аграфенѣ очевидно не хотѣлось покинуть нашъ домъ; но, послѣ такихъ подарковъ, пришлось покинуть.

Логинъ въ наше отсутствіе просваталъ старшую дочь свою за какого-то часовщика, чухонца по происхожденію, нѣмца по фамиліи и русскаго по вѣроисповѣданію, человѣка довольно пожилого, но открывающаго на Офицерской улицѣ свой магазинъ и свою мастерскую, стало быть за человѣка не бѣднаго. Логинъ помолодѣлъ отъ такого счастія.

Константиновна сильно хворала: днемъ жаловалась на слѣпоту и старость, ночью стонала. Когда ей было самой не въ мочь пробраться въ спальню къ моей матери, она посылала кого-нибудь изъ женщинъ справляться, горитъ или ужъ догорѣла лампадка передъ ея завѣтнымъ обра-

зомъ, которымъ когда-то благословляли ея дитя, то-есть моего покойнаго родителя. Если узнавала, что въ лампадкѣ масло выгорѣло или свѣтильня вся вышла, больная приходила въ страшное безпокойство—посылала зажигать ее и при этомъ давала наставленія, гдѣ взять масло, сколько его налить, какъ вытереть поплавокъ и чѣмъ прочистить трубочку, въ которую вставляется свѣтильня. Однимъ словомъ, вся потухающая жизнь ея вращалась около нашей кіоты и того священнаго огня, который блюла она чуть ли не полвѣка, съ рвеніемъ древней весталки, боящейся за участь Рима.

Одна перемѣна въ домѣ всегда ведетъ къ разнымъ другимъ перемѣнамъ; что̀ было удобно при Аграфенѣ, оказалось неудобнымъ при Фрейманѣ. Уже не моя дѣтская, а библіотека стала моей классной комнатой. Въ самой дѣтской послѣдовала перестановка мебели, ибо не могъ же мой нѣмецъ спать на полу, подобно нянѣ, и для его кровати нужно было очистить мѣсто, также какъ и для письменнаго стола, ибо безъ кабинетнаго стола нѣмецъ немыслимъ, также какъ русскій купецъ немыслимъ безъ образа, украшеннаго золотой или серебряной ризою.

Одинъ изъ друзей моей матери проэкзаменовалъ меня кой въ чемъ, нашелъ во мнѣ огромныя способности и посовѣтовалъ матери моей готовить меня въ университетъ. У меня явились новые учители.

Всѣхъ памятнѣе мнѣ мой законоучитель, то-есть отецъ Алексѣй, который долженъ былъ замѣнить Глаголевскаго и заняться со мной латинскимъ языкомъ, всеобщей исторіей и россійской реторикой. Этотъ отецъ Алексѣй былъ не старъ и не молодъ, не малъ и не высокъ, худощавъ, блѣденъ и въ то же время здоровъ. На видъ онъ былъ тихъ, скроменъ и богобоязненъ; но въ глубинѣ души своей — желѣзо прокаленное. Онъ заставлялъ меня въ

классѣ сидѣть на-вытяжку, и всякій разъ снималъ со стола мой локоть, когда я облокачивался; онъ большое обращалъ вниманіе на то, какъ держу я перо и какъ лежитъ передо мной тетрадь, прямо или косо, и на сколько косо; мои учебники онъ берегъ, какъ свою собственность и не позволялъ мнѣ въ нихъ отмѣчать уроковъ, ни карандашемъ, ни ногтемъ. — Я укажу вамъ, — говорилъ онъ,— укажу вамъ: *вотъ до сихъ поръ*, и не забуду, и вы помните,—вы должны это помнить, ибо о чемъ же вамъ теперь и думать, какъ не объ урокѣ, и для этого Господь Богъ далъ вамъ память, а не ногти.

— А на что мнѣ даны ногти?

— Оставьте ихъ въ покоѣ и не заводите пустыхъ разговоровъ: я вижу, что вы любите вдаваться въ суетное празднословіе.

И все это говорилъ онъ слабенькимъ, жиденькимъ голоскомъ; и бородка у него была жиденькая; но взглядъ стальной — и я рѣшительно не смѣлъ спорить съ нимъ. Къ тому же я воображалъ, что пойду къ нему на исповѣдь и старался не слишкомъ-то обнаруживать при немъ мои грѣховные помыслы.

Онъ заставлялъ меня зубрить латинскую прозу, зубрить тексты и примѣры изъ реторики Кошанскаго. Слава Богу, память меня выручала, и онъ былъ доволенъ мной, уходя благословлялъ и удалялся такъ тихо, что, казалось, весь онъ состоитъ изъ своей широкой шелковой рясы и только шелеститъ, не производя никакого ни стука, ни шума.

Десартъ по-прежнему сталъ учить меня по-французски и также кричать на меня. Фрейманъ — по-нѣмецки.

Разъ, въ концѣ октября, гуляя съ Фрейманомъ, я шелъ по Галерной и почувствовалъ, что кто-то сзади схватилъ меня за плечо; я вздрогнулъ, оглянулся, — вижу — Глаголевскій.

— Ну что, мальчикъ... здоровъ теперь? спросилъ онъ меня, осклабя лицо свое. А?

Я и сконфузился, и обрадовался.

— Можно мнѣ къ вамъ прійти? Я долженъ еще матушку вашу поблагодарить за письмо; много оно мнѣ помогло... по гробъ благодаренъ... А что, кабы вы ко мнѣ зашли — вотъ я тутъ живу...

— Гдѣ?

— Вотъ тутъ, на этой самой улицѣ, и Глаголевскій, не смотря на близость дома, имъ обитаемаго, протянулъ свой указательный палецъ по направленію къ подъѣзду.

— Зайдемте, Иванъ Богдановичъ; это мой бывшій учитель.

Моему Фрейману было рѣшительно все равно, заходить или не заходить: на это онъ былъ у меня хорошъ. Удивительно флегматично относился онъ къ явленіямъ обыденной жизни, некасающимся ни его трубки, ни его письменнаго стола, ни его кофейника. Изъ этого я заключаю, что врядъ ли предчувствовалъ онъ нашествіе Наполеона и проч.

Мы поднялись на третій этажъ, попали въ корридоръ и потомъ отворили дверь направо.

У Глаголевскаго, на этотъ разъ, была уже не одна, а двѣ комнаты, и кухня была въ сторонѣ, но мебель была не лучше. Я нашелъ тотъ же клеенчатый диванъ и тотъ же покоробленный столъ, подъ той же скатертью; зато на окнахъ были ситцевыя веселенькія занавѣски; на постели подушки были бѣлыя, а не пестрыя, халатъ былъ новый, бухарскій; на столѣ лежала кипа канцелярскихъ бумагъ, и возлѣ чернилицы стоялъ футляръ для часовъ; другой футляръ, въ видѣ бисернаго башмака, висѣлъ у его постели; видно было, что не только онъ самъ, но и серебряные, десятирублевые часы его попали въ

милость и начинаютъ благоденствовать. Ясно было и безъ словъ, что Глаголевскій сумѣлъ побороть враговъ и получилъ званіе столоначальника.

— А позвать Аграфену? спросилъ меня Глаголевскій, прищуря лѣвый глазъ и потирая руки.

— Какъ! развѣ она здѣсь? пробормоталъ я съ недоумѣніемъ и даже съ нѣкоторымъ стыдомъ за мою нянюшку.

— Она у меня въ кухнѣ. А чѣмъ мнѣ васъ попотчивать?.. Не хочетъ ли вашъ нѣмецъ водочки хлебнуть? У меня все есть—и водка, и сыръ, и ветчина, и балыкъ, и все, что нужно на потребу — все, что нужно!

— Гдѣ же Аграфена? Можно мнѣ — я пойду къ ней въ кухню? спрашивалъ я его, съ нерѣшительностью въ голосѣ, какъ бы не вѣря въ возможность такого близкаго свиданья съ моей нянюшкой.

— Хорошо, ступайте, — проговорилъ онъ, мигнувши однимъ глазомъ, и изъ первой комнаты указалъ мнѣ на дверь во второй комнатѣ. Эта вторая комната была угловая, такъ что вся его квартира съ кухней съ двухъ сторонъ замыкала корридоръ и имѣла два входа — прямо изъ корридора и черезъ кухню. Я почему-то медлилъ и былъ свидѣтелемъ, какъ Глаголевскій угощалъ моего нѣмца. На маленькомъ подносѣ преподнесъ онъ ему рюмку и штофъ очищенной.

Фрейманъ взялъ штофъ, посмотрѣлъ его на свѣтъ, встряхнулъ, опять посмотрѣлъ на свѣтъ, и обратно поставилъ его на подносъ, къ немалому удивленіи Глаголевскаго.

— Я пивъ пиль—водка не пиль, произнесъ мой Фрейманъ сперва по-русски, потомъ по-нѣмецки, чтобъ я могъ передать Глаголевскому мысль его, на случай, если онъ по-русски выразился не совсѣмъ правильно.

— Пива? Сейчасъ! подхватилъ Глаголевскій какъ бы въ лирическомъ восторгѣ:—Сейчасъ и пиво будетъ!

Онъ вышелъ, пошептался съ кѣмъ-то въ корридорѣ и, воротившись, сталъ передъ Фрейманомъ очищать мѣсто для стакана и бутылокъ. Пока все это происходило, я надумался, пошелъ въ кухню и засталъ мою бывшую нянюшку развѣшивающею по веревкамъ сырое, вымытое бѣлье достопочтеннаго Глаголевскаго, также какъ когда-то, лѣтъ девять тому назадъ, она развѣшивала и сушила бѣлье ребенка, только-что отнятаго отъ кормилицы, то-есть мое бѣлье. Сильно зардѣлось широкощекое лицо Аграфены; она всплеснула руками и что-то уронила на полъ, лишь только, опустивъ глаза, увидала мою физіономію.

— Ай! батюшки мои! какими судьбами? Милый ты мой кавалеръ! Вотъ поди ты! Чего не ждала, не гадала!...

Но Аграфена сначала вытерла себѣ руки сухимъ полотенцемъ, потомъ уже принялась обнимать и цѣловать меня, причемъ, разумѣется, прослезилась.

Не стану передавать всей нашей болтовни, скажу только, что Аграфена увѣрила меня, будто она нанялась къ Глаголевскому смотрѣть за его хозяйствомъ, что она не кухарка (кухарки дома нѣтъ), но экономка, а потому и сидитъ все больше дома.—Что дѣлать! говорила она,—выходило мѣсто няньки, да какъ поглядѣла я, такъ головушка у меня отъ одного дѣтскаго крика закружилась:—шутка ли, за тремя пострѣлятами глядѣть, да еще за такую цѣну, что и на башмаки не хватитъ! Да лучше мнѣ своихъ дѣтей нажить, чѣмъ за такую цѣну! Ну... думала-думала—ну, что будетъ, говорю, поживу съ нимъ, коли онъ не безпутный человѣкъ, а безпутный, ну и чортъ его побери совсѣмъ! Земля-то не клиномъ сошлась... Ну что Юлія Антоновна? продолжала она:—Вспоминаю я ее... дай ей Богъ здоровья. Столько времени жили-жили вмѣ-

стѣ, хоть бы словечкомъ какимъ обидѣла! нѣтъ!... Эдакая уродилась безподобная барышня! Ты смотри, молодецъ, не говори, что ты меня видѣлъ здѣсь, ну ихъ! Логинъ-то вашъ, старая морда, немало на меня сплетничалъ... а намедни встрѣтился, зоветъ на свадьбу. Пойду я!... чего я не видѣла?... эка невидаль!...

Такъ говорила Аграфена, а между тѣмъ время шло, Фрейманъ успѣлъ уже вытянуть два стакана пива и стосковался по своей трубкѣ; трубки же, предложенной Глаголевскимъ, даже и въ руки не взялъ. Глаголевскій, видя полную невозможность ни разговориться, ни сговориться съ нимъ, пришелъ къ намъ въ кухню съ тарелкой мятныхъ пряниковъ, и няня принялась ими набивать мои карманы, къ моему немалому удовольствію. Скоро однакожъ Фрейманъ позвалъ меня, и мы отправились съ нимъ домой къ обѣду. Глаголевскій проводилъ меня до самой Сенатской площади. Зданіе теперешняго синода и сената тогда только-что воздвигалось, было заставлено лѣсами и широко огорожено деревяннымъ заборомъ. И сколько мнѣ помнится, вмѣсто теперешняго бульвара, вокругъ адмиралтейства шла канава, окруженная невысокими, похожими на прутья деревьями, тогда-какъ на Невскомъ проспектѣ росли деревья не ниже тѣхъ, которыя растутъ на теперешнихъ бульварахъ. О! какъ бы они были теперь высоки и зелены, нѣмые свидѣтели моего дѣтства! Но ими давно уже истопили казарму, и неуловимый дымъ ихъ давно уже осѣлъ на чьи-нибудь сердца неизъяснимой горечью.

Все измѣняется незамѣтно—что измѣняется само собой, безъ всякаго участія внѣшней силы, физической или нравственной. Юлинька же съ іюля по ноябрь такъ измѣнилась, что стало трудно мнѣ понимать ее даже теперь, при всемъ моемъ желаніи осмыслить всякую перемѣну въ ея характерѣ. Ея минутная, мечтательная задумчи-

вость превратилась въ постоянную, прерываемую неожиданными проблесками живости и рѣзвости, ей несвойственной. Оттого ли, что она уже стала смотрѣть на меня, какъ на совершеннаго ребенка; оттого ли, что поняла, что мое сердце не всегда спокойно въ ея присутствіи, или оттого, что молодая кровь бродила въ ней,— она стала злоупотреблять своимъ на меня вліяніемъ, то-есть приказывала мнѣ цѣловать себя, любовалась моимъ смущеніемъ, и не постигая, что̀ со мной, обнимала мою голову и крѣпко прижимала ее къ своей груди. Я чувствовалъ жаръ ея щекъ, слышалъ, какъ билось сердце у этой дѣвушки, а она говорила мнѣ:—Охъ ты, милый мой мальчикъ! какая я буду старуха, когда ты выростешь!... А потомъ, успокоившись, проповѣдовала мнѣ католицизмъ, съ глубочайшимъ убѣжденіемъ, что безъ благословенія па̀пы я никогда не встрѣчу ее на небѣ, и что еслибъ мы встрѣтились на небѣ, мы бы цѣлую вѣчность провели вмѣстѣ, наслаждаясь такой любовью, о которой люди имѣютъ самое слабое, самое смутное понятіе. Затѣмъ она опять становилась холодна и по цѣлымъ днямъ не обращала на меня почти никакого вниманія.

Знакомство съ Зизи и *особенное* умѣнье патеровъ исповѣдывать молодыхъ дѣвушекъ, какъ видно, въ это время уже приносило плоды свои. Сладкорѣчивый, вкрадчивый исповѣдникъ вліялъ на ея чувственность, чувственность въ свою очередь толкала ее на раскаянье и на осужденіе своихъ сокровенныхъ помысловъ, а это еженедѣльно тянуло ее на исповѣдь. Въ заколдованный кругъ попала бѣдная Юлинька. Почему я такъ смѣло записываю мою догадку—объяснится впослѣдствіи.

Итакъ, чистая Юлинька, быть можетъ, безсознательно стала возбуждать меня уже не къ младенческимъ, а отроческимъ помысламъ. Я съ ужасомъ начиналъ ихъ сознаватьвъ себѣ, приписывалъ ихъ демонскому искушенію,

молился по ночамъ, грустилъ, забывалъ свои уроки, получалъ выговоры, выслушивалъ пастырскія наставленія отца Алексѣя, убѣжденнаго, что мнѣ и думать больше не о чемъ, какъ только объ урокахъ, — казался иногда тупымъ, мечталъ о томъ, встрѣчу ли я Юлиньку въ коридорѣ, и что будетъ, если я вдругъ обниму ее, потомъ опять молился до того, что приводилъ въ ворчливое недоумѣніе моего Фреймана; однимъ словомъ, я и самъ иногда не зналъ, что со мной дѣлается. Между тѣмъ, Юлинька все чаще и чаще стала уходить изъ дома и, по цѣлымъ днямъ и ночамъ, проводить время у княгини Малыгиной. Мать моя то хворала, то писала письма, то принимала гостей, то выѣзжала въ театръ и, какъ теперь помню, 6-го ноября, въ первый разъ въ моей жизни, повезла меня смотрѣть какой-то балетъ. Сильное онъ произвелъ на меня впечатлѣніе! Всю-то ночь грезилась мнѣ Юлинька, въ фантастическомъ костюмѣ: полунагая, дѣлала она какіе-то удивительные пируэты, словно летала передо мной по воздуху... а я то ловилъ ее и леталъ по воздуху, то она ловила меня—и назадъ закидывала голову, когда я обнималъ ее... Но въ ложѣ сидѣлъ Равининъ и направлялъ на насъ свой бинокль, и говорилъ кому-то на ухо, тихо, но такъ, что я не могъ не разслышать этого шепота: «велите-ка за кулисами приготовить пучекъ хорошихъ розогъ». Я глядѣлъ за кулисы и видѣлъ — какіе-то страшные, краснаго цвѣта черти ставятъ скамейку и собираются сѣчь меня...

Помню, я проснулся въ душной темнотѣ и сталъ прислушиваться къ вою вѣтра, какъ бы къ вою и стону бѣсовъ, врывающихся въ комнату, то сквозь трубу и вьюшки, то сквозь щели неплотно притворенной форточки. Вдругъ, въ воздухѣ, какъ будто кто тяжелымъ бревномъ ударилъ подъ каменнымъ сводомъ въ деревянныя ворота, раздался пушечный выстрѣлъ.

Я сталъ думать, что, вѣроятно, поднялась вода въ Невѣ, потому что и съ вечера былъ сильный вѣтеръ. Когда везли меня изъ театра, я видѣлъ сквозь каретныя стекла, какъ дрожали и жмурились огоньки въ фонаряхъ и какъ задувало ихъ. Я тогда не думалъ ни о вѣтрѣ, ни о фонаряхъ; но впечатлѣніе, какъ видно, осталось и припомнилось. Потомъ я сталъ думать о томъ, почему Юлинька отказалась ѣхать въ театръ, куда ушла? и воротилась ли, или осталась ночевать у Зизи? и если она ночуетъ у Зизи, думаетъ ли она обо мнѣ? и что значатъ слова Юлиньки: «я буду молиться о томъ, чтобъ Богъ просвѣтилъ тебя и привелъ тебя къ пониманію истинной религіи.» Неужели ей не шутя хочется, чтобъ я сдѣлался католикомъ!...

Новый выстрѣлъ — и при этомъ какъ будто что-то покатилось по сосѣдней желѣзной кровлѣ. Свистъ и отчаянное завыванье вѣтра покрыли собой шумъ и стукъ чего-то падающаго, и ужъ не знаю, упавшаго ли куда-нибудь, или унесеннаго вѣтромъ. Опять брякнула печная вьюшка, и что-то зашевелилось въ самой комнатѣ. На меня напалъ ужасъ, и я рѣшился разбудить моего Фреймана.

— Ei, was ist das?... что такое?

— Слышите!

— Что?

— Я не знаю, что... ужасный вѣтеръ, я еще никогда не слышалъ, чтобъ такъ страшно выло. Я боюсь, mein lieber Herr Freimann!

Фрейманъ сталъ уговаривать меня и ворчалъ. Опять раздался выстрѣлъ такъ, какъ будто кто толкнулъ въ оконную раму, и она глухо звякнула.

Фрейманъ пошарилъ вокругъ себя, досталъ огниво и трутъ, высѣкъ огонь, приложилъ сѣрную лучинку къ зажженному труту и уже потомъ зажегъ свѣчку. (Буди благословенъ изобрѣтатель фосфорныхъ спичекъ!...)

Оба мы вышли изъ мрака и оба очутились стоящими на полу въ однѣхъ рубашкахъ.

— Ну что? спросилъ меня Фрейманъ, разинувъ ротъ, да такъ и остался съ вопросительнымъ выраженіемъ на сонномъ лицѣ.

— Стрѣляютъ,—отвѣчалъ я, не зная, что сказать. (Не сказать же, въ самомъ дѣлѣ, что чертовщина полѣзла мнѣ въ голову).

— А?! стрѣляютъ?! зачѣмъ стрѣляютъ?...

— Вѣрно вода въ Невѣ поднялась.

— Ну... что жъ вы?... трусъ! знаете, почему стрѣляютъ, и будите... Что такое? Ничего нѣтъ такого особеннаго. Вѣтеръ воетъ... онъ всегда воетъ—и пусть его воетъ! Какое намъ до него дѣло? Ну, въ постель! ложитесь... трусъ!... Нѣмецъ поглядѣлъ на часы—былъ уже четвертый часъ утра—легъ, накрылся байковымъ одѣяломъ и задулъ свѣчу.

Я также легъ, но страхъ мой совершенно прошелъ, какъ будто на минуту зажженная свѣчка и человѣческій голосъ могутъ разсѣевать его, какъ бы по волшебному мановенію; я же слышалъ, что Фрейманъ не спитъ, о чемъ-то вздыхаетъ и, вѣроятно, также прислушивается къ заунывному и на всѣ лады и тоны переливающемуся завыванью бури; и сталъ я дремать, подъ отдаленные выстрѣлы, повторяющіеся каждыя пять минутъ, и заснулъ, мечтая о балетѣ и о той танцовщицѣ, которая такъ плѣнила мое воображеніе. А въ это время умирала Константиновна, и въ цѣломъ домѣ никто не зналъ, какъ она отходитъ,—какія крылья, сквозь эту бурю, несутъ ея грѣшную душу—и куда несутъ?...

ГЛАВА XXII.

На другой день (7 ноября) почему-то я проснулся поздно (т. е. около 9 часовъ), и Фрейманъ, хотя и всталъ, почему-то не разбудилъ меня. На его столѣ горѣла свѣча, пасмурное утро глядѣло въ окна; вѣтеръ вылъ и гудѣлъ; но ни онъ, ни я не обращали уже на него ни малѣйшаго вниманія. Суетливость дня, одѣванье, умыванье, протверживанье латинскаго урока, словомъ, шорохи проснувшейся жизни заглушали порывистые вопли бури и спасительные выстрѣлы.

Я вышелъ въ столовую и у чайнаго столика засталъ Аксюту, замѣтно неуспѣвшую еще причесать своихъ волосъ.

— Юлиньки нѣтъ? спросилъ я.

— Нѣтъ.

— А мама встала?

— Нѣтъ, еще не встала.

— Ну, налей мнѣ чаю.

— А бабушка Контстантиновна приказала долго жить.

— Какъ?!.. — Я посмотрѣлъ на Аксюту — она посмотрѣла на меня.

— Да такъ, отдала Богу душу, да и все тутъ. Что вы, не вѣрите?

Видно Аксюта по глазамъ моимъ прочла, что мнѣ какъ-то не вѣрилось. Умерла бабушка Константиновна! странно какъ! (мнѣ это казалось страннымъ!) умерла, и я этого не зналъ!... Я перекрестился—мнѣ стало жаль старухи Константиновны, а почему жаль,—и самъ не знаю.

Кое-какъ допилъ я чашку чаю и пошелъ смотрѣть на покойницу. Въ семь часовъ утра ее обмывали и теперь, уже одѣтая (такъ какъ сама когда-то одѣвалась

она въ свѣтлый праздникъ или въ причастный день), лежала она въ просторной дѣвичьей на столѣ, въ бѣломъ капотѣ, въ бѣломъ чепцѣ съ оборками и покрытая бѣлой простыней. Лицо старухи, блѣдно свинцовое, неподвижное, съ выраженіемъ какого-то мертваго благоговѣнія, съ ввалившимися губами и двумя пятаками на закрытыхъ глазахъ, не могло не поразить меня: мнѣ было какъ-то жутко смотрѣть. Въ первый разъ я видѣлъ жертву смерти, то-есть бездушный трупъ, крестился и глядѣлъ на него издали.

Въ дѣвичьей были однѣ только женщины—наши и чужія. Передъ образомъ горѣли восковыя свѣчи, толки происходили полушепотомъ—толковали о томъ, въ которомъ это часу—съ вечера или подъ утро умерла Константиновна; однѣ доказывали, что съ вечера, другія увѣряли, что всегда умираютъ подъ утро, и приводили примѣры; потомъ спорили; между прочимъ, жаловались на погоду, и что въ экую бурю, въ экое ненастье, привелъ ей Богъ умереть; разспрашивали, давно ли покойница причащалась. Оказалось недавно, а именно, около Покрова, когда почувствовала, что ее что-то душитъ. — Ну, вотъ и задушило... ужъ это всегда такъ! Сперва смерть-то у дверей стоитъ, потомъ за кроватью стоитъ, а потомъ ужъ и душитъ...—замѣтила какая-то сердобольная старушка въ зеленомъ платкѣ, должно быть, одна изъ обитательницъ верхняго этажа.

Съ задняго крыльца отворилась дверь, и вошелъ Семенъ, блѣдный и растрепанный. — Шапку унесло — не поймалъ, — сказалъ онъ, слегка задыхаясь: — Эдакая-то буря, что — и Господи! такъ и рветъ!

— Ну, что же попъ-то? Дьячка-то хоть нашелъ ли, обратились къ нему съ разспросами.

Но, никому не отвѣчая, даже не замѣчая моего при-

сутствія, Семенъ сѣлъ на лавку, снялъ сапоги и сталъ выливать изъ нихъ воду.

Не успѣла старушка въ зеленомъ платкѣ обидѣться, какъ въ окошкѣ звякнуло стекло, какъ будто кто-нибудь вышибъ его ударомъ камня; ворвался вѣтеръ, загудѣлъ и поднялъ край простыни, которая прикрывала покойницу. Заволновались складки, зашевелились оборки чепца вокругъ мертвой головы, какъ будто вдругъ она ожила; у образовъ погасли свѣчи... Всѣ стали креститься; я поблѣднѣлъ и невольно попятился. Не успѣли стекла заложить подушкой, не успѣли опять затеплить восковыя свѣчи и поправить саванъ, какъ на дворѣ раздался крикъ, а за дверями, на задней лѣстницѣ, послышались пискливые голоса, какіе-то странные взвизги и вздохи.

Съ шумомъ расхлобыснулась дверь, вбѣжали Логинъ, жена его, дочери и въ числѣ ихъ невѣста, блѣдная, какъ смерть, и въ бѣломъ, бальномъ платьѣ.

Бѣдная дѣвушка! въ это утро примѣряла она свое подвѣнечное платье (въ ожиданіи портнихи, которая заносила его съ вечера, съ тѣмъ, чтобъ придти за нимъ поутру), и не успѣла снять она это платье, какъ вдругъ въ комнатѣ ихъ сдѣлалось совершенно темно; въ окна, выходящія на тротуаръ, плеснули волны; сквозь выбитыя стекла, съ ревомъ и пѣной, опрокидывая горшки и банки, полилась вода и быстрыми потоками стала заливать ихъ подвальную горницу. Едва-едва успѣли они, по колѣно въ водѣ, выскочить въ нижнія сѣни, взбѣжать на лѣстницу и съ лицами, искаженными ужасомъ, мокрые, растрепанные, появились въ нашей дѣвичьей, передъ лицомъ ничѣмъ уже невозмутимой покойницы. Всѣ ахнули—одна Константиновна не обратила на ихъ испугъ ни малѣйшаго вниманія. Что же касается до меня — я бросился бѣжать сначала въ библіотеку, потомъ въ залу, потомъ въ мою комнату: увидѣвши Фреймана, закричалъ:

«мы тонемъ!» и не дождавшись отвѣта, бросился будить мать мою.

Но я засталъ ее уже въ гостиной, только-что вставшей съ постели. Въ одной кофтѣ и ночномъ чепцѣ, она стояла у окна, была блѣдна и какъ будто не вѣрила собственнымъ глазамъ своимъ.

— Мама, что это?... что съ нами будетъ?...

— Развѣ ты слѣпъ? Видишь, наводненіе... — сказала мать.—Будемъ пока смотрѣть... Больше намъ нечего дѣлать...

— Мы не утонемъ, мама?

— Авось, Богъ милостивъ, не утонемъ,—и слеза покатилась у ней по щекѣ.—А вонъ, добавила она, этотъ мужичекъ—вонъ, видишь,—коли не удержится—потонетъ...

— Гдѣ, мама?

И я сталъ смотрѣть въ окно. Ни улицъ, ни Мойки не было. Все было покрыто свинцовыми волнами—рѣки не рѣки, озера не озера,—не знаю, какъ и назвать эту поверхность бушующей стихіи, эти волны, съ несущимися по нимъ обломками, со всѣхъ сторонъ охватившія городскія зданія. Чугунныя рѣшетки набережной изрѣдка еще мелькали между углубленій, образуемыхъ на водѣ порывами крутившагося вихря; наконецъ и онѣ мелькать перестали. По ту сторону канала я увидѣлъ человѣка, обхватившаго руками деревянный фонарный столбъ. Столбъ этотъ покачнулся и, казалось, падалъ, а онъ висѣлъ спиной къ волнамъ, съ руками около разбитаго фонаря. Онъ былъ безъ шапки; но, судя по движенію головы его, не терялъ еще присутствія духа, и высматривалъ: нѣтъ ли откуда-нибудь спасенія. Вдругъ на фонарный столбъ надвинулась бокомъ какая-то полуразбитая барка; вокругъ этой барки неслись дрова и расплывались во всѣ стороны; фонарь не вынесъ и клюнулся въ воду; но мужикъ, уцѣпившись за корму, вскочилъ на барку, побѣжалъ, поднялъ

какое-то бревно и остановился. Барка поплыла дальше, мы стали слѣдить за ней: вотъ пронеслась она мимо кареты, которой кузовъ торчалъ изъ воды, безъ кучера на козлахъ; вотъ, чуть-чуть не задѣвъ кареты, она ударилась въ уголъ дома, пріостановилась и начала тонуть... Мужикъ, къ немалому утѣшенію моей матери, воспользовался вывѣской, вскарабкался сперва на нее, а потомъ на желѣзной навѣсъ, прикрывающій спускъ въ какой-то винный погребъ.

Далѣе шла улица и, въ перспективѣ, была видна отъ насъ; но что тамъ происходило, трудно было понять. Все было какъ бы въ туманѣ. Небо было покрыто сплошными темными тучами; воздухъ шумѣлъ; но дождя не было; не его ли капли буря дробила въ мельчайшую водяную пыль, и эта пыль неслась по городу.

Я видѣлъ, какъ эта буря заворачивала желѣзные листы на кровляхъ, и живо помню, какъ слетѣлъ съ одной трубы вѣтроуказатель, изображающій дракона съ разинутой пастью; помню, какъ онъ покатился, сдѣлалъ нѣсколько зигзаговъ и пріостановился въ водосточной трубѣ, прежде чѣмъ слетѣлъ на улицу. Однимъ словомъ, не даромъ была блѣдна мать, не даромъ я дрожалъ: зрѣлище было захватывающее духъ, потрясающее зрѣлище!

Событія выходили изъ ряда обыкновенныхъ, и все, что окружало насъ, все стало необыкновенно: обычное теченіе жизни измѣнилось и измѣнило людскія отношенія.

Зала наша, какъ трактиръ или постоялый дворъ, стала наполняться людьми, намъ совершенно незнакомыми. Иные забѣжали прямо съ улицы, не спрашивая, кто мы, и не говоря намъ, кто они. Иные знали нашихъ людей и перебрались къ намъ изъ нижняго этажа, съ своими чадами и домочадцами, съ мокрыми узлами, сундуками и подушками.

Мать моя почувствовала ознобъ и пошла одѣться. Я

вышелъ въ залу. Тутъ была налицо почти вся наша дворня, кромѣ горничной Аксюты, повара и кучера.

Въ дѣвичьей были также чужіе люди; но мысль о томъ, что насъ могутъ обокрасть, никому не приходила въ голову, и очень понятно, почему она не приходила: можно было украсть, но съ украденнымъ бѣжать было некуда.

Логинъ былъ въ залѣ и стоялъ спиной къ печкѣ, скрестивши на животѣ пальцы рукъ и понуривъ голову. Онъ былъ похожъ на приговореннаго къ смерти, и глядѣлъ такъ, какъ будто наступаетъ страшный судъ. Жена его сидѣла на стулѣ въ какомъ-то полузабытьѣ: очки криво сидѣли на носу ея, глаза были закрыты; иногда, когда вой вѣтра или стукъ падающихъ кирпичей, оторванныхъ отъ какой-нибудь трубы и покатившихся по желѣзной кровлѣ, заставлялъ ее вздрагивать, она испуганно глядѣла въ окно и крестилась. Къ худенькому плечу ея прилегало обнаженное, молодое плечо ея дочери-невѣсты, и такъ странно было видѣть на ней въ эту минуту подвѣнечное платье, съ открытымъ воротомъ, съ полуразстегнутымъ лифомъ и мокрымъ подоломъ: она была въ папильоткахъ и плакала. Сестры ея также были въ слезахъ, но не плакали. Егорка стоялъ на окнѣ. Семенъ оглядывалъ страшно затоптанный и мѣстами мокрый полъ, безпрестанно уходилъ въ переднюю, на всѣхъ косился; но не смѣлъ никого гнать, потому что гнать можно было только въ воду и никуда больше...

Теперь о незнакомцахъ. Пропускаю тѣхъ, которые ночью ушли къ себѣ внизъ, зажгли фонари, стали отливать воду и приводить въ порядокъ свои вещи, скажу только о тѣхъ, которые, волей-неволей, должны были остаться ночевать у насъ. Между ними только трое особенно какъ-то рельефно сохранились въ моей памяти, а именно: сѣденькій приказный, въ поношенномъ вицъ-мун-

дирѣ, въ шинели съ подкладкой, изъ-за которой выглядывала вата, и съ портфелемъ подъ мышкой; онъ велъ себя философомъ и говорилъ: «вотъ поглядите, черезъ десять минутъ все это опять сольетъ, и все придетъ въ надлежащій порядокъ; только подвалы да погребки пострадаютъ; вотъ поглядите!» Тутъ онъ вынималъ серебряные часы свои, похожіе на луковицу, и всѣмъ указывалъ на стрѣлку: — черезъ десять минутъ все пройдетъ—и его превосходительство непремѣнно пріѣдетъ въ департаментъ; ибо не было еще примѣра, чтобъ его превосходительство не пріѣхалъ въ нашъ департаментъ.

Другой былъ купчикъ, остриженный въ кружокъ. Скрипя своими сапожками, онъ ходилъ отъ окна къ окну, останавливался, что-то высчитывалъ, загибая пальцы, то одинъ, то другой, и потомъ, поднимая руки, голосилъ: «Мать Пресвятая Богородица! что же это будетъ! Вѣдь это банкрутствомъ пахнетъ... это... помилуйте-съ!... Если это такъ продолжится-съ—это вѣдь все снесетъ-съ, все, какъ есть. Товаръ на биржѣ — на открытомъ мѣстѣ... Ничего не подѣлаешь... Чтожъ это будетъ-съ!...» Но никто не отвѣчалъ ему. Купецъ поглядывалъ въ окна и опять принимался ходить, поскрипывая своими сапожками. Наводненіе застало его подъ навѣсомъ нашего крыльца, и онъ успѣлъ взбѣжать на лѣстницу, прежде чѣмъ волна докатилась до ногъ его.

Третій, напротивъ, былъ явно въ водѣ чуть не по поясъ: суконные шаровары его облипали вокругъ сухощавыхъ ногъ, даже поношенный синій плащъ его былъ снизу подмоченъ и висѣлъ, живописно закинутый на одно плечо. Это былъ еще молодой человѣкъ лѣтъ двадцати семи, средняго роста, сухой, смуглый, съ греческими чертами лица, истомленными, но рѣзкими; низенькій лобъ его былъ пересѣченъ складками, идущими вверхъ отъ черныхъ сдвинутыхъ бровей. Неподвижно стоялъ онъ у

средняго окна, сложа руки крестообразно à la Napoléon, и глядѣлъ на улицу, то-есть на картину бури и наводненія. Смятый клеенчатый картузъ былъ у него подъ мышкой; передъ нимъ на окнѣ лежалъ его мокрый свернутый зонтикъ. Я сталъ у другого окна, подлѣ Егорки, и поглядывалъ на его неподвижный профиль. Сзади меня сталъ мой нѣмецъ. Онъ черезъ плечо мое глядѣлъ на волны и съ кислой миной продолжалъ покуривать свою трубочку; вытянутое лицо его казалось совершенно зеленымъ; но онъ молчалъ—только изрѣдка, поднимая брови, поглядывалъ на небо.

Когда мать моя, въ капотѣ и закутавшись въ большой платокъ, появилась въ залѣ, никто не подошелъ къ ней, кромѣ сѣденькаго приказнаго; онъ поцѣловалъ у ней ручку и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ назадъ, приниженно сгорбившись. Купчикъ спросилъ ее: «Чѣмъ же это кончится? сами извольте разсудить!...» Человѣкъ въ плащѣ даже и не оглянулся.

Но, подойдя ко мнѣ, встревоженная мать моя поглядѣла на его профиль и спросила меня на-ухо: — ты не знаешь, кто это?

— Не знаю, мама!

— Il se pose... и въ какое время! А гдѣ Логинъ? Она подошла къ невѣстѣ, и костюмъ ея удивилъ мою мать. Паша поднялась съ мѣста и стала горько и громко плакать; старуха, мать ея, бросилась обнимать ее и простонала: Маааатушка!... все-то залило... ничего-то нѣтъ у насъ...

— Все будетъ, если Богъ до конца на насъ не прогнѣвался. Не вы одни пострадаете... Слава Богу еще, что успѣли во-время выбраться...

— Черезъ десять минутъ, много черезъ двадцать, ваше сіятельство, вода сбѣжитъ, и все будетъ по-прежнему,—сказалъ круглоголовый, сѣденькій и подъ гребенку

остриженный приказный. Кажется, онъ былъ очень доволенъ, что сидитъ у насъ въ залѣ, а не въ департаментѣ.

Человѣкъ въ синемъ плащѣ оставался по-прежнему неподвиженъ, и мать моя рѣшилась подойти къ нему.

— Какъ вы думаете,—спросила она его,—скоро ли все это кончится?

Незнакомецъ,—какъ будто кто разбудилъ его,—быстро обернулся къ моей матери.

— Что вы сейчасъ сказали?

— Я... я спросила васъ, какъ вы думаете, скоро все это кончится?

— Не знаю, madame, это до меня не касается... Проклятый городъ! Если онъ провалится сквозь землю... Пусть!... Но онъ не провалится сквозь землю, онъ потонетъ. Развѣ вы не замѣчаете, что земля опустилась, и море заняло свое прежнее мѣсто... Я это давно предчувствовалъ... Впрочемъ, это до меня не касается...

Мать моя поглядѣла на него, какъ на сумашедшаго.

— Что вы сказали?—И черные глаза его такъ поглядѣли на мою мать, что она отступила, и безпокойство слишкомъ ясно выразилось въ лицѣ ея, и безъ того блѣдномъ и какъ бы измученномъ.

— Люди, madame, гибнутъ каждый день и каждый день разоряются. Не потопъ, а люди другъ друга губятъ и разоряютъ.

— Вы несчастны? спросила его мать моя,—или...

— Не мѣшайте мнѣ глядѣть, какъ тонетъ Петербургъ,—не мѣшайте... И вы потонете, madame, и хорошо сдѣлаете, если потонете...

Мать отошла отъ безумнаго.

— Семенъ! — распорядилась она, — ступай на нашу парадную лѣстницу и замѣть, до которой ступеньки заливаетъ ее водой: безъ этого мы не узнаемъ, когда начнетъ сбывать...

Семенъ вышелъ. Я пошелъ за Семеномъ. Наша парадная лѣстница была также завалена мокрыми пожитками; на той же площадкѣ, на которой отворялась дверь изъ нашей передней, кромѣ мокрыхъ узловъ, была кадочка съ кислой капустой и валялся окорокъ. Окно съ этой площадки выходило на дворъ, и я заглянулъ въ него; дворъ нашъ также былъ залитъ водою; по водѣ плавали дрова, доски, ушатъ, щепки и всякая дрянь. Сквозь вой вѣтра, ни на минуту неумолкавшаго, слышался вой собакъ — изрѣдка ржаніе несчастныхъ лошадей, которыхъ не успѣли вывести изъ конюшни.

Семенъ нашелъ, что лѣстница наша залита *всего только* по девятую ступеньку, и я побѣжалъ сказать объ этомъ моей матери. Когда я воротился въ залу, я нашелъ мать мою разговаривающей со старичкомъ-приказнымъ; онъ узналъ, что у насъ въ домѣ покойница, и вызывался читать по ней псалтырь, увѣряя, что наводненіе долго продолжаться не можетъ, но что онъ готовъ на богоугодное дѣло посвятить всякій свободный отъ службы часъ...—Дайте мнѣ псалтырь, я буду читать... я не хуже дьячка буду читать, ваше сіятельство! говорилъ онъ моей матери, униженно кланяясь. Во всякое другое время онъ бы разсмѣшилъ ее, но кому было тогда до смѣха! Въ домѣ у насъ нашелся псалтырь, и сѣденькій приказный, захвативъ свой портфель, отправился въ дѣвичью.

А между тѣмъ буря все еще не унималась, наводненіе росло и росло, волны стали еще грознѣе, и мы слышали, какъ онѣ ударяютъ въ стѣны нашего дома. Вообразите же нашъ ужасъ, когда къ двумъ часамъ пополудни вода на нашей парадной лѣстницѣ поднялась съ девятой ступеньки на двѣнадцатую... когда мы увидѣли по волнамъ несущіеся трупы лошадей, часть какой-то кровли, раскрашенную караульную будку, и, между ними,

лодки и катера съ матросами и съ командующими на нихъ офицерами... Казалось, слова незнакомца въ мокромъ плащѣ, зловѣщія слова его—сбываются... Всѣ стали молиться; я убѣжалъ въ спальню матери.

Тамъ былъ сумракъ; только огонь лампадки да тусклый свѣтъ дня, пробивавшійся сквозь опущенныя сторы, кой-гдѣ освѣщалъ безпорядокъ этой неприбранной комнаты; постель была измята, на полу лежала кофточка, сброшенная моей матерью; все это гармонировало какъ нельзя болѣе съ безпорядкомъ природы, съ безпорядочнымъ состояніемъ души моей, и наводило пущее уныніе. Я думалъ, что настаетъ чуть ли не всемірный потопъ, что не одинъ Петербургъ — вся земля должна погибнуть отъ этого наводненія. Я, рыдая, упалъ на колѣни передъ мерцающими иконами и сталъ такъ молиться, какъ молятся только на кораблѣ, въ ураганъ, среди ежеминутно угрожающей опасности.

Не помню ужъ, сколько прошло времени, помню только, что, среди молитвы моей, вдругъ долетѣли до меня чьи-то слова: «сбываетъ! вода сбываетъ!..»

— Слава Богу! послышался голосъ моей матери.

— Слава Богу! повторилъ за мной чей-то тихій голосъ, и горничная Аксюта, которая, закрывъ лицо, все время лежала за пологомъ, поперекъ кровати, и которой я не замѣтилъ въ сумракѣ, зашевелилась и подняла свою голову. Она страшно могла бы испугать меня, еслибъ я тотчасъ же не узналъ ее.

Торопливо я сдѣлалъ нѣсколько земныхъ поклоновъ, (видно и передъ Богомъ-то мы не умѣемъ быть слишкомъ долго благодарными), торопливо произнесъ: «Слава тебѣ, Господи!» вскочилъ съ колѣнъ и побѣжалъ въ другія комнаты; но уже и въ другихъ комнатахъ становилось темно, наступали сумерки, приближалась ночь, т. е. было около трехъ часовъ пополудни. Вода сбыла только

на двѣ ступеньки, и это уже всѣхъ обрадовало, даже купчика, который такъ сокрушался о своихъ товарахъ. Видно, жизнь дороже всякаго товара. Я ушелъ въ свою комнату посмотрѣть, что дѣлаетъ мой нѣмецъ? Онъ сидѣлъ на своей постели и покуривалъ трубочку.

— Вода сбываетъ, сказалъ я ему.

— Это великое, великое бѣдствіе! сказалъ онъ: — я теперь сижу и думаю.

— О чемъ же вы думаете?

— О!.. о чемъ я думаю!.. о многомъ, дитя мое! Въ этотъ день я снова пережилъ всѣ свои несчастія, всѣ свои страданія и внутренно плакалъ. Вы этого не замѣчали; но, глядя на вашу мать, я плакалъ: она напомнила мнѣ Амалію Вагнеръ, ходившую по развалинамъ своего замка; она была одна несокрушимѣе всѣхъ, и я одинъ .. я одинъ понималъ ее!...

Я рѣшительно былъ не въ состояніи понимать моего наставника, и такъ-какъ въ моей душѣ уже не было отчаянія, то въ нее стала проникать какая-то рѣзвая радость. (Такъ весело становится на кораблѣ, когда буря затихаетъ, опасность прошла и капитанъ собирается завтракать). Мнѣ же казалось, что моя горячая молитва была не даромъ, что она спасла всѣхъ—весь Петербургъ спасла. Какъ же было не радоваться!

Я пошелъ въ гостиную, черезъ залу, уже тускло освѣщенную одной стѣнною лампой. Незнакомецъ въ плащѣ въ это время выходилъ изъ передней: видно, онъ хотѣлъ уйти, но увидалъ, что вода еще выше аршина, и воротился. Купчикъ, подогнувши ноги, сидѣлъ уже въ гостиной. Тамъ горѣла свѣча, и мать моя приказывала повару хоть къ семи часамъ изготовить обѣдъ, а пока поставить самоваръ. Къ счастью, плита въ кухнѣ была запалена еще до начала наводненія, былъ запасъ сухихъ дровъ и кой-что изъ вчерашней непочатой провизіи.

Я опять пошелъ въ залу, поглядѣть на невѣсту Пашу, поговорить съ Феней, которая о чемъ-то кого-то упрашивала, и—встрѣтился съ незнакомцемъ въ плащѣ. Уже на головѣ его былъ клеенчатый картузъ и изъ-подъ мышки торчалъ зонтикъ, приподнимая сзади плащъ его.

— Милый ребенокъ! сказалъ онъ,—не знаете ли вы, кто живетъ въ этой квартирѣ?

— Мы живемъ,—отвѣчалъ я, смотря на него съ нѣкоторымъ недовѣріемъ.

— А дома ли та молодая, хорошенькая дѣвушка, которая живетъ у васъ?

— Какая дѣвушка?

— Та, у которой лицо Психеи. Я ее знаю... Я знаю, что она живетъ у васъ... Я видѣлъ... Отчего ее нѣтъ?

— Кого? Юлиньки?

— Гм! ее зовутъ Юліей... Гдѣ же она, эта божественная Юлія? Неужели она не знаетъ, что Ромео ждетъ ее!.. Нѣтъ!.. Милый ребенокъ! скажите мнѣ, ради самого Создателя, гдѣ она?

— Чего вы отъ меня хотите?.. Юлинька вчера еще ушла и не воротилась.

— Ушла и не воротилась! произнесъ онъ поблѣднѣвши, — и не...во...ро...тилась!.. Какъ же это?!.. Петербургъ еще цѣлъ и невредимъ, а Юлія не воротилась?... Я съ ума сойду, если тутъ есть хоть какая-нибудь правда... А какъ вы думаете, по комъ это у васъ читаютъ псалтырь? А? по Юліи?

— Нѣтъ... нѣтъ...

— Ну, такъ я пойду искать ее. Онъ отворилъ буфетную дверь, постоялъ около корридора и потомъ опять къ передней направилъ шаги свои.

Я рѣшительно не зналъ, что̀ и подумать. Мысль, что это сумашедшій, еще не приходила мнѣ въ голову; иначе я давно убѣжалъ бы отъ него подъ чью-нибудь защиту;

меня онъ просто пугалъ своимъ видомъ, своимъ голосомъ, своими глазами, своими странными манерами; я пошелъ и передалъ моей матери разговоръ о Юлинькѣ.

— Я рѣшительно не могу понять, что это за человѣкъ,—сказала мать вполголоса, опершись локтями на столъ: — сумасшедшій онъ, или просто сумасбродъ, или прикидывается? Аксюта... скажи, пожалуйста, потихоньку нашимъ людямъ, чтобъ они наблюдали за этимъ господиномъ въ плащѣ... Если онъ сумасшедшій, или помѣшанный, надо быть съ нимъ ласковѣе, не раздражать и не пускать его на улицу, а то онъ непремѣнно потонетъ... Поди, погляди, гдѣ онъ?

Аксюта вышла и увидала его въ залѣ; онъ опять возвращался изъ передней; походивши немного, онъ сѣлъ въ углу залы, около горшковъ съ лимонными деревьями, положилъ нога на ногу, скрестилъ руки, повѣсилъ голову и такъ просидѣлъ часа два, задумавшись и ни на кого не обращая вниманія. На него также перестали обращать вниманіе—даже забыли о его присутствіи.

ГЛАВА XXIII.

Около семи часовъ вечера, позвали меня обѣдать, и я, вмѣстѣ съ Фрейманомъ, отправился въ столовую. Въ столовой былъ накрытъ столъ приборовъ на десять: двѣ свѣчи въ высокихъ шандалахъ свѣтили поверхъ закрытой миски; нѣсколько бутылокъ початого и непочатого вина стояло передъ приборами; въ углу горѣла лампа на выдвижномъ, деревянномъ столбикѣ. Матери моей не было, и мы стали ожидать ее. Налѣво около окна сидѣли двѣ забѣглыя старушки въ старомодныхъ чепцахъ, на видъ приживалки (въ то время не было почти ни од-

ного сколько-нибудь богатаго дома, гдѣ бы не было трехъ, двухъ или, по крайней мѣрѣ, одной приживалки, (мать моя терпѣть ихъ не могла; но это нисколько не мѣшало имъ иногда посѣщать насъ, или съ разными сплетнями заходить въ нашу дѣвичью). Направо, вдоль стѣны, за стульями, стояли: нашъ гайдукъ съ тарелкой, нашъ Семенъ, еще неуспѣвшій причесать волосъ своихъ, унылый купчикъ въ допотопномъ сюртукѣ, точно пойманный воръ, съ понурой головой и съ рукой за пазухой, и, наконецъ, сѣденькій старичекъ въ вицмундирѣ, только-что воротившійся изъ дѣвичьей, гдѣ онъ читалъ псалтырь и, какъ говорятъ, читалъ съ рѣдкимъ усердіемъ. Онъ одинъ имѣлъ тотъ фатально-равнодушный видъ, который такъ иногда непріятно на похоронномъ обѣдѣ поражаетъ заплаканные глаза хозяина, только-что похоронившаго свою послѣднюю радость или свою первую надежду.

Логинъ двигался, какъ автоматъ и по-видимому совершенно машинально, какъ бы по привычкѣ, поднесъ къ приказному графинчикъ съ водкой; потомъ также машинально, обойдя столъ, поднесъ его къ двумъ старушкамъ; одна изъ нихъ рукой отстранила соблазнъ и потрясла головой, другая также потрясла головой, но соблазнилась и выпила. Потомъ приказный вынулъ табакерку (съ полинялымъ изображеніемъ Кутузова), ударилъ по ней указательнымъ пальцемъ, раскрылъ и поднесъ ее Логину. Логинъ взялъ щепотку табаку, но не донесъ ее до носа, все просыпалъ себѣ на манишку и вышелъ. Все это дѣлалось молча, всѣ были пасмурны, а на Логинѣ просто лица не было.

Вообразите себѣ, что вы ходите надъ водой, которая залила и покрываетъ всѣ ваши пожитки—все, что скопили вы правдой и неправдой, все, что вы готовили себѣ на старость или дочерямъ въ приданое, вообразите вы все это—и тогда вы поймете, отчего на Логинѣ лица

не было и отчего съ подносомъ онъ двигался, какъ автоматъ—ни на что не глядѣлъ и никого не слушалъ.

Всѣ ждали моей матери, но вошла Аксюта, встревоженная и торопливо спросила: выходила ли барыня?

— Не слѣпая, сама видишь! отвѣчалъ ей Семенъ.

— Надо пойти ей сказать.

— Что еще?

— А это, изволите видѣть, это-съ... я и не понимаю, что такое! вдругъ заговорилъ сѣдой приказный, разставивъ руки. — Это, это... я и не знаю, что такое-съ!? Я читаю, изволите видѣть, и вдругъ онъ приходитъ, открываетъ покойницу и стоитъ, съ полчаса стоитъ—глаза у него такіе страшные, что я... согрѣшилъ грѣшный, подумалъ, что это либо оборотень какой, либо висѣльникъ.

При этомъ старичекъ на всѣхъ обернулся съ легкой усмѣшкой, но никто и не думалъ улыбнуться на слова его.

— Стали его спрашивать, изволите видѣть,—продолжалъ старичекъ, — кто онъ такой, зачѣмъ онъ пожаловалъ и какое ему есть дѣло безпокоить покойницу? Предлагали ему помянуть новопреставленную, или хоть на образъ лобъ перекрестить—ничего этого, словно окаянный, онъ не слушаетъ,—и откуда такой проявился, Господь его вѣдаетъ!—точно, изволите видѣть, на него столбнякъ нашелъ.

— Господи! послышался громкій вздохъ со стороны старушекъ.

— Мама думаетъ, что онъ помѣшанный,—отвѣчалъ я.

— Господи помилуй! повторилось новое восклицаніе съ тѣмъ же вздохомъ, и затѣмъ одна изъ старушекъ стала глядѣть на меня съ выраженіемъ ужаса, а я сталъ разспрашивать Фреймана, слѣдуетъ ли бояться помѣшанныхъ.

— Гм!... да... ну... понятно, что... Гм! разумѣется...

*

впрочемъ... Гм! какого рода помѣшательство... пробормоталъ мой нѣмецъ, какъ бы выражая мысль свою не столько словами, сколько разнообразными движеніями губъ и какимъ-то неопредѣленнымъ гмыканьемъ.

Я подошелъ къ окну, выходящему на темный дворъ, увидалъ въ чьихъ-то рукахъ двигающійся фонарь и его отраженіе, двигающееся въ водѣ. Видно, вода все еще стояла на довольно значительной высотѣ, и все еще дворъ нашъ похожъ былъ на огромный садокъ для живой рыбы, окруженный постройками. При свѣтѣ этого фонаря, увидалъ я на противоположной сторонѣ двора открытое окно и въ немъ высунувшагося по поясъ старика въ халатѣ и въ бѣломъ колпакѣ. Онъ махалъ рукой и что-то кому-то приказывалъ. Слышалось, что въ водѣ кто то двигается. Вѣтеръ, нѣсколько перемѣнившій направленіе, хотя уже и не былъ такъ силенъ, но все еще шумѣлъ, и я опять услыхалъ этотъ шумъ, когда, приложившись къ стеклу, хотѣлъ сообразить, о чемъ это кричитъ высунувшійся колпакъ въ халатѣ, вѣроятно хозяинъ дома.

Въ это время послышались шаги и голосъ моей матери; я оглянулся — и не вѣрилъ глазамъ своимъ. Мать мою подъ руку велъ незнакомецъ въ синемъ плащѣ, тотъ самый, о которомъ была рѣчь и котораго я только-что назвалъ помѣшаннымъ; густые темные волосы его торчали вверхъ, плащъ висѣлъ на одномъ лѣвомъ плечѣ и свалился на полъ, едва онъ вошелъ въ столовую. Семенъ его поднялъ и положилъ въ углу на порожній стулъ. Старушки встали, раскрыли рты и перекрестились. Приказный немножко попятился. Я также немножко струсилъ за мать мою.

Но на этотъ разъ незнакомецъ нашъ, надо отдать ему справедливость, скорѣй глядѣлъ наслѣднымъ принцемъ, свѣтскимъ фатомъ—чѣмъ хотите, только не помѣшаннымъ: онъ сіялъ и, казалось, гордился честью вести

подъ руку мать мою. Французскій языкъ его, бѣглый, съ парижскимъ акцентомъ, пріятнѣйшимъ образомъ защекоталъ слухъ мой, потому что въ звукахъ его послышалось мнѣ что-то такое въ высшей степени любезное. Мать моя, по-видимому, также была довольна имъ: она любила все необыкновенное, и романическій, странный незнакомецъ, даже какъ помѣшанный, не могъ не занять ее. Выслушавъ Аксюту, она сама пошла въ дѣвичью, какъ хозяйка, сама пригласила его обѣдать и подала ему руку. Вѣроятно, симпатическій, ласковый ея голосъ спасительно подѣйствовалъ на его воображеніе, и мозги его пришли въ порядокъ.

Когда мать моя сѣла за столъ, рядомъ съ нею сѣлъ и онъ, подозрительно и быстро оглядѣвъ присутствующихъ.

Отняли крышку съ миски, поднялся паръ—и мать моя, разливая супъ, не переставала его разспрашивать,—и этотъ сумасшедшій премило сталъ разсказывать свои заграничныя похожденія, свою встрѣчу съ Байрономъ, свое восхожденіе на Везувій и свои студенческія проказы въ Геттингенѣ. Судя по словамъ его, слѣдовало думать, что это человѣкъ очень богатый, которому ничего не стоитъ сотню студентовъ угостить шампанскимъ, на удивленье всего нѣмецкаго города, со всѣми его бюргерами, профессорами и студентами; что ему ничего не стоитъ купить фермуаръ и подарить его знаменитой танцовщицѣ, нанять десять экипажей, заказать флаги, устроить кавалькаду, фейерверкъ и проч.,—и такъ странно было видѣть на этомъ человѣкѣ смятое жабо, жилетъ съ оторванной пуговицей и на сюртукѣ протертый локоть, однимъ словомъ, слѣды той бѣдности, которая такъ противорѣчила словамъ его. Онъ, по-видимому, на эти слѣды не обращалъ вниманія и былъ такъ милъ, какъ франтъ первой руки, tiré à quatres épingles, вполнѣ убѣжденный,

что никто не можетъ быть ни любезнѣе его, ни пріятнѣе въ обществѣ. Всѣ, даже старушки, успокоились,—одинъ только купчикъ, ни слова непонимавшій по-французски, съ недовѣріемъ на него поглядывалъ.

Все шло хорошо, даже очень хорошо, потому что присутствіе этого страннаго молодого человѣка развлекало мать мою и отвлекало ея мысли отъ явленій дня, такихъ необычайныхъ и такихъ бѣдственныхъ! Кромѣ меня, въ этотъ день никто не жалѣлъ объ отсутствіи Юлиньки. Всѣ были убѣждены, что она или у своего отца, или у княгини Малыгиной, а княгиня жила цѣлымъ этажемъ выше насъ, дальше насъ отъ Невы и, стало быть, внѣ всякой опасности.

Подъ конецъ же стола не только мать моя, но и я былъ радехонекъ, что нѣтъ съ нами нашей Юлиньки. Вотъ что случилось.

Незнакомецъ былъ въ ударѣ, сыпалъ отборными фразами, какъ изъ рога изобилія, и, въ пылу какого-то разсказа о какой-то дуэли съ какимъ-то французскимъ виконтомъ, налилъ себѣ изъ бутылки рюмку вина и выпилъ — выпилъ спѣша, чтобъ какъ можно скорѣе дорисовать картину своего подвига, выпилъ — и вдругъ все лице его какъ бы передернулось: онъ поблѣднѣлъ, сдвинулъ брови, смолкъ и опустилъ рюмку на скатерть.

— Что съ вами? спросила его мать моя, съ безпокойствомъ поглядывая то на него, то на пустую рюмку.

— Что это такое? спросилъ онъ въ полголоса, оглядывая присутствующихъ.

— Это ромъ,—отвѣчала мать.

— Это ромъ... Ромъ! Вы говорите, что это ромъ. Гм! vous plaisentez, madame...

Въ глазахъ его промелькнула подозрительность, онъ поглядѣлъ на мою мать, потомъ на купчика, потомъ опустилъ рѣсницы и задумался. Всѣ переглянулись. Мать

моя поняла, что несчастный, по разсѣянности, вмѣсто вина выпилъ рому, поняла, что уже поздно винить кого-нибудь въ этой ошибкѣ, испугалась за послѣдствія и не знала, какъ ей быть въ такомъ случаѣ.

— Чѣмъ же все это кончилось? спросила она его съ притворнымъ радушіемъ и переставила бутылку съ ромомъ поближе къ своему прибору.

Онъ молчалъ.

— А съ Байрономъ вы говорили по-англійски?

Незнакомецъ продолжалъ молчать съ опущенными черными рѣсницами; черты лица его были блѣдны, неподвижны и холодны.

Чтобы дать ему время одуматься, мать моя обратилась къ купчику и спросила его, чѣмъ онъ торгуетъ?

— У насъ всякій товаръ-съ, ваше превосходительство: — заграничнымъ сахаромъ торгуемъ, чай тоже съ Макарья идетъ къ намъ. Тятенька кажинный годъ въ Нижній ѣздятъ-съ; только нынѣшній годъ, по своему нездоровью-съ, а пуще по старости, посылали меня-съ. Не знаю, что Богъ дастъ-съ, а эта вода много намъ всякихъ хлопотъ и бѣдъ понадѣлаетъ. Это не приведи Богъ-съ! Тоже и на биржѣ у насъ товару не мало съ кораблемъ пришло. У насъ и москательная лавка есть, отсюдова не далече-съ, около Харламова моста.

— Не противъ ли того дома, гдѣ живетъ Грибоѣдовъ? — Вы знаете Грибоѣдова?

— Нѣтъ-съ, не слыхалъ, чтобъ такой жилъ.

— А жена есть у васъ?

— Жена молодая-съ, а живы ли тамъ у меня всѣ, не знаю-съ; тоже сынишко есть маленькій, — гляди, на улицѣ или въ лавку побѣжалъ—долго ли до грѣха-съ?... Прогнѣвали мы Господа Бога! Чай, страху одного что понатерпѣлись.

Въ это время незнакомецъ протянулъ руку, досталъ опять ту же бутылку и опять налилъ себѣ полную рюмку.

— Это ромъ! не пейте! вскрикнула мать моя.

— Э! все равно — я выпью и отраву, если только вамъ будетъ угодно отравить меня. Господа!..

Стулъ его быстро отодвинулся назадъ, и онъ всталъ, приподнявши рюмку, какъ обыкновенно провозглашаютъ тосты.—Господа! пью за здоровье Юліи! Кто не будетъ сейчасъ пить со мной за ея здоровье, тотъ мой врагъ— злѣйшій врагъ мой! тотъ пусть знаетъ, что я... я... буду стрѣляться съ нимъ черезъ платокъ — черезъ платокъ! повторилъ онъ съ азартомъ; глаза его горѣли, руки дрожали, голосъ дрожалъ.

— Прекрасно! будемъ всѣ пить за здравіе отсутствующей Юлиньки и за ваше здоровье,—сказала озадаченная и взволнованная мать моя. Семенъ! налей всѣмъ вина — какое есть... Пейте, господа! Сережа — выпей и ты... тебѣ не мѣшаетъ.

Всѣмъ налили лафиту, кому въ стаканы, кому въ рюмки, и—дѣлать нечего—всѣ мы должны были пить за здоровье Юлиньки.

Незнакомецъ опять сѣлъ и опять задумался. — Гдѣ она? заговорилъ онъ.—Куда ее отъ меня спрятали? Куда?.. Въ гробъ? Несчастные! Изверги! что вы съ ней сдѣлали! О! проклятіе, проклятіе!..—Слезы потекли по его щекамъ, онъ уткнулъ лицо свое въ руки, положенныя на столъ, и сталъ рыдать.

— Это невыносимо! прошептала мать моя.

Я также былъ страшно потрясенъ всей этой неожиданной сценой.

Долго онъ плакалъ, всѣ сидѣли за столомъ молча и почти не двигаясь; старушки крестились, Семенъ, отъ изумленья, хлопалъ глазами, Логинъ глядѣлъ исподлобья. Мой нѣмецъ былъ растроганъ. Никому не шелъ

кусокъ въ горло, — и когда мы увидѣли, что плачущій безумецъ заснулъ, мы, по мановенью матери моей, тихонько отодвинули стулья и встали изъ-за стола. Я подошелъ къ матери и, не переставая цѣловать ея холодныя руки, прошелъ съ нею въ гостиную.

— Какой должно быть хорошій человѣкъ! говорила она: — и что это съ нимъ? Неужели онъ влюбленъ въ Юлиньку—и помѣшался, или это такъ, временное помѣшательство, приливъ крови къ головѣ? Наводненіе это, можетъ быть, слишкомъ потрясло его.

— Это, сударыня, должно быть онъ самый и есть,— сказала Аксюта, которая принесла матери моей одеколонъ и склянку со спиртомъ.

— Кто такой?

— А тотъ самый, что надысь на улицѣ присталъ-было къ Юліи Антоновнѣ; та прибѣжала запыхавшись, да и говоритъ: какой-то мужчина, говоритъ, не отставалъ отъ меня до самой лѣстницы, до самой-то лѣстницы, говоритъ, не отставалъ, все что-то бормоталъ по-французски и шелъ безъ шляпы. Должно быть, онъ и есть.

— А! можетъ быть! Что же намъ съ нимъ дѣлать? Сережа, другъ мой, ступай въ свою комнату и отдохни; я также скоро лягу—мнѣ нездоровится... Ну-ужъ денекъ!... Herr Freiman, отведите его; вамъ сейчасъ принесутъ кофе; въ залѣ же сыро—вездѣ какъ-то сыро и холодно.

Фрейманъ ушелъ, но я заупрямился и не пошелъ въ свою комнату; мнѣ не хотѣлось ни на одну минуту покидать моей бодрой и на этотъ разъ распорядительной матери, потому что вообще нельзя сказать, чтобъ она была распорядительна.

Былъ восьмой часъ вечера, а насъ все еще невольно тянуло къ окнамъ. Конечно, никогда еще наша сѣверная столица не была закутана въ такой черный, непроницаемый мракъ; ни одного фонаря не свѣтило ни на площа-

дяхъ, ни въ улицахъ. Еслибъ не свѣтящіяся окна, можно было бы подумать, что на мѣстѣ великолѣпнаго города опять выросъ тотъ дремучій лѣсъ, который сто двадцать лѣтъ тому назадъ точно въ такой же мракъ закутывалъ голову Петра Великаго. Золотыя полосы — отраженія этихъ свѣтящихся оконъ — были единственными телеграфами, приносившими къ намъ вѣсть, что вода еще не сбыла и покрываетъ мостовую, заливая фундаменты. Большихъ волнъ съ пѣною не было уже видно, но вѣтеръ еще сильно струилъ и морщилъ воду, судя по тѣмъ огненнымъ струйкамъ, которыя, среди мрака, играли на этихъ золотыхъ отраженіяхъ. На одномъ изъ этихъ отраженій, какъ теперь помню, вдругъ нарисовался черный силуетъ лодки съ двумя гребцами и человѣкомъ на рулѣ; одна изъ этихъ черныхъ фигуръ приподнялась, наклонилась и уперлась, должно быть, весломъ въ мостовую,—черная полоса лодки двинулась и опять исчезла во мракѣ. Въ это время, судя по офиціальнымъ даннымъ, вода стояла на высотѣ 5 футовъ и 9 дюймовъ — сталобыть въ нашемъ кварталѣ уже открывалась возможность ходить въ водѣ по улицамъ. Нашъ купчикъ, не перестававшій выбѣгать на подъѣздъ, пришелъ проститься съ моей матерью, поцѣловалъ у ней ручку, потомъ вышелъ въ переднюю, снялъ съ себя новые сапоги, засучилъ панталоны и отправился къ себѣ домой къ Харламову мосту. Семенъ же снабдилъ его своей палкой, для того, чтобъ онъ могъ ощупывать дно и не провалиться въ какую-нибудь промоину; за эту палку, въ благодарность, купчикъ обѣщалъ ему фунтъ чаю и четыре фунта сахару.

Приказный совершенно акклиматизировался въ нашей дѣвичьей. Безпрестанно пилъ чай съ нашими домашними, потомъ опять принимался за псалтырь—и такъ хорошо, трогательно и душеспасительно читалъ, что любой дья-

чекъ, слушая его, могъ бы заболѣть отъ зависти. О немъ заботились наши женщины и чужія старушки; но... позаботиться о спящемъ безумцѣ, который уже свалился на полъ и лежалъ, какъ убитый, некому было, кромѣ моей матери. Вопросъ, гдѣ его помѣстить на ночь, былъ нѣсколько разъ обсуждаемъ ею, то съ Семеномъ, то съ Аксютой, то съ Логиномъ. Рѣшили наконецъ постлать въ залѣ на полу тюфякъ, перенести и уложить его, не тушить стѣнной лампы до утра, дополнивъ ее масломъ, на всякій случай положить въ ногахъ спящаго его плащъ, картузъ, зонтикъ и оставить его такимъ образомъ въ покоѣ. Такъ и сдѣлали; при этомъ не могу не замѣтить, что Аксюта принесла для него ту самую подушку, на которой умерла Константиновна. Я видѣлъ, какъ, въ безчувственномъ положеніи, со свѣсившимися назадъ волосами, перенесли его изъ столовой въ залу, опустили голову его на эту подушку и покрыли ноги его байковымъ одѣяломъ, причемъ Семенъ не утерпѣлъ и выругалъ его: принесъ же его чортъ въ такое время! и безъ него хлопотъ немало, а тутъ еще съ нимъ возись, чортъ эдакій!

Что еще сказать въ заключеніе этого дня? Мать моя такъ утомилась нравственно и физически, что рано, около 9 часовъ, простилась со мной и отправилась къ себѣ въ спальню, а я, собираясь спать, засталъ Фреймана за письменнымъ столомъ и, вѣроятно, за письмомъ къ своему другу, въ которомъ онъ, съ сантиментальной точки зрѣнія, описывалъ ему петербургское наводненіе.

Взобравшись на свою кровать, долго не могъ я заснуть: вой бури, городъ въ волнахъ, обломки, мужикъ на фонарѣ, лодки на улицахъ, мертвое лицо старухи, невѣста съ голыми плечами и мокрымъ подоломъ, наконецъ, какой-то сумасшедшій, спящій отъ меня черезъ корридоръ, — все это безпрестанно рисовалось и видоизмѣня-

лось въ моемъ воображеніи; помню, какъ я босой вдругъ выскочилъ изъ-подъ одѣяла, подбѣжалъ къ двери и заперъ ее на задвижку.

— Э! что вы тамъ... was machen sie! заворчалъ Фрейманъ, не оборачиваясь.

Ничего не отвѣчая, я опять прыгнулъ въ кровать свою.

А зачѣмъ, вопросъ, я заперъ дверь? Затѣмъ, отвѣтъ, что я самъ въ это время былъ какъ бы не въ своемъ умѣ. Ну что, вообразилось мнѣ, если ночью проснется этотъ сумасшедшій, да забѣжитъ ко мнѣ въ комнату, да начнетъ кусать меня—а?! Но и затѣмъ я не успокоился.— А что если, продолжалъ я фантазировать, мать моя да позабыла запереть свою спальню—а онъ ночью заберется къ ней и задушитъ, или перекуситъ ей горло, или... И страшныя картины одна за другой безпрестанно слагались въ утомленномъ мозгу моемъ и долго тревожили меня, прежде чѣмъ я заснулъ съ молитвой на губахъ и съ мечтою,—какою-то радужной, любовной мечтой о хорошенькой Юлинькѣ.

ГЛАВА XXIV.

Только-что стало свѣтать, какъ я уже былъ у окна и говорилъ: слава Богу, вода совершенно сбыла; дворъ былъ занесенъ и заваленъ дровами, щебнемъ, обломками мебели и какой-то безобразной рухлядью, выжатой морозомъ. Вездѣ, куда только проникали румяные лучи утра, сверкалъ иней, или капли, превращенныя въ ледяныя слезы. Около сараевъ стояла кучка людей въ полушубкахъ и валенкахъ; когда она раздвинулась, я увидалъ трупъ околѣвшей лошади.—Неужели это наша караковая!

подумалъ я и чуть-было не согрѣшилъ — чуть-было не сказалъ: царство ей небесное! Около нея стоялъ нашъ кучеръ нагнувшись, что-то говорилъ съ запальчивостію и размахивалъ руками; — очевидно, онъ оправдывался и объяснялъ своимъ слушателямъ, что спасти эту лошадь не было никакой человѣческой возможности.

Логинъ проснулся (если только онъ спалъ) раньше меня, т. е. часу въ шестомъ утра, зажегъ фонарь и спустился въ свое обиталище. Холодъ заставилъ его вернуться, но онъ выпросилъ у судомойки ея шубенку, напялилъ ее себѣ на плечи, и опять спустился. За два двугривенныхъ уговорилъ онъ дворника вытащить ему изъ его коморки одинъ сундучекъ, обитый желѣзомъ. Въ его коморкѣ воды еще стояло на три четверти отъ полу, и большая часть его пожитковъ, вмѣстѣ съ досками изъ-подъ его брачнаго ложа, плавала на поверхности, представляя собой, при блескѣ фонаря, весьма плачевное зрѣлище. Впрочемъ, сундучекъ былъ найденъ, къ великому благополучію Логина. Все почти было цѣло, по той причинѣ, что дверь въ эту комнату напоромъ воды была прихлопнута, и еще по той причинѣ, что низенькія окна были малы: сквозь ихъ отверзтіе волны похитили только деревянный болванъ, на которомъ когда-то онъ заплеталъ и пудрилъ парикъ моего батюшки, ручную кофейную мельницу, да еще какой-то маленькій ящикъ съ булавками, шпильками, крючками и т. п. принадлежностями женскаго туалета.

Разумѣется, прежде всего, Логинъ вынесъ святые образа и приложился къ нимъ, а потомъ уже потащилъ на спинѣ сундучекъ свой съ деньгами, — деньги, стало быть, не пропали; серебро не промокло, а промокшія ассигнаціи тщательно были выложены, расправлены и выглажены утюгомъ. На лицѣ Логина стала появляться краска; ибо надежда, что и платье, и бѣлье можетъ быть

разглажено не хуже красненькихъ и синенькихъ,—была для него отраднѣе зари небесной.

Раньше Логина проснулся незнакомецъ, и вотъ что про него разсказывалъ Семенъ.—Слышу, говорилъ онъ, кто-то вошелъ въ переднюю и кричитъ: Гей!... Продралъ я глаза, зажегъ свѣчу, вижу—стоитъ этотъ чортъ, прости Господи! совсѣмъ какъ есть одѣтый, и зонтъ въ рукѣ кверху поднятъ. Выпускай, говоритъ, а не то смотри! говоритъ. Что смотрѣть-то, — я его спустилъ съ лѣстницы, отворилъ дверь на улицу, и только-что онъ туда сунулся, заперъ за нимъ дверь на запоръ. Ну, думаю, хоть всю ночь теперь стучись—не отопру; убирайся по добру по здорову отколь пришелъ. Ну, вотъ воротился я въ переднюю, и пришло мнѣ въ голову: а ну какъ онъ что-нибудь стянулъ—какъ же это я его такъ выпустилъ? Можетъ быть, онъ столовые часы, либо серебро какое стянулъ... Инда дрожь меня пробрала; вышелъ я въ залу, оглядѣлъ—ничего, кажется, все цѣло; лампа еще горитъ; я ее потушилъ и легъ спать,—и вѣдь, что вы думаете, легъ спать, а безпрестанно мнѣ этотъ чортъ мерещится. Выпускай, говоритъ;—куда, думаю, тебя выпускать? ужъ я тебя разъ выпустилъ, — оборотень ты, что ли? лѣшій дери твою душу! Оглянусь—опять засну—опять толкаетъ те въ бокъ: выпускай, говоритъ,—ахъ ты Господи!... И такъ-то до трехъ разъ... Нѣтъ, ужъ попадись онъ мнѣ! храбрился Семенъ: онъ вообще любилъ храбриться. Вспомните, какъ онъ два раза хотѣлъ поколотить Глаголевскаго.

Мать моя проснулась позже всѣхъ и проснулась съ страшной головной болью: у ней сдѣлался мигрень—болѣзнь, которая довольно часто ее мучила.

Казалось бы, насталъ конецъ всѣмъ безпокойствамъ, все въ домѣ нашемъ придетъ въ обычный порядокъ, и ничего такого не случится, что бы нарушило миръ на-

шихъ сердецъ и наше спокойствіе. Юлинька не явилась ни на другой, ни даже на третій день; но мы понимали, что и явиться ей къ намъ не было пока никакой возможности, ибо на другой, и даже на третій день, не вездѣ еще было возстановлено обычное движеніе на улицахъ; съ Фрейманомъ я могъ дойдти только до Невскаго и воротиться. Перейдти Невскій не позволяла намъ полиція: въ срединѣ улицы образовался провалъ, по дну котораго еще текла грязная вода. По набережнымъ каналовъ лежали изломанные садки, барки, обломки кровель, занесенные изъ Коломны отъ чугуннаго завода или изъ Екатерингофа, изломанная мебель, дрова, разбитыя бочки и тому подобное. Такимъ образомъ, думали мы, если мнѣ нельзя было дойти до Десарта, который квартировалъ въ Малой Конюшенной, то, конечно, и Юлинькѣ нельзя было дойдти до насъ по той же самой причинѣ.

Только на четвертый день, и то по протекціи отца Алексѣя, могли мы похоронить нашу Константиновну, и не на Смоленскомъ, какъ она желала, а на какомъ-то другомъ кладбищѣ. Но что же было дѣлать? Посмертныя жилища на Смоленскомъ были также, какъ и дома гаванскихъ обывателей, разорены нахлынувшимъ моремъ. Каменные памятники были опрокинуты, деревянные унесены водой, множество крестовъ, съ надписями и безъ надписей, найдено было въ Лѣтнемъ саду. Вонъ куда занесло ихъ! Говорятъ, будто бы даже гробы, приподнятые со дна могилъ, плавали по волнамъ, покачивая мертвецовъ своихъ: какъ въ день страшнаго суда, наводненіе перемѣшало ихъ, — богачи смѣшались съ нищими, знатные съ крѣпостными плебеями, и вѣроятно никогда уже не воротились они ни на прежнія мѣста свои, ни подъ мраморъ съ громкой эпитафіей, ни подъ бѣдный деревянный крестъ съ безграмотной надписью.

Вода и на четвертый день наполняла эти размытыя

ямы, лишенныя вѣчныхъ своихъ обывателей, и разбѣжавшіеся могильщики—одни еще не воротились къ мѣсту своего служенія, другіе, спасавшіеся подъ колоколами, не нашли ни своихъ лопатъ, ни своихъ заступовъ.

— Что это, въ самомъ дѣлѣ, эта вѣтренная Юлинька съ нами дѣлаетъ? говорила въ это утро мать моя. Пропала, точно въ воду канула, хоть бы дала знать о себѣ!

Сегодня, вѣроятно, она къ намъ явится, думалъ я; Господи! Господи! рада у Зизи хоть недѣлю цѣлую прогостить... Та, говорятъ, у себя въ комнатѣ устроила какой-то налой, и съ утра до ночи молится. Это хорошо! пусть себѣ молится! пусть себѣ! Но развѣ Юлинька не можетъ безъ нея и къ Богу-то обратиться? Отчего же я одинъ молюсь?... Оттого, что Христосъ сказалъ: затвори клѣть твою...

Въ это же утро синій мокрый плащъ, иначе незнакомецъ нашъ, прислалъ или самъ занесъ къ моей матери письмо, писанное по-французски. Переведу его слово въ слово.

Передъ носомъ моимъ, въ эту минуту, лежитъ одна драгоцѣнность, ни для кого, кромѣ меня, неимѣющая никакой цѣны; эта драгоцѣнность ничто иное, какъ найденная мной тетрадка, въ оны блаженные дни мною самимъ сшитая и украшенная сердцемъ изъ серебряной бумаги, наклееннымъ какъ разъ по срединѣ верхняго à la mouaré antique тисненнаго листика. Съ тѣхъ поръ истрепалась, истерлась эта тетрадь, и серебряное сердце потеряло свой прежній блескъ; но, глядя на нее, я помню, какъ въ тѣ дни я не зналъ, чѣмъ мнѣ ее наполнить, началъ, разумѣется, съ стихотвореній Пушкина, потомъ сталъ вписывать въ нее все, что попадалось мнѣ на глаза: нашелъ у себя въ карманѣ стишенки: «Ты правду говоришь, а можетъ быть и врешь»—списалъ; нашелъ на полу счетъ изъ лавочки, откуда, вѣроятно, поваръ нашъ

забиралъ зелень и овощи,—списалъ; нашелъ въ уборной какой-то узоръ съ вензелями для мѣтокъ — срисовалъ; и въ ту же тетрадь, между прочимъ, попало письмо этого сумасброда, покинутое въ гостиной на столѣ моей матери. Вотъ оно:

«Madame! ужасно вспомнить, что я у васъ надѣлалъ! сколько безпокойства я долженъ былъ причинить вамъ моимъ поведеніемъ! при одной мысли о томъ днѣ, который я провелъ у васъ, кровь бросается мнѣ въ голову:— что могли вы обо мнѣ подумать! О, я безумецъ, безумецъ! Скажите несравненной, божественной Юліи, что я на колѣняхъ прошу простить меня. Какъ! при всѣхъ поцѣловать ее — это ужасно! Что вы обо мнѣ подумали? Что подумали всѣ тѣ, при которыхъ я дозволилъ себѣ эту дерзость? Помню, какъ она покраснѣла и какъ вы посмотрѣли на меня! — не только вы, маленькій сынъ вашъ поглядѣлъ на меня съ негодованіемъ; — только безумная любовь, одна только любовь и можетъ оправдать меня. Гдѣ любовь, тамъ свобода, — гдѣ свобода, тамъ— бушуйте волны... Ревите бури, падайте города и vive la liberté! Буду ждать вашего отвѣта, обожаемая мной особа, — вѣрьте мнѣ, что я охотно умру, какъ за Юлію, такъ и за васъ. — Что вы ей такое? Тетка? Мать? или злая мачиха? Во всякомъ случаѣ остаюсь

«Вашъ преданный слуга

«Илья—лордъ Ильинъ.»

— Теперь нѣтъ сомнѣнія, что онъ помѣшанъ,—сказала мать моя, прочитавъ это удивительное посланіе: — Бѣдный лордъ! Какая горячка у него въ мозгу! Адреса нѣтъ, но если бы и былъ адресъ — я врядъ ли бы рѣшилась что-нибудь отвѣчать ему; онъ привязался бы къ какому-нибудь слову, иначе бы все понялъ—Богъ знаетъ что бы вообразилъ себѣ, и вмѣсто того, чтобъ мнѣ успокоить его, я бы пуще его разстроила. А, право, я же-

лала бы знать, кто онъ такой, что̀ свело его съ ума и не могу ли я хоть чѣмъ-нибудь быть ему полезна. Если онъ не въ сумасшедшемъ домѣ, значитъ помѣшательство его — тихое помѣшательство, т. е. не изъ числа опасныхъ; судя по его подписи, надо предполагать, что онъ сошелъ съ ума или отъ страшнаго самолюбія, или отъ неудовлетвореннаго честолюбія, — отчего-нибудь да произвелъ же онъ себя въ лорды!

Всѣ эти разсужденія моей матери были выслушиваемы мной какъ разъ послѣ того, какъ люди наши воротились съ кладбища, похоронивши Константиновну, и, отслушавъ литію, принесли мнѣ кутью, съ тѣмъ, чтобы я, за упокой души ея, съѣлъ нѣсколько изюминъ.

Вечеромъ забѣжалъ къ намъ Набатовъ. Мать моя, только что переставшая страдать отъ головныхъ болей, никого изъ чужихъ непринимавшая и даже нечитавшая газетъ, была очень рада Набатову и оставила его съ нами чай пить. Онъ былъ не то не въ духѣ, не то въ какомъ-то конфузливомъ настроеніи, но разсказалъ намъ множество анекдотовъ, въ то время передаваемыхъ изъ устъ въ уста; разсказалъ, что̀ въ это время происходило въ Зимнемъ дворцѣ, какъ нашего Государя потрясло это бѣдственное событіе и какъ одинъ нашъ знакомый, а именно полковникъ Германъ, посланный Государемъ въ казармы, вскочилъ было на гофъ-курьерскую телѣжку, но долженъ былъ ее бросить; сѣлъ верхомъ на лошадь—но лошадь дрожала, не слушала поводовъ и шла, на каждомъ шагу останавливаясь, протягивая шею и оглашая воздухъ жалобнымъ ржаньемъ; соскочивши съ лошади, онъ пошелъ пѣшкомъ по горло въ водѣ и непремѣнно бы потонулъ, еслибъ не наѣхала на него лодка и не взяла его. Потомъ сообщилъ онъ намъ новость о назначеніи временныхъ генералъ-губернаторовъ, подъ начальствомъ петербургскаго генералъ-губернатора графа

Милорадовича; о томъ, что утромъ (т. е. 11 ноября) подписанъ рескриптъ на имя князя Куракина о выдачѣ пострадавшимъ безвозвратно милліона рублей изъ хозяйственныхъ суммъ военныхъ поселеній; о составляющемся по этому случаю комитетѣ и о своемъ желаніи попасть въ этотъ благотворительный комитетъ.

Все это были животрепещущія новости, всѣхъ равно интересовавшія; Набатовъ хоть былъ порядочный враль, но le malheur oblige; слишкомъ врать въ дни общественнаго бѣдствія, когда и безъ того у всѣхъ воображеніе было болѣзненно настроено, когда никакая веселость никому на умъ не шла, было бы такъ же неприлично, какъ врать и дурачиться въ траурной каретѣ, двигающейся за погребальной процессіей. Набатовъ въ этотъ вечеръ былъ даже какъ-то непохожъ на всегдашняго Набатова: онъ былъ сдержанъ или хотѣлъ казаться серьознымъ — быть можетъ оттого, что въ послѣднее время сталъ какъ-будто побаиваться моей матери: она не давала ему спуску и совѣтовала ему умѣрить свое фальшивое ребячество, — ибо, говорила она, вы давно уже не ребенокъ—и давно уже себѣ на умѣ.

Бесѣда съ Набатовымъ, тихая и спокойная, была вдругъ прервана самымъ неожиданнымъ образомъ появленіемъ моего француза Десарта.

Я первый увидалъ блескъ очковъ его, мелькнувшихъ въ дверяхъ, и сердце мое радостно ёкнуло: — я подумалъ, что вслѣдъ за нимъ появится Юлинька; но Десартъ остановился въ дверяхъ, посмотрѣлъ на насъ и спросилъ:

— Et où est ma fille? — а гдѣ дочь моя?

— А гдѣ она?! отозвалась ему на это мать моя: — мы хотѣли объ этомъ у васъ спросить; она уѣхала отъ насъ 6-го числа вечеромъ; сказала, что поѣдетъ къ княгинѣ Малыгиной, а оттуда проѣдетъ къ вамъ.

*

Десартъ вошелъ въ комнату: лицо его было смято, старческій румянецъ на щекахъ принялъ какой-то свинцовый оттѣнокъ. Глядя на него, казалось, что онъ сейчасъ начнетъ бранить мать мою.

— Да, — началъ онъ, — я это знаю, она ночевала у меня, но въ 7 часовъ утра отправилась къ ранней обѣднѣ въ католическую церковь; въ этотъ день она хотѣла исповѣдаться и причаститься. Я еще спалъ, когда она вышла, приказала моей хозяйкѣ приготовить кофе къ ея возвращенію, и... добавилъ онъ измѣнившимся голосомъ— съ тѣхъ поръ я не видалъ ее, не видалъ...

— Ну, такъ она у княгини Малыгиной; ея дочь Зизи чуть не каждый день съ утра въ католической церкви— вѣроятно, онѣ встрѣтились, та уговорила ее, и она съ нею отправилась.

— О, небо! что, если она погибла, что, если погибла!... Бѣдное, бѣдное дитя мое!..—И Десартъ сѣлъ на диванъ, уткнулъ лицо въ подушку, шитую гарусомъ, и сталъ рыдать. Никогда я не могъ даже и вообразить себѣ этого старика въ такомъ положеніи; онъ хныкалъ, какъ ребенокъ, и хныканье его было какое-то особенное: онъ тявкалъ, точно маленькая собачка, и при этомъ вздрагивали его плечи и приподнимали голый затылокъ: отчаяніе его было похоже на истерику.

Глядя на него, я также сталъ ревѣть. Мать моя погрозила мнѣ пальцемъ и стала утѣшать его. — Послушайте, m-r Десартъ,—заговорила она,—прежде времени зачѣмъ предаваться такому отчаянію! Сами посудите, неужели Юлинька такой ребенокъ! Положимъ, наводненіе застало ее въ церкви, — развѣ она не могла тамъ спастись? Стоило только встать на скамью или взобраться на каѳедру. Если наводненіе застало ее на тротуарѣ, то ей стоило только взбѣжать на первую, попавшуюся лѣстницу. Были ли вы въ церкви?

— Былъ — былъ! нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!

— Ну, можетъ быть, она у княгини Малыгиной.

— Былъ, — нѣтъ ея, нѣтъ ея у княгини. Она погибла! погибла, бѣдное дитя мое!...

— Нѣтъ! говорила мать, — я ручаюсь, что она не погибла. Сережа, перестань плакать! Завтра я найду вамъ ее; человѣкъ не щепка, онъ такъ пропасть не можетъ.

— Я завтра обѣгаю всѣ дома около костела, полицію подыму на ноги,—сказалъ Набатовъ. Онъ былъ блѣденъ— извѣстіе о пропажѣ Юлиньки видимо произвело на него впечатлѣніе. Кто знаетъ, можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ неравнодушенъ къ ней.

Десартъ пересталъ плакать, поднялъ свалившіеся очки и поправилъ подушку.

— О, милосердное небо! сказалъ онъ, поднявши руки: — неужели ты лишишь меня моей Юліи?! Нѣтъ! Нѣтъ, вы правы, милая мадамъ Чалыгинъ,—Богъ не захочетъ погубить ее въ цвѣтѣ лѣтъ. Она вѣрила въ Его милосердіе и неужели... неужели... неужели!

— И вы вѣрьте,—утѣшала его мать моя; а сама была блѣдна и, быть можетъ, въ глубинѣ души своей не вѣрила ея спасенію.

Десартъ понюхалъ табаку, значитъ, замѣтно поддался ободряющимъ и утѣшительнымъ словамъ моей матери.

— Очень можетъ быть, она у кого-нибудь изъ пансіонныхъ подругъ своихъ; на дворѣ морозъ, вѣтеръ не утихаетъ — ее не пускаютъ.

— Очень можетъ быть, — повторилъ Десартъ. Какъ сангвиникъ, онъ былъ вспыльчивъ, когда сердился за уроками, и, какъ сангвиникъ, не могъ слишкомъ долго предаваться крайней степени своего отчаянія.

Часовъ до одиннадцати вечера онъ просидѣлъ съ моей матерью; я не видалъ, какъ онъ ушелъ съ Набатовымъ,

ибо въ это время, въ слезахъ по Юлинькѣ, заснулъ въ ея комнаткѣ, на ея любимомъ диванѣ. Мать моя, вмѣстѣ съ Фрейманомъ, нашла меня спящимъ, велѣла меня оставить въ покоѣ и не будить до тѣхъ поръ, пока я самъ не проснусь. При этомъ, она поручила меня двумъ младшимъ дочерямъ Логина, которыя должны были спать на полу въ той же комнатѣ, ибо ночевать въ ихъ подвальномъ помѣщеніи еще не было никакой возможности: печь ихъ была подмыта наводненіемъ и тамъ сырость была страшная. Старшую же сестру ихъ, Пашу, взялъ женихъ и отвезъ куда-то къ своей родственницѣ; Логинъ съ женой пристроились въ кухнѣ, по милости нашего повара, ихъ кума, то-есть крестнаго отца ихъ младшей дочери.

Шепотъ двухъ дѣвушекъ разбудилъ меня, я раскрылъ глаза и увидѣлъ на столѣ зажженный огарокъ, въ широкомъ, мѣдномъ подсвѣчникѣ, а на полу Феню и ея младшую сестру подъ одѣяломъ. — Онѣ еще не спали и разговаривали о Юлинькѣ.

Вслушиваясь въ шепотъ ихъ, мнѣ показалось, что и онѣ уже увѣрены, что Юлиньки на свѣтѣ нѣтъ, и обѣ страшно по ней горюютъ. Мысль о ея погибели съ новой силой вдругъ опять пришла мнѣ въ голову.

— Вы почемъ знаете, что Юлинька потонула? почемъ вы знаете? спросилъ я.

Дѣвушки замолчали.

— Неужели она потонула... неужели! Господи, Господи!...—И я сталъ молиться и плакать.

Феня встала, подошла ко мнѣ въ одной рубашкѣ, стала цѣловать меня и всячески утѣшать, въ чемъ, конечно, и успѣла, потому что около заплаканной щеки моей я почувствовалъ молодую, дѣвственную грудь.

— Мы васъ не пустимъ отъ себя, голубчикъ вы нашъ! сказала она, — ночуйте съ нами — мы не дадимъ вамъ плакать...

И ужъ я не помню, какъ случилось, что она меня разула, стащила съ меня курточку и положила съ собой на полъ, такъ что я очутился вдругъ на двухъ тюфякахъ между двумя сестрицами, изъ которыхъ одной было 18, а другой 15 лѣтъ.

Я смотрѣлъ на нихъ, какъ на служанокъ, и, вѣроятно, потому не такъ съ ними церемонился, какъ когда-то церемонился въ присутствіи Юлиньки. Онѣ смотрѣли на меня, какъ на ребенка, а кто же стыдится младенцевъ, да еще плачущихъ! Феня же была бойкая изъ бойкихъ; сестра ея была скромнѣе и до самой шеи закрывала себя одѣяломъ.

— Спите, голубчикъ! Христосъ съ вами! говорила Феня: намъ ваша мама велѣла беречь васъ... Затѣмъ она потушила свѣчку и легла.

Я затихъ и притворился спящимъ, пріятно озадаченный новостью моего неслыханнаго положенія. Сердце мое билось, какъ перепелъ, пойманный въ сѣть.

Черезъ полчаса, мои сосѣдки не только спали, даже стали похрапывать!

И признаться ли, я не могъ ни думать, ни даже оплакивать Юлиньку: — напрасно мысль о ея погибели приходила мнѣ въ голову. Мое горе какъ бы обезсилѣло въ наплывѣ еще неразгаданныхъ, отроческихъ ощущеній. Какое-то страстное любопытство жгло меня; но положить руку на тѣло спящей Фени или сестры ея мнѣ казалось страшной дерзостью. Я то рѣшался, и уже протягивалъ руку, то боялся разбудить ихъ, боялся показаться недостойнымъ ихъ ласки и довѣрія. О, сколько зла могло причинить мнѣ это довѣріе! Несомнѣнно, что для нихъ я былъ чѣмъ-то въ родѣ деревянной куклы, которую, какъ дѣти, онѣ раздѣли, разули и положили около себя; но былъ ли я дѣйствительно куклой, это имъ не приходило даже и въ голову. Я всю ночь боялся по-

шевелиться и вообще велъ себя такъ, что онѣ дѣйствительно могли подумать, что я нѣчто въ родѣ мальчика, сверченнаго изъ ихъ же тряпокъ. Видно, съ дѣтства рано въ мозгу моемъ сложились тѣ перегородки, которыя идутъ наперекоръ нашимъ желаніямъ, безъ которыхъ въ эту ночь я оказался бы озорникомъ и безъ которыхъ никогда, ни у кого, не можетъ развиться такъ-называемое самообладаніе.

Забывшись сномъ подъ утро и потомъ раскрывъ глаза, я уже не нашелъ около себя моихъ наивныхъ соблазнительницъ. Феня, съ платьемъ подъ мышкой, и съ голыми ножками, осторожно притворила за собою дверь, уходя въ корридоръ вслѣдъ за сестрой своей. Логинъ и жена его отъ нихъ же узнали, что я провелъ съ ними ночь; но никто изъ старшихъ и не подумалъ сдѣлать имъ за это выговоръ; а мена стыдила Аксюта, дразнилъ Семенъ, и я очень боялся, чтобъ какъ-нибудь мать моя также не стала дразнить или стыдить меня. Цѣлый день старался я какъ можно рѣже попадаться ей на глаза, былъ унылъ и страшно разсѣянъ.

Но не до меня было моей матери: она цѣлый день то уѣзжала, то пріѣзжала, и лихорадочное безпокойство ясно отражалось въ чертахъ лица ея.

ГЛАВА XXIV.

Не смотря на всѣ поиски, предпринятые моей матерью, нашими дворовыми, Десартомъ, Набатовымъ и, наконецъ, полиціею, Юлиньки слѣдъ простылъ. Десартъ не плакалъ, по крайней мѣрѣ въ моемъ присутствіи; но румянецъ его посинѣлъ, щеки впали; онъ былъ раздраженъ, проклиналъ Петербургъ, сердился на русскіе порядки, на то, что никто

нигдѣ не могъ найдти тѣла его дочери (что̀, впрочемъ, внушало ему нѣкоторую надежду), и, вѣроятно, въ глубинѣ души своей, онъ страшно боялся, чтобъ желаніе его не исполнилось и чтобъ ему на самомъ дѣлѣ не показали трупа его Юлиньки.

Княгиня Малыгина была больна и не приняла моей матери.

Описать мое собственное расположеніе духа въ ту отдаленную для меня эпоху довольно трудно. Что̀ я горевалъ—это несомнѣнно; но чтобъ я былъ безутѣшенъ, это едва-ли.

Погибель Юлиньки всего сильнѣе подѣйствовала на мое воображеніе. Я приходилъ въ ужасъ, воображая себѣ эту милую дѣвушку на днѣ холоднаго и бурнаго моря, окруженную раками и тѣми уродливыми рыбами, которыхъ изображенія видалъ я на картинкахъ, приложенныхъ къ «Musée d'enfants». То представлялось мнѣ, что я, сидя въ лодкѣ, плыву по Невѣ, въ ясный, лазурный день, гляжу въ прозрачныя волны—и на днѣ вижу Юлиньку: она еще жива, силится раскрыть глаза, поднимаетъ бѣлыя руки, какъ бы стараясь за что-нибудь ухватиться или поймать кого нибудь за руку; что-то хочеть сказать и не можетъ...

Такія фантазіи чаще всего приходили мнѣ по ночамъ, среди дремоты, и не разъ, уткнувшись въ подушку, я горячо и непритворно плакалъ.

День развлекалъ меня, въ особенности Феня. Я не могъ встрѣтить ея безъ того, чтобъ не вспомнить ночи, проведенной возлѣ нея, на полу Юлинькиной комнаты. Не знаю, влюбился ли я въ нее, или нѣтъ, знаю только, что сталъ находить въ ней бездну какихъ-то новыхъ прелестей, иногда позволялъ себѣ съ ней заигрывать, иногда не спускалъ съ нея глазъ, и сильно хотѣлось мнѣ, чтобъ опять повторилась для меня такая же безсонная, безпо-

койная ночь, посреди двухъ сонныхъ и совершенно спокойныхъ дѣвушекъ...

Но случайности никогда не повторяются, а теперь, подъ старость дней моихъ, я очень радъ, что и не повторилось подобной случайности...

Такимъ образомъ, въ отсутствіи Юлиньки, Феня стала пищей для моей неугомонной фантазіи.

Фантазіи не только у дѣтей, но и у большихъ дураковъ никогда не переходять въ дѣйствитсльность. Утѣшаться ими—это привилегія тѣхъ вѣчныхъ дѣтей, которымъ никогда не суждено поднять розовое покрывало жизни, смѣло заглянуть ей въ лицо и увидѣть ясно, какова она,—похожа ли хоть сколько-нибудь на наши фантазіи? Горе тѣмъ, кто поднялъ это покрывало слишкомъ рано, и горе тѣмъ, кто опоздалъ поднять его!

Я замѣтно похудѣлъ, поблѣднѣлъ, казался скучающимъ и утомленнымъ, вяло учился; но всегда почти зналъ свои уроки, хотя и сталъ часто пропускать ихъ, по милости моей матери.

Докторъ сказалъ ей, что мнѣ непремѣнно нужно разсѣяніе, и вотъ, мать моя, выѣзжая, стала брать меня въ свою коляску, ѣздить со мной по магазинамъ, лавкамъ и даже съ визитами.

Бывало, воротишься къ самому обѣду: ну—говорятъ мнѣ—ждалъ, ждалъ васъ учитель, такъ и ушелъ. — Ну, думаю про себя, слава Богу!

Помню, какъ разъ, въ концѣ ноября, мы пріѣхали къ княгинѣ Малыгиной. Швейцаръ опять сказалъ моей матери, что княгиня еще въ постели и никого не принимаетъ. На верху парадной лѣстницы, въ это время, появилась женщина, въ домашнемъ чепцѣ и въ старой кацавейкѣ. Это была Феоктиса. Она узнала насъ, сбѣжала внизъ, стала разспрашивать, горевать, ахать и увѣрять мать мою, что ея княгиня будетъ въ отчаяньи, коли уз-

наетъ, что мы были, а ей нельзя было принять насъ, такихъ дорогихъ гостей.

— Да что съ ней такое? спросила ее мать моя.

Феоктиса довольно подробно разсказала намъ, какъ у ея барыни, холодѣютъ ноги, въ особенности лѣвая часть бока (даже на себѣ показала, гдѣ имѣнно эта часть), что барыню ея, съ утра до ночи, а иногда и ночью, оттираютъ разными спиртами и суконками, что это не помогаетъ, что при этомъ у ней одышка, круженіе головы, и даже былъ обморокъ, когда она узнала о пропажѣ Юлиньки. Потомъ Феоктиса разсказала намъ, что наканунѣ 7 ноября, Юлинька была у нихъ все время въ комнатѣ у Зизи и уѣхала вечеромъ въ совершенно добромъ здоровьѣ.

— Мнѣ надобно видѣть эту Зизи. Не можете ли вы меня проводить къ ней?

— Дома ли Зинаида Николаевна? спросила она швейцара.

— Дома.

Мать моя сняла салопъ, я свою шинельку, и мы стали подниматься на верхнюю площадку.

Въ это время словоохотливая Ѳеоктиса сообщила новость, о которой мать моя не имѣла ни малѣйшаго понятія. А именно, что княгиня хотѣла положить въ ломбардъ, на имя нашей Юлиньки, десять тысячъ, если только та перейдетъ къ ней въ домъ и будетъ считаться попрежнему ея воспитанницей. Я такъ былъ развлеченъ разсматриваніемъ новыхъ для меня комнатъ и ихъ богатаго убранства, что видѣлъ (и то только мелькомъ) изумленное лицо моей матери, но не слушалъ и не слыхалъ ничего изъ того, что Ѳеоктиса сообщала ей.

Въ одной изъ комнатъ, увидалъ я клѣтку съ знакомымъ мнѣ попугаемъ. Бѣдный попка! онъ сидѣлъ, поджавши голову подъ крыло, медленно ее приподнялъ,

когда я постучалъ въ клѣтку, важно покачалъ головой, какъ бы осуждая меня за то, что я нарушилъ покой его, и опять спряталъ носъ свой, выглядывая на меня изъ-подъ крыла однимъ только глазкомъ, чернымъ, какъ черная, большая бисеринка. Онъ вѣрно былъ боленъ, потому что по временамъ жмурился и вздрагивалъ.

Ѳеоктиса провела насъ въ корридоръ и постучала въ дверь направо. Отвѣта не было. Ѳеоктиса опять постучала—гробовое молчаніе.

— Не у княгини ли она? Пойду, погляжу... гдѣ бы ей быть, кажись?... али...

— Не безпокойте ее,—сказала ей мать моя. Но только-что шаговъ на десять мы отошли отъ двери, дверь эта скрипнула, и въ полутѣни, въ полусвѣтѣ выглянула головка Зизи. Мы обернулись и остановились. Щурясь и какъ бы не узнавая насъ, она медленно пошла къ намъ на встрѣчу.

— Извините, дитя мое,—сказала ей мать моя по-французски:—мы хотѣли зайти къ вамъ въ комнату.

— О! благодарю васъ. Въ моей комнатѣ ничего нѣтъ интереснаго. Пойдемте лучше въ маленькую гостиную. А мама не приняла васъ?

— Нѣтъ.

— Ну, пойдемте въ маленькую гостиную.

Черезъ рядъ комнатъ дошли мы до небольшой, уютной комнатки, съ круглымъ зеркаломъ противъ двери, съ знакомой мнѣ фарфоровой пастушкой на этажеркѣ и съ большимъ турецкимъ диваномъ между двумя изразцовыми, узорными печами, съ какими-то китайскими бѣлыми куклами, размѣщенными по узорчатымъ карнизамъ ихъ.

Зизи была въ темномъ платьѣ съ открытымъ воротомъ, съ черными лентами въ заплетенныхъ косахъ, и такая же блѣдная, какъ и лѣтомъ. (Видно, загаръ не

приставалъ къ ея недѣтскому личику). Она сѣла отъ насъ немного поодаль, сложила на груди свои руки, немного сгорбилась, вообще приняла такой видъ, что готова слушать насъ, незваныхъ гостей.

— Я хочу поговорить съ вами и спросить васъ... начала мать моя.

Зизи выразила на лицѣ своемъ покорность и ожиданіе.

— Такъ-какъ вы были дружны съ моей покойной... Господи! неужели уже покойной Юлинькой!... скажите, не говорила ли она вамъ о какомъ-нибудь намѣреніи зайти къ кому-нибудь отъ ранней обѣдни, въ это ужасное утро?

— Нѣтъ, не говорила...

— И вы ничего мнѣ сказать не можете?

— Что-жъ я могу сказать вамъ. Что̀ мнѣ это такъ же больно, какъ и вамъ, въ этомъ, я думаю, вы не сомнѣваетесь.

— Вы также увѣрены, что она потонула?

— Да, въ этомъ я была почти увѣрена...

— Были? повторила мать моя:—стало-быть...

Зизи потупилась. — Да, до прошлой ночи я была въ томъ увѣрена.

— Отчего же, дитя мое, только до прошлой ночи?

— Такъ.

— Вы что-нибудь узнали?

— Да... но... впрочемъ, я и теперь ничего не знаю...

— Ничего? вопросительно повторила мать моя, не спуская съ нея глазъ.

— Да... но я... я стала спокойнѣе.

— Успокойте же и меня, ради Бога! Неужели вы ничѣмъ, такъ-таки ничѣмъ не можете меня успокоить?

— Едва ли.

— Дайте мнѣ возможность хоть чѣмъ-нибудь утѣ-

шить бѣднаго старика, ея отца. Онъ вѣрно боленъ. Я уже три дня, какъ его не вижу...

— Онъ католикъ, его должна утѣшать религія,—сказала Зизи, поднявши голову, и поглядѣла прямо въ глаза моей матери.

— Если религія утѣшаетъ, то и тѣ, которые исповѣдуютъ эту религію, должны утѣшать.

— Еслибъ онъ былъ здѣсь, я бы сказала: молитесь, и вы утѣшитесь.

— Это мы и безъ васъ знаемъ,—возразила мать моя, и въ голосѣ ея послышалось легкое раздраженіе.

Зизи опустила рѣсницы; послѣдовало молчаніе.

— О чемъ вы думаете, дитя мое? спросила ее мать моя болѣе ласковымъ голосомъ, какъ бы стараясь сгладить это минутное раздраженіе.

— А вотъ я о чемъ думаю. Никогда я не видала моего отца, и онъ никогда не видалъ меня; но въ моихъ рукахъ были письма... случайно я ихъ прочла и поняла, что это пишетъ отецъ мой. Онъ звалъ (Зизи при этомъ слегка запнулась),—онъ звалъ кого-то на путь спасенія... раскаявался, и видно было, какъ много онъ страдалъ... какъ глубоко вѣрилъ. У меня эти письма отняли, меня даже вздумали-было увѣрять, что никогда ничего подобнаго отецъ мой писать не могъ, потому что будто бы я родилась не отъ виконта, а отъ какого-то блузника, и не... а отъ какой-то женевской модистки... Я плакала, когда у меня chère maman отняла эти письма; но помолилась, и что же! — всѣ они пришли мнѣ на память, и я почти слово въ слово записала ихъ. Отняли у меня только бумагу — мысли остались со мной... Такъ и теперь: если Юлинька погибла, какъ вы думаете, — дружба ея осталась со мной, и это меня утѣшаетъ... Но она жива.

Я такъ и впился, и глазами, и слухомъ въ эту дѣ-

вушку; мысль, что Юлинька жива, не могла меня не обрадовать.

— Докажите! сказалъ я ей, тономъ моего учителя математики.

— Стало-быть вы увѣрены, что она жива? перебила меня мать моя.

— То-есть не увѣрена,—тонко улыбнувшись, отвѣчала Зизи:—а какъ бы вамъ это сказать?... мнѣ кажется, что я этому вѣрю.

— Вѣдь нельзя же такъ вѣрить ни съ того, ни съ сего.

— Я вѣрю ни съ того, ни съ сего, то-есть, если я скажу вамъ, почему я вѣрю, вы... вы мнѣ не повѣрите.

— Чѣмъ же вы заслужили мое недовѣріе? Еслибъ я считала васъ такой дурной или лживой, я не отпускала бы къ вамъ нашей Юлиньки съ такой охотой. Я, напротивъ, была рада вашему сближенію. Надѣюсь, что я не ошиблась въ васъ.

— Надѣюсь, что и Юлинька во мнѣ не ошиблась...

— Ну, такъ говорите же, говорите, отчего вы думаете, что Юлинька не погибла?

Зизи поглядѣла на мать мою, какъ бы мысленно допрашивая себя, стоитъ ли ей говорить и не лучше ли помолчать; но или не хотѣлось ей оставлять мать мою въ недоумѣніи, или весь этотъ разговоръ вела она съ умысломъ такъ, чтобъ увѣнчать его своимъ признаніемъ.

— Хорошо,—сказала она сухо,—я вамъ признаюсь: ночью я молилась за упокой души ея, и вдругъ слышу голосъ: *Она жива — не плачь!* Я оглянулась — никого! вынесла свѣчу въ корридоръ—никого! Былъ часъ ночи, всѣ спали и все было тихо... Я поблагодарила Бога, задула свѣчку и легла спать...

Зизи вдругъ замолчала и опустила рѣсницы. Мать моя съ минуту ничего не говорила, наконецъ произнесла: «Eh bien!»

— Eh bien, mon enfant! Такъ-какъ вы слышите голоса свыше, такъ-какъ Богъ удостоиваетъ васъ этой неизреченной милости, я увѣрена, что рано или поздно вы узнаете изъ того же источника все, что нужно для того, чтобъ найдти намъ нашу Юлиньку. Я увѣрена, что черезъ васъ Богъ поможетъ намъ. Не правда ли?

Зизи, прежде чѣмъ кончила говорить мать моя, подняла на нее глаза и смотрѣла ей въ лицо прямо изъ-подъ темной полосы прямыхъ бровей своихъ, какъ бы желая удостовѣриться, съ вѣрой или съ недовѣріемъ относится къ ней мать моя.

Вслѣдъ затѣмъ мы стали прощаться съ ней. Мать моя стала ее приглашать.

— Я не хочу васъ безпокоить,—сказала Зизи.

— Напротивъ, я до сихъ поръ не приглашала васъ потому, что думала, вамъ будетъ со мной скучно; думала также, что Юлинька за меня приглашала васъ. Прощайте. Кланяйтесь княгинѣ; скажите, что жалѣю, что не могу ее видѣть.

— Maman непремѣнно бы васъ приняла, если бы успѣла справиться съ своимъ туалетомъ. Я сама по утрамъ не вхожу къ ней: по утрамъ она не любитъ свидѣтелей...—И саркастическая улыбка появилась на губахъ ея.

— Да ужъ теперь не утро: третій часъ, сказала моя мать, подходя къ зеркалу и поправляя шляпку.

— Есть женщины, для которыхъ день начинается съ той минуты, когда онѣ, глядясь въ зеркало, почему-то вообразятъ, что онѣ хороши собой.

— Ого! да какая вы, моя милая! сказала мать моя и, слегка покраснѣвши, отошла отъ зеркала.

— Да, я никуда негодная дѣвушка: говорю все, что думаю...

— Много же у васъ будетъ враговъ, если вы такъ откровенны.

— Я не боюсь никакихъ враговъ.

— Не потому ли, что у васъ никогда ихъ не было?

— У меня!... начало-было Зизи, но вдругъ перемѣнила тонъ и смиренно проговорила: — да, можетъ быть потому, что, какъ вы говорите, у меня враговъ еще не было.

Поглядѣвши на Зизи съ какимъ-то недоумѣніемъ, мать моя окончательно съ ней простилась—не поцѣловала ее, какъ бы слѣдовало ожидать, а просто простилась и повторила свое приглашеніе.

Когда мы сходили съ лѣстницы, мы встрѣтились съ какимъ-то человѣкомъ среднихъ лѣтъ, довольно благообразной наружности. Судя по его длиннополому сюртуку, связаннымъ концамъ галстука, коротко остриженнымъ волосамъ и шляпѣ въ рукахъ, можно было сразу узнать въ немъ лицо духовнаго сана, то-есть католическаго пастора. Онъ прошелъ мимо насъ, слегка наклонивши голову, при этомъ искоса поглядѣлъ на насъ, и отъ него повѣяло тонкимъ запахомъ какихъ-то цвѣтовъ, смѣшаннымъ еще съ болѣе тонкимъ запахомъ церкви.

— Нѣтъ, это не дитя!.. это... это... я еще никогда не встрѣчала такихъ дѣвушекъ. Сама была институткой, сама была религіозна до того, что чуть не запостилась и не умерла съ голоду. Но... это не то... разсуждала мать моя, сидя въ коляскѣ и укутавшись въ салопъ, потому что холодный вѣтеръ дулъ намъ въ лицо, и снѣжинки, въ одиночку и далеко врозь кочующія въ сѣромъ воздухѣ, прилипали къ намъ. — Недаромъ княгиня ее не любитъ, продолжала мать. Положимъ, въ прошлую ночь ей былъ какой-то голосъ — отчего же, тому назадъ дней пять-шесть, она и съ Десартомъ точно также какъ-то таинственно вела себя, точно также намекала ему, что

Юлинька не погибла, говорила ему о какихъ-то новыхъ испытаніяхъ, ниспосланныхъ на нее Провидѣніемъ? Нѣтъ, вѣрно она что-нибудь да знаетъ... Замѣтилъ ты, какъ она намекнула на слабости княгини, той самой, которую она называетъ своей матерью?

— Нѣтъ, мама, не замѣтилъ.

Мать моя повторила слова Зизи (что̀ и дало мнѣ возможность ихъ припомнить и записать); изъ этихъ словъ я также не понялъ, почему княгиня по утрамъ не любитъ свидѣтелей, вообразивъ себѣ, что она не любитъ ихъ по своей стыдливости.

— Какъ не понять! понимаю, мама, отвѣчалъ я—я также не люблю не при комъ...

— Чего ты не любишь?

— Надѣвать чулки или что-нибудь эдакое...

— Ты глупъ—вотъ что! Кто же проситъ, чтобъ княгиня при постороннихъ, особливо при гостяхъ, натягивала чулки! Зизи просто намекала на бѣлила, румяна, фальшивые зубы и букли,—и это очень дурно. Положимъ, я бы стала румяниться; ну, развѣ ты выдалъ бы меня кому нибудь изъ постороннихъ?

— Нѣтъ, я бы не выдалъ...

— Ну то-то же. Ты умникъ, и сердце у тебя благородное, хорошее сердце.

Мнѣ было это очень лестно слышать изъ устъ моей матери; но все-таки при этомъ я вспомнилъ, что у ней на туалетѣ, между прочими вещицами, стоитъ какая-то маленькая фарфоровая баночка, и что въ этой баночкѣ находится что-то такое очень розовое.

Когда мы пріѣхали домой, Логинъ доложилъ намъ, что былъ отецъ Алексѣй и велѣлъ мнѣ сказать, что если онъ опять меня не застанетъ, то и не захочетъ больше учить меня. Услыхавши это, мать моя пожалѣла, что

взяла меня съ собой.—Ты же никогда, никогда не скажешь, что у тебя урокъ, никогда!

— Я думалъ, мама, что вы знаете.

— Ты этого не думалъ и не могъ думать; а что ты мастеръ оправдываться, это я давно замѣтила.

Я замолчалъ.

На другой день, помню, въ отсутствіи матери, я забрался въ ея уборную, нашелъ на туалетѣ вышеупомянутую баночку и передъ зеркаломъ нарумянилъ себѣ щеки (это была губная помада). Мнѣ показалось, что я съ розовыми щеками сталъ въ десять разъ красивѣе, пошелъ показаться Фенѣ; но, встрѣтившись съ вострогла-зой Аксютой, сконфузился и проворно носовымъ платкомъ стеръ съ лица красоту свою.

ГЛАВА XXVI.

Весь ноябрь, до самой поздней зимы, погода стояла самая безобразная. То морозило, то поднимался вѣтеръ съ моря, и напуганные жители нашей сѣверной Пальмиры не разъ съ безпокойствомъ прислушивались: ужъ не опять ли палятъ адмиралтейскія пушки, и эти пушки дѣйствительно не разъ принимались палить. Нева забирала силу и опять какъ-будто готовилась на какое-то неблаговидное покушеніе. Не помню, были ли къ наступающей зимѣ наведены черезъ Неву снесенные и поломанные мосты; помню только, что, пока не замерзла эта рѣка, съ Васильевскимъ островомъ только ялики и поддерживали сообщеніе. Много, я думаю, лишнихъ грошей и пятаковъ спустилъ въ кошель знакомецъ мой Митрофанъ, помахивая своими веслами. Онъ замѣтно не узнавалъ меня, когда я съ Фрейманомъ приходилъ на эту

пристань. Я ему кланялся, а онъ меня звалъ на Васильевскій островъ.

Разъ, на этой пристани, встрѣтилъ я Алешу Игнатина; онъ былъ съ братомъ и также не узналъ бы меня, еслибъ я не подскочилъ къ нему и не схватилъ его за руку. Бѣдные мальчики! они только-что навѣщали своего отца, заболѣвшаго горячкой и прямо изъ уѣзднаго суда отвезеннаго въ больницу. Во время наводненія семейство Игнатиныхъ спаслось на чердакѣ, но потеряло все, что имѣло. Больная мать ушла съ ребенкомъ-дочерью гостить на Пескахъ у какой-то родственницы (не у родителей ли Луизы Карловны?), а Костя помѣстился въ академіи художествъ, у одного изъ своихъ товарищей, и вёзъ своего брата къ одному академическому профессору, съ тѣмъ, чтобъ Алеша растиралъ ему краски, а тотъ далъ бы ему за это уголокъ, хоть за ширмами, гдѣ обыкновенно раздѣваются натурщики и натурщицы и гдѣ лежитъ всякій хламъ.

Алеша нисколько, повидимому, не обрадовался нашей встрѣчѣ, торопилъ брата садиться въ лодку, и когда я сталъ просить его зайти ко мнѣ, онъ только спросилъ меня: — а гдѣ ты живешь?

— Все тамъ же, дружище... и знаешь, что я тебѣ скажу?... какое со мной несчастіе! Юлиньки нѣтъ уже... уже... она... или потонула, или... ужъ и не знаю, что съ ней такое случилось!...

— Какая Юлинька?

— А та самая, помнишь?...

Алеша тряхнулъ головой, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ что-нибудь вспомнилъ, поглядѣлъ на Неву и попросилъ у брата носоваго платка, чтобъ высморкаться. Костя нехотя досталъ ему свой носовой платокъ.

— А вы гдѣ живете? въ свою очередь спросилъ меня

Костя, когда я соображалъ, прилично ли мнѣ дать Алешѣ свой собственный носовой платокъ, или неприлично.

— Я ужъ Алешѣ написалъ свой адресъ,—отвѣчалъ я.

Костя засмѣялся. — Вы думаете,—сказалъ онъ,—что онъ найдетъ его?... Да у него и книги-то всѣ потонули: онъ только и спасъ одного котенка... хотѣлъ его къ отцу въ больницу тащить.

— Гдѣ-жъ этотъ котенокъ? спросилъ я.

— Да въ нашей пустой квартирѣ остался, стеречь мои этюды. Можете себѣ вообразить-съ, рамы еще не исправлены, печей еще нѣтъ, а мои этюды на стѣнкахъ какъ висѣли, такъ и висятъ-съ! Пришли мы вчера... а ужъ котенокъ несчастный и бѣжитъ къ намъ навстрѣчу!..

— Я его къ мамашѣ отнесу,—проговорилъ Алеша.

— Да, какъ не такъ! Мать съ ребенкомъ кормятъ, такъ, думаешь, и котенка твоего кормить станутъ... Уменъ больно! Пойдемъ!

И, простясь со мной, они сѣли въ лодку и поѣхали по направленію къ академіи.

Воротившись домой, я разсказалъ моей матери о моей встрѣчѣ съ Алешей. Мать моя принялась журить меня, зачѣмъ я его не привелъ къ себѣ, не отогрѣлъ и не накормилъ. — Ну, ты долженъ непремѣнно отыскать его и даже его котенка—непремѣнно!... Хорошъ пріятель, нечего сказать!...

Никогда суровый, эгоистическій, холодный Петербургъ не казался мнѣ такимъ добрымъ, какъ въ это несчастное время. Мать моя хотѣла у одного домовладѣльца нанять цѣлый этажъ для семействъ, лишенныхъ пріюта, написала ему письмо и, ради Бога, просила его сбавить цѣну. Домохозяинъ отвѣчалъ, что ни одной копейки онъ ей не уступитъ; но для несчастныхъ весь верхній этажъ свой отдаетъ даромъ... Безпрестанно слышалъ я, какъ въ одномъ мѣстѣ, откачавши воду и вытащивши пожитки

какихъ-нибудь бѣдныхъ обитателей подвальныхъ помѣщеній, работники отказывались отъ платы, имъ предложенной; какъ, въ другомъ мѣстѣ, какая-то нищая старушка отказалась отъ новой теплой шубы, потому что спасла дырявый салопъ свой и потому, что шуба эта можетъ пригодиться какой-нибудь другой нищей, у которой ничего, даже и дыряваго салопа, не осталось на зиму...

Поѣхали мы съ Фрейманомъ на Васильевскій островъ искать Алешу, спрашивали объ немъ у сторожей академіи, взбирались по лѣстницамъ на самый верхъ—и вездѣ по коридорамъ слышали одинъ отвѣтъ: «постучитесь въ такомъ-то нумерѣ, не тамъ ли». Мы стучались: выглядывали косматыя, по истинѣ артистическія головы, и говорили намъ: «Не знаемъ. Постучитесь, попробуйте, въ 21 нумеръ: тамъ есть какой-то мальчикъ»... Но и въ 21 нумерѣ его не оказалось. Такъ мы и отправились по Невѣ назадъ, и по такимъ высокимъ волнамъ, по какимъ я еще ни разу не ѣздилъ. Лодку страшно качало. Я трусилъ, и мой Фрейманъ также трусилъ и ворчалъ: «Эдакъ можно простудиться. Никогда я съ вами такъ не поѣду!» Онъ обѣими руками придерживалъ свою шляпу, и сидѣлъ, въ воротникъ шинели спрятавши горбатый носъ свой.

Зизи, не смотря на приглашеніе, такъ ни разу и не была у моей матери. Но княгиня Малыгина удостоила насъ своимъ посѣщеніемъ. Она пріѣхала разспросить насъ, не знаемъ ли мы чего-нибудь объ Юлинькѣ.

— Если она жива, то спросите объ этомъ Зизи,—сказала ей мать:—если кто-нибудь знаетъ что-нибудь, такъ это она.

— Почему вы, моя милая, такъ думаете?

— Мнѣ такъ кажется.

— Я ничего не понимаю, ничего не понимаю. Моя

Зизи чуждается меня, и пока я не позову ее, никогда сама не подойдетъ ко мнѣ... Да и гдѣ скрываться Юлинькѣ, и зачѣмъ? Она должна была видѣть, какъ я люблю ее... Я... знаете ли что, chère m-me Tchaliguine, я вѣдь замужъ хотѣла отдать ее...

— За кого?

— А знаете... у меня вѣдь огромное въ Петербургѣ знакомство, и одинъ молодой человѣкъ, съ очень, даже съ очень пріятною наружностью и... и съ состояніемъ, разъ увидалъ ее у меня—и растаялъ, сталъ безпрестанно пріѣзжать ко мнѣ и проболтался, что влюбленъ. Я приняла въ немъ участіе... Но я ничего еще не говорила Юлинькѣ, сказала только Зизи... и то, знаете, шутя... какъ одно предположеніе... только спросила: какъ ты думаешь, пойдетъ ли Юлинька за Латынина?

— За Латынина? Это тотъ самый Латынинъ, который былъ адъютантомъ у князя К.....на?

— Да, да этотъ самый, прелестнѣйшій молодой человѣкъ... прелестнѣйшій! ..

— Я его знаю: онъ, кажется, у меня бывалъ... онъ въ отставкѣ за то, что обыгралъ кого-то... онъ и у меня являлся только къ картамъ. Бывало, только-что затѣется банкъ и штосъ—Латынинъ тутъ-какъ-тутъ, и Господь его знаетъ, откуда онъ явится. Но на Юлиньку онъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія.

— Ахъ! что значить не обращалъ вниманія! какъ-будто не довольно одного какого-нибудь взгляда, какъ-будто отъ одного взгляда не можетъ зависѣть судьба нашего сердца? Помните, что пишетъ объ этомъ кажется Жанъ-Жакъ Руссо... Милый писатель! я когда-то его обожала...

— Но... вспомните, что когда Латынинъ посѣщалъ мой домъ, Юлинька была еще дѣвочкой.

— Эхъ! и это ничего не значить, моя милая! ничего

не значитъ!... Я пожилая женщина—и могу влюбиться въ вашего Сережу... это ничего не значитъ!

— Что же сказала вамъ Зизи?

— Зизи!... Зизи меня озадачила... Поздно, говоритъ.— Какъ, говорю, поздно? — Она, говоритъ, не пойдетъ за него.—Отчего, говорю, не пойдетъ?—Не пойдетъ, говоритъ, потому что Юлія уже отдала свое сердце въ руки, болѣе достойныя, которыя сберегутъ ее для Бога, и потому еще говоритъ, что Латынинъ не имѣетъ никакой религіи, а потому будто бы и не долженъ на ней жениться... Какъ вамъ это нравится?... Я, признаюсь, поблѣднѣла даже.., Какъ, говорю, по-твоему и у меня нѣтъ никакой религіи?...—Никакой, говоритъ.—Что вы на это скажете! Я ужъ теперь и не говорю съ ней... Я, моя милая, просто начинаю ее бояться.

— Почему она не хочетъ у меня бывать? Это такая дѣвочка, съ которой, какъ я вижу, нужно говорить умѣючи...

— А вы думаете, я не умѣю говорить!... Но она меня съ вами въ грошъ не ставитъ... Я также, моя милая, говорить умѣю, даже браню ее, въ глаза браню— ничего!...

— Пошлите ее къ отцу.

Княгиня выпучила на мать мою глаза и даже какъ-будто вздрогнула.

— А почему вы знаете, кто ея отецъ?

— Я не знаю...

— А можетъ быть я и сама не знаю, кто ея отецъ... Вы... моя милая... что-нибудь эдакое... какія-нибудь сплетни... Нѣ.. нѣтъ... Я знаю, что на умѣ у этой дѣвочки... Она не щадитъ меня... Она... О! я ее знаю!... Только послушай, что она говоритъ!... Не жди она отъ меня наслѣдства... нѣтъ! скорѣй васъ сдѣлаю своей наслѣдницей.

— Благодарю васъ...

— Нечего, ma chère, смѣяться... Я всю жизнь свою дѣлала такія вещи, которыхъ никто ожидать не могъ... Вы не смѣйтесь... А ужъ я эти всѣ сплетни выведу на чистую воду... Бѣдная Юлинька!... Вѣрите ли, chère m-me Tchaliguine, какъ я ее любила? Бывало, позову ее, усажу, любуюсь... Ну, чего ты хочешь? говорю; хочешь, балъ для тебя сдѣлаю? всѣхъ позову: пусть глядятъ на тебя, любуются тобой... И я видѣла — у меня глаза, я вамъ скажу, насквозь видятъ, — видѣла, какъ ее трогала моя привязанность... Вдругъ войдетъ Зизи: пойдемъ, говоритъ. Та, бѣдная, встанетъ и уходитъ... Моложе ея—и такую власть забрала надъ ней! Какъ вы это себѣ объясняете?

— Подумаю. Можетъ быть, нашъ разговоръ и объяснитъ что-нибудь.

Такъ бесѣдовала у насъ княгиня. Когда она уходила, я замѣтилъ, не смотря на ея величественную походку, что она нетверда на ногахъ... или ужъ у ней была привычка на ходу какъ-будто слегка спотыкаться и всѣмъ тѣломъ слегка подаваться впередъ. Нечего и говорить, что мать моя проводила ее до передней, а я убѣжалъ, потому что старуха на прощаньѣ хотѣла расцѣловать меня.

Когда она уже садилась въ карету, подсаживаемая двумя гайдуками, я подбѣжалъ къ окну и увидѣлъ на улицѣ человѣка въ клеенчатой фуражкѣ и въ синемъ плащѣ... Это былъ Ильинъ. Я указалъ на него моей матери. Онъ стоялъ спиной къ канавѣ и глядѣлъ къ намъ въ окна...

— Позову я его, сказала мать моя: — право, онъ не хуже этой дуры.

— Да вѣдь онъ сумасшедшій?

— Если не въ сумасшедшемъ домѣ, значитъ, не опасное помѣшательство.

И она стала махать ему рукой, чтобъ онъ зашелъ.

Но онъ въ это время сталъ глядѣть за уѣзжающей каретой княгини и по тротуару бросился за ней чуть не бѣгомъ. Удивляюсь, какъ онъ не спотыкался и не падалъ. Тротуаръ передъ рѣшеткой вдоль Мойки былъ мѣстами взломанъ и приподнятъ наводненіемъ: гранитныя плиты его лежали такъ неровно и такъ были скользки, что даже ходить по нимъ не было никакой возможности.

— Ну,—сказала мать моя: — ужъ онъ и старуху эту не принялъ ли за Юлиньку?

Спустя дня два или три, мать моя, выѣзжая со двора, опять встрѣтила этого несчастнаго джентльмена. Она подозвала его къ коляскѣ и сообщила ему о пропажѣ Юлиньки. Не знаю, повѣрилъ ли ей этотъ мрачный лордъ, или не повѣрилъ. Помню только, что онъ цѣлый часъ послѣ этого, понуривъ голову, неподвижно стоялъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, точно оглушенный громомъ. Нашъ Семенъ глядѣлъ на него изъ окна и хохоталъ надъ нимъ; прохожіе также оглядывали его съ головы до ногъ.

— Ну, что смѣешься? сказалъ Логинъ Семену:—ты думаешь, онъ передъ счастіемъ стоитъ?... Это онъ къ несчастью какому-нибудь... Не было его — и бѣдъ у насъ не было...

Кстати замѣчу, что Паша вышла уже замужъ. Свадьба была справлена на квартирѣ жениха. Я былъ въ церкви. Мать моя была чѣмъ-то въ родѣ посаженной матери. Я возилъ образъ, и въ этотъ вечеръ карманы мои были биткомъ набиты конфектами. На свадьбѣ, между почетными гостями, была и моя няня Аграфена... Какъ же это, думалъ я, она говорила, что низачто не пойдетъ къ этому Логину!... Женихъ ничего больше не дѣлалъ, какъ только всѣхъ потчивалъ. Невѣста сидѣла, потупивъ глазки. Феня была такъ хороша въ этотъ вечеръ, съ такими пушистыми локонами и съ такими коротенькими рукавчиками,

что я мечталъ: нельзя ли и мнѣ какъ-нибудь жениться на Фенѣ.

Не помню хорошенько всѣхъ подробностей этой мѣщанской свадьбы; но припоминаю, что мать моя на квартирѣ жениха поднесла ему хлѣбъ и соль, потомъ выпила бокалъ шампанскаго и уѣхала; я попросился у ней остаться съ няней, хоть до 10 часовъ вечера. Припоминаю, какъ странно, въ магазинѣ жениха, со всѣхъ стѣнъ качались, бѣгали, щелкали и постукивали маятники, и какъ никто на это, кромѣ меня, не обращалъ никакого вниманія. У меня разболѣлась голова, и когда другіе ѣли, пили, курили и слушали музыку, я ушелъ въ этотъ магазинъ, освѣщенный одной лампой и запертый съ улицы, сѣлъ на стулъ, и казалось мнѣ, всѣ часы о чемъ-то хлопочутъ, и всѣ маятники что-то непонятное говорятъ со мной.

Вошла няня; я спросилъ ее, будетъ ли Глаголевскій?

— Воона! кого вспомнилъ!.. Придитко онъ сюда—попробуй!.. Чего онъ тутъ не видалъ? Обойдемся и безъ этого сокровища! отвѣчала она весело.

Вошла Феня — я сказалъ ей: «Феня! я кутилъ (т. е. выпилъ бокалъ шампанскаго).—Если я какъ-нибудь засну, пожалуйста, разбуди меня или отвези меня домой.

— А мы еще плясать будемъ,—отвѣчала Феня.

— Позволь мнѣ поцѣловать твою руку...

— Вотъ выдумали—руку!.. Мы и такъ съ вами цѣлуемся...

Всѣ ушли опять въ заднія комнаты и оставили меня. Свадьба дѣлалась все шумнѣе и шумнѣе. Скрипки пиликали. Горничныя плясали, грызли орѣхи, растаптывая орѣховую скорлупу своими подошвами. Логинъ былъ пьянъ, безпрестанно плакалъ отъ радости и со всѣми цѣловался.

Въ 10 часовъ я не могъ никакъ домой попасть. Кто

ни пріѣзжалъ за мной, всѣ оставались: пріѣхалъ Семенъ—остался, и даже съ Аграфеной любезничалъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Пріѣхалъ Фрейманъ—ему подали бутылку портеру, онъ сѣлъ у особеннаго столика, закурилъ сигару, да такъ до 12-го часа и остался въ качествѣ наблюдателя.

Полночь застала меня въ часовомъ магазинѣ лежащимъ на стульяхъ и дремлющимъ. Сквозь сонъ маятники на всѣ лады лепетали мнѣ: тикъ-тикъ! ти-ки, ти-ки, ти-ки!.. и Богъ знаетъ, что мнѣ лѣзло въ голову подъ эти «ти-ки-ти-ки»... Въ двѣнадцать часовъ начался звонъ часовыхъ молотковъ также на всѣ лады, даже выскочила кукушка, зашипѣла и закуковала.

Домой воротился я чуть ли не во второмъ часу. Ѣхалъ я въ саняхъ, прижавшись къ Фрейману, и, вѣроятно, думалъ: слава Богу, зима!—зимой не бываетъ наводненій; зиму еще проживемъ...

ГЛАВА XXVII.

На сценѣ зима 1824—1825. Сцена, занимаемая этою владычицей сѣвера, такъ велика и обширна и такое безчисленное множество заключаетъ въ себѣ актрисъ и актеровъ, что не всѣмъ суждено отыскать или видѣть между ними главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Я также, по малолѣтству, прозѣвалъ ихъ; но въ этихъ запискахъ главное дѣйствующее лицо—это я самъ, всѣми позабытый мальчикъ, потомъ юноша, потомъ мужъ. У меня была маленькая роль; но, какъ увидите, на сценѣ жизни нелегко играть и тѣ маленькія роли, которыхъ никто не назоветъ историческими.

Начало этой зимы было ознаменовано тѣмъ, что, гу-

ляя по Невскому, я встрѣтилъ знакомое мнѣ личико, подрумяненное морозомъ — дѣвочку въ атласной шапочкѣ, опушеной бѣлымъ мѣхомъ, въ теплыхъ сапожкахъ и въ теплыхъ варежкахъ. Она не обратила на меня ни малѣйшаго вниманія; но, проходя мимо ея, я произнесъ: «Вѣрочка!» самъ испугался моей смѣлости и ускорилъ шаги свои. Дѣвочка оглянулась и пріостановила свою мамашу.

— Почемъ вы знаете, какъ зовутъ мою дочь? спросила меня мамаша.

Я хотѣлъ уйдти; но Фрейманъ, въ свою очередь, остановилъ меня.—Васъ спрашиваютъ,—сказалъ онъ по-нѣмецки:—отвѣчайте же, коли спрашиваютъ.

Хорошенькая мамаша съ хорошенькой дочкой подошли ко мнѣ.

— Я васъ не знаю,—начала Вѣрочка.

— Мнѣ кажется,—отвѣчалъ я, сконфузившись: — на Крестовскомъ... помните?.. я еще оставилъ вамъ мою тросточку.

— Мамаша! ты не помнишь, кто мнѣ на Крестовскомъ оставилъ свою тросточку?

— А какъ ваша фамилія?

— Сережа Чалыгинъ.

— Ахъ да, помню! Я тогда не видала васъ, но много слыхала о вашей матушкѣ. Приходите къ намъ. Мы живемъ у Казанскаго собора.

— Ахъ да! помню, повторила дѣвочка. — Приходите, къ намъ. Мы живемъ у Казанскаго собора. Помню, добавила она, — вы Сережа! Вы еще гулять со мной ходили, и на васъ была синенькая курточка съ золотыми пуговками.

— До свиданія! сказала мамаша.

— До свиданія! повторила Вѣрочка тѣмъ же тономъ.

Когда это я съ ней гулять ходилъ? думалъ я и, разсѣянный, безпрестанно на кого-нибудь натыкался. Когда

же это?.. Что это она выдумываетъ?!. А небось, не помнитъ—поцѣловала меня. Эдакая куколка!

Но, съ игривой мечтой объ этой хорошенькой куколкѣ, воротился я домой въ такомъ расположеніи духа, какъ будто со мной случилось какое-то необыкновенное приключеніе. Дома ожидало меня другое приключеніе. Въ моей комнатѣ, совершенно неожиданно, я засталъ Алешу Игнатина, обрадовался и бросился обнимать его. Мать моя отыскала этого Алешу чрезъ мадамъ Калистратову, мужъ которой, какъ я уже замѣтилъ, служилъ чѣмъ-то при академіи художествъ.

Прежде всего, разумѣется, я разсказалъ Алешѣ о моей встрѣчѣ на Невскомъ, о томъ, наконецъ, какъ я однажды бѣжалъ изъ дому и путешествовалъ на Крестовскій островъ съ моимъ слугой Егоркой. — У меня есть,—сказалъ я ему—слуга Егорка; но теперь онъ уже не живетъ у насъ, потому что его отдали къ часовщику, учиться часы чинить.

Алеша провелъ у насъ цѣлый день и, послѣ ужина, остался ночевать на диванѣ въ классной комнатѣ. Послѣ этого,—ужъ я и не помню, какъ это случилось,—Алеша остался у насъ опять ночевать, опять и опять, — наконецъ, и совсѣмъ остался у насъ въ домѣ. Само ли собой это сдѣлалось, или мать моя этого пожелала, не помню. Сначала онъ былъ, какъ потерянный — не рѣзвился, не шумѣлъ, дичился моей матери, исподлобья глядѣлъ на Фреймана, и когда я повѣрялъ ему свои мечты и фантазіи, оттопыривалъ губы и глядѣлъ на меня вопросительно... Но къ намъ немудрено было привыкнуть, ибо въ домѣ нашемъ не было никакихъ особенныхъ церемоній, даже, по правдѣ сказать, и большого порядка не было. Алеша скоро развернулся, и мы съ нимъ поднимали такую возню, такъ иногда шумѣли и бѣгали, что

мать моя не разъ высылала сказать намъ, что у ней отъ нашей бѣготни голова трещитъ.

Черезъ мѣсяцъ Алеша долженъ былъ, въ качествѣ воспитанника, учиться у тѣхъ же приходившихъ ко мнѣ учителей, и тутъ-то въ первый разъ сталъ я сознавать не безъ гордости все превосходство своихъ способностей надъ его прилежнымъ безсиліемъ. Я сталъ сравнивать мои познанія и мои успѣхи съ его успѣхами, и сравненіе это начинало льстить моему дѣтскому самолюбію. Алеша былъ также самолюбивъ: во всемъ покоряясь старшимъ, онъ не выносилъ ни моихъ наставленій, ни моей ироніи, страшно зубрилъ онъ свои уроки, и малѣйшій успѣхъ стоилъ ему немалыхъ трудовъ и усилій. Не оттого ли, отдѣлавшись отъ этихъ трудовъ и усилій, вдругъ переходилъ онъ къ бѣшеной рѣзвости, скакалъ по столамъ и стульямъ, лазилъ на двери и ногами становился на бронзовыя ручки, часто ломалъ вещи и нерѣдко надоѣдалъ моему нѣмцу, которому не всегда удавалось унять его.

Чувствуя свое умственное превосходство надъ моимъ пріятелемъ, я не хотѣлъ ни въ чемъ уступать ему. Судите же сами, какой ядовитой скорбью обливалось мое самолюбивое сердце, когда, начиная бороться съ нимъ, я падалъ спиною на полъ и долго не могъ встать, придавленный его колѣномъ или его руками, коротенькими, но сильными. Въ эти позорныя для меня минуты, кровь приливала мнѣ къ лицу, и разъ — это было въ присутствіи Фени—я не вытерпѣлъ и, поднявшись съ полу, бросился съ кулаками на моего противника. Алеша въ свою очередь такъ хватилъ меня кулакомъ по щекѣ, что у меня искры изъ глазъ посыпались. Феня схватила меня, прикрикнула на Алешу и стала бранить его; я расплакался. Читая тогдашніе переводные романы, я не разъ мысленно присутствовалъ на рыцарскихъ турнирахъ, сочувствовалъ побѣдителямъ, жалѣлъ, зачѣмъ все это вышло

изъ обыкновенія, воображалъ себя силачемъ, и какой бы я былъ тогда непобѣдимый рыцарь — и что же? ребенокъ, который цѣлымъ годомъ моложе меня, сбиваетъ меня съ ногъ и нисколько при этомъ не гордится, какъ будто ему сбить меня съ ногъ ничего не стоитъ, все равно, что муху прихлопнуть!... и не рыцарь заступается за женщину, а Феня заступается за рыцаря, и — этотъ рыцарь хнычетъ... Обидно!

Такія ссоры не разъ случались. Алеша дулся и уходилъ отъ меня куда-нибудь въ дальній уголъ; я почему-то считалъ его виноватымъ и также дулся. Иногда, подкравшись, я ударялъ его линейкой по спинѣ и кричалъ радостнымъ голосомъ: «Отомстилъ! отомстилъ! Э! что братъ! отмстилъ небось!...» Такимъ мщеніемъ унималъ я свое взволнованное сердце; но Алеша не отвѣчалъ мнѣ на заигрыванье, отказывался играть со мной и дѣлался втрое прилежнѣе; и такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока, вслѣдъ за усиленнымъ напряженіемъ памяти и тяжелаго прилежанія, для Алеши не наступала реакція: тогда сама натура его начинала требовать движенія: онъ забывалъ ссору и готовъ былъ опять бороться со мной или скакать по стульямъ.

Алешу навѣщалъ братъ его Костя. Мать моя однажды, поговоривши съ нимъ, предложила ему давать мнѣ уроки рисованья. Костя сталъ являться къ намъ въ опредѣленные сроки и учить меня выводить глаза, носы, уши и профили. Ему было лѣтъ около девятнадцати: онъ былъ бѣлокуръ, бѣлъ, румянъ, приземистъ и только окладомъ своего лица походилъ на Алешу. Но характеръ этого лица былъ совсѣмъ другой: глаза влажные и чувственно-ласковые, губы мягкія и улыбающіяся, манеры вкрадчивыя, голосъ заискивающій. Онъ соединялъ въ себѣ восторженность юноши съ какимъ-то добровольнымъ лакействомъ. Даже Егорка мнѣ такъ не услуживалъ, какъ

этотъ Костя: онъ чинилъ мнѣ карандаши, поднималъ резинку, когда я ронялъ ее,—однимъ словомъ, велъ себя какъ какой-нибудь услужливый пажъ, приставленный къ маленькой принцессѣ. Или ужъ онъ былъ до безконечности благодаренъ намъ за то, что мы пристроили его братишку, и, угождая мнѣ, думалъ угодить этимъ моей матери. Когда я просилъ его что-нибудь разсказать мнѣ, онъ принимался описывать академическую жизнь, профессоровъ, мастерскія и разныя проказы своихъ товарищей. Вообще, всѣ его разсказы вращались около академическихъ стѣнъ: въ этихъ стѣнахъ, какъ видно, жила вся его надежда на будущее. Не знаю, былъ ли у него талантъ, но огня и любви къ живописи было много. Слушая его, мнѣ казалось, что передо мной сидитъ будущій русскій Рафаэль. Для того, чтобъ это я вообразилъ себѣ, мнѣ кажется, достаточно было молодому человѣку имѣть у себя палитру и краски; а у него, кромѣ этого добра, были еще надежды украшать своею кистью будущій храмъ Спасителя, по проекту Витберга воздвигаемый въ Москвѣ, на Воробьевыхъ горахъ. (О томъ, что милліоны, которые слѣдовало положить въ основаніе этого громаднаго храма, разошлись по карманамъ чиновныхъ плутовъ, воспользовавшихся геніальной довѣрчивостью молодого архитектора, и что храма этого никогда не увидитъ—недостойна увидѣть Россія,—объ этомъ наивный юноша и не воображалъ, и не думалъ).

Бесѣды наши съ Костей, по большей части, происходили въ столовой, которая была проходной комнатой. Помню, какъ однажды Феня, съ утюгомъ въ рукѣ, появилась на порогѣ этой комнаты, прошла нѣсколько шаговъ, взглянула на Костю, пріостановилась и покраснѣла. Костя поглядѣлъ на нее и улыбнулся.

— Вы ее знаете? спросилъ я Костю.

— Кажется, гдѣ-то я васъ видѣлъ? сказалъ онъ Фенѣ.

— На улицѣ всякій видитъ,—отвѣчала Феня.

Костя поглядѣлъ на нее своими свѣтло-масляными глазками.

— Какъ ее зовутъ? спросилъ онъ меня, наклонивъ курчавую голову.

— Феней.

— Феня... Феничка! Куда же это вы уходите? останьтесь съ нами...

— Да, есть мнѣ время... сказала она и, обернувшись на порогѣ, исчезла въ коридорѣ.

— Стройная дѣвушка-съ!.. хоть бы головку написать-съ. Просто бѣда въ Петербургѣ, совсѣмъ женской хорошей натуры нѣтъ: у иной головка недурна, за то-съ, лапы такія, что изъ каждаго пальца по набалдашнику можно выточить. У иной плечо недурно-съ, за то ужъ животъ такой, что не знаешь, какъ писать: выйдетъ тыква или Богъ знаетъ что-съ. Совсѣмъ хорошихъ натурщицъ нѣтъ.

Выслушавъ въ первый разъ такія новости, я сначала (говорите послѣ того, что дѣти нехитры) — я сначала ничего не возражалъ и ни о чемъ не разспрашивалъ, какъ будто все, что ни говорилъ онъ, мнѣ давно извѣстно. Я только поддакивалъ и, наконецъ, догадался, какую роль играетъ натурщица въ студіи художника. Впервые отъ роду узналъ я, что, безъ живой натуры, ни одной женщины нельзя ни написать, ни изваять правильно. Все это показалось мнѣ не только ново, но и дико, не только дико, но и непостижимо. И во всемъ этомъ было что-то такое въ высшей степени заманчивое. Мастерская художника явилась моему воображенію преисполненной какихъ-то таинствъ, въ родѣ элевзинскихъ. Неужели, подумалъ я, даже божественный Рафаэль—и тотъ не избѣгалъ такого соблазна!

— А Рафаэль? спросилъ я у Кости:—какъ же онъ-то?

— А Форнарина-то была на что? отвѣчалъ Костя:— Да и безъ Форнарины стоило ему только пожелать, любая бы красавица за честь почла... На то Италія съ! Не то, что нашъ Питеръ!.. Италія!... эхъ! попаду ли я туда когда-нибудь? Вотъ Карлуша Брюловъ уѣхалъ. Что-то онъ тамъ напишетъ!...

Ужъ не сдѣлаться ли и мнѣ художникомъ? подумалъ я. Буду проситься у мама ходить въ академію.

Въ эту же зиму я раза три былъ въ театрѣ и видѣлъ знаменитую Семенову въ роли Федры. Помню, восторгамъ публики конца не было. Блескъ и шумъ рукоплесканій уносилъ я съ собой, и образъ актрисы безпрестанно рисовался въ моемъ воображеніи. Сказать по правдѣ, я восхищался только ея декламаціей, ея трагическими позами, ея величавой фигурой, но не понималъ ея роли, не могъ или не умѣлъ сочувствовать ея страданіямъ. Отрывокъ изъ перевода «Федры» я нашелъ въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ, кажется, въ «Благонамѣренномъ», и нѣсколько разъ въ залѣ принимался читать эти топорныя вирши, позировать и дѣлать жесты.

Ужъ не поступить ли и мнѣ въ актеры? думалъ я.

Мало того: едва ли не въ эту зиму въ первый разъ я пустился въ авторство,—сшилъ особенную тетрадку и написалъ заглавіе: «Вѣрная Матильда или рыцарь съ золотою шпорой, романъ, соч. Чалыгина.»

Вотъ начало этого романа слово въ слово:

«Темная, бурная ночь покрывала небеса. Лѣсъ на пустынномъ берегу острова былъ мраченъ, трава была усѣяна каплями росы... Всѣ птицы и мотыльки спали мертвымъ сномъ, дожидаясь утренней зари. Все было тихо... вдругъ съ моря раздался звукъ рога; звукъ этотъ трикратно повторило громозвучное эхо. Въ лѣсу раздался свистъ, къ берегу подъѣхала лодка, и вышли на берегъ пираты или морскіе разбойники.

*

— «Ромуальдъ, — сказалъ одинъ разбойникъ: — ты слышалъ?

— «Слышалъ,»—отвѣчалъ другой разбойникъ.—«Это ясно: онъ свиститъ».

— «Да, это вѣрно Селиверстъ, котораго мы послали развѣдывать, что дѣлается въ замкѣ.

«Въ это время рыцарь фонъ-Крюгеръ стоялъ за деревомъ и, когда вся банда вышла на берегъ, подслушалъ, что атаманъ сбирается въ эту ночь похитить изъ замка прелестную Матильду.

«Разбойники разложили костры, а рыцарь фонъ-Крюгеръ, потайной тропинкой пошелъ лѣсомъ прямо къ замку, стараясь оружіемъ своимъ не зацѣпить за дерево, чтобъ не разбудить разбойниковъ.

«Когда онъ пришелъ къ замку, то увидалъ, что уже подъемный мостъ поднятъ и караульнаго не было. Въ окошкѣ одной башни свѣтился огонекъ: это была спальня Матильды.

— «Прекрасная Матильда!»—сказалъ рыцарь фонъ-Крюгеръ,—«клянусь гербомъ моимъ и шпагою, что я спасу тебя отъ этихъ пиратовъ. Я знаю, для кого они хотятъ украсть тебя!»

«Послѣ этого рыцарь пошелъ опять въ лѣсъ, нашелъ въ оврагѣ одинъ камень, отвалилъ его и спустился въ подземелье, сообщающееся съ внутренностью замка. Кромѣ его никто не зналъ объ этомъ подземномъ ходѣ.»

Таково было начало. Я читалъ его Костѣ и Логину. Костѣ очень понравилось, а Логинъ огорчилъ меня: онъ не повѣрилъ, чтобъ это я самъ сочинилъ: взяли—сказалъ онъ, да и списали изъ какой-нибудь книжки: я даже читалъ гдѣ-то... Какъ я ему ни божился, какъ ни клялся, что это я самъ писалъ,—не повѣрилъ.

Помню, въ эту зиму, мало гостей собиралось по вечерамъ у моей матери, какъ будто наводненіе въ ноябрѣ

на все и на всѣхъ навело какое-то уныніе. Однажды—это осталось у меня въ памяти — какой-то господинъ вечеромъ читалъ у насъ стихи Жуковскаго:

«Сумраченъ, тихъ, одинокъ, на ступеняхъ подземнаго трона
Зрѣлся отъ всѣхъ удаленъ Серафимъ Абадонна...» и пр.

Читалъ онъ это съ потрясающимъ искусствомъ, подъ какую-то музыкальную импровизацію. Кто-то сидѣлъ въ это время у клавикордъ, бралъ аккорды, стараясь музыкой выразить то же, что чтецъ выражалъ своимъ голосомъ. Эфектъ выходилъ удивительный. Гости были въ восторгѣ, у нѣкоторыхъ изъ нихъ на глазахъ навертывались слезы. Алеша въ это время дремалъ, клевалъ носомъ, а я глядѣлъ на него съ насмѣшливымъ сожалѣніемъ.

Но, вмѣсто многолюднаго и шумнаго общества, появился у насъ одинъ гость, старый пріятель моей матери, нѣкто Александръ Сидорычъ Кремневъ. Мать моя такъ была рада, когда онъ пріѣхалъ къ намъ, что чуть ли не упрашивала его поселиться въ комнатѣ нашей исчезнувшей Юлиньки. Кремневъ этотъ давно уже у насъ не былъ; фигуру его я едва-едва припоминалъ себѣ; онъ все время то хозяйничалъ у себя въ деревнѣ, то скитался по Херсонской и Кіевской губерніямъ. Несомнѣнно, что моей матери онъ платилъ такимъ же расположеніемъ. Отказавшись отъ комнаты въ нашемъ домѣ, онъ сталъ чуть ли не ежедневно посѣщать насъ. Я привыкъ къ нему, какъ къ чему-то неизбѣжному и повседневному; Кремневъ же баловалъ меня и, какъ мнѣ казалось, любилъ меня не меньше моей матери. Что за человѣкъ Кремневъ—постараюсь уловить его образъ и, на сколько могу, очертить его.

ГЛАВА XXVIII.

Кремневу было около 45 лѣтъ; но вся фигура его на столько же дышала силой, на сколько лицо его выражало доброту и прямодушіе. Когда-то, блистательный адъютантъ чуть ли не самого Кутузова, онъ казался помѣщикомъ средней руки, за неимѣніемъ средствъ потерявшимъ всякую охоту блистать среди столичнаго общества. При высокомъ ростѣ, въ профиль, онъ казался немного сутуловатымъ, и голова его покоилась на плечахъ, поистинѣ геркулесовскихъ. Руки были красны, на сгибахъ пальцевъ морщинисты и покрыты рѣдкими волосами. Бороду и усы онъ брилъ, и это шло къ лицу его, на которомъ былъ отпечатокъ мужества, но ничего не было марсовскаго, военнаго. Напротивъ, еслибъ можно было обрить его бакенбарды, да повязать лицо платкомъ, онъ выглянулъ бы изъ этого платка чѣмъ-то въ родѣ здоровой русской кормилицы, съ загаромъ, отдѣляющимся полосой отъ бѣлаго лба, и съ улыбкой, сверкающей необыкновенно бѣлыми и ровными зубами. Лобъ его казался еще выше, оттого, что, сквозь рыхлые, плотно остриженные его волосы, уже начинала спереди сквозить небольшая лысина. Въ минуты душевнаго волненія, щеки его, слегка книзу отвиснувшія, покрывались румянцемъ, тонкія, какъ паутинки, жилки наливались кровью, и тогда, я полагаю, немногіе бы рѣшились дразнить его. Одѣвался онъ, нисколько не слѣдуя модѣ, въ какой-то казакинъ безъ пуговицъ, застегнутый на одни крючки; носилъ широкіе, сѣрые шаровары и терпѣть не могъ перчатокъ. Ни для кого на свѣтѣ не мѣнялъ онъ этого костюма, въ немъ дѣлалъ визиты—и разъ въ немъ же явился на какой-то вечеръ, гдѣ были танцы и музыка; незнакомые на него косились; знакомые, напротивъ, были бы изу-

млены, еслибъ онъ поступилъ иначе. Впрочемъ, и то сказать, въ Петербургѣ онъ только и ѣздилъ, что въ холостую компанію; изъ прежняго дамскаго общества только одна моя мать и сохранила для него прежнее обаяніе. Онъ такъ и говорилъ ей: «вы одна, передъ которой я бы на колѣнки сталъ и не назвалъ бы себя за сіе дуракомъ».

Въ короткомъ обществѣ онъ былъ говорливъ и, надо сказать правду, очень любилъ много про себя разсказывать. Впрочемъ, на этотъ счетъ всѣ люди тогдашняго времени были страшно словоохотливы; тогдашніе разсказы для многихъ замѣняли книгу, и въ обществѣ была потребность слушать ихъ, такъ же какъ въ наше время читать газеты. Если вѣрить разсказамъ Кремнева, надо полагать, что человѣкъ этотъ, дѣйствительно, прошелъ сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы. Чего съ нимъ не было: онъ и тонулъ, и горѣлъ, и, раненый французскими штыками, былъ найденъ между убитыми, а потомъ взятъ въ плѣнъ русскими, нагрянувшими въ какое-то мѣстечко во Франціи и нашедшими его въ притворѣ какого-то католическаго монастыря, гдѣ его лечили монахини. Разъ его чуть-было волки не съѣли; разъ, на Волгѣ, онъ спасъ какое-то судно отъ разбойниковъ, которые хотѣли ограбить хлѣбнаго торговца, а судно на дно пустить. Я, бывало, слушалъ его съ большимъ удовольствіемъ, а онъ разсказывалъ очень спокойно и очень чинно даже о такихъ случаяхъ своей жизни, которые самого его возмущали. Образованія онъ былъ не дюжиннаго, зналъ хорошо по-нѣмецки и даже Плутарха читалъ. Къ стихамъ не чувствовалъ никакого пристрастія, но любилъ тогдашнихъ русскихъ поэтовъ, какъ славу отечества; онъ былъ патріотъ; Россію называлъ Россійскимъ государствомъ, сраженіе—боемъ, флотъ—флотиліей. Не читая Пушкина, онъ, ради патріотизма, охотно бы подставилъ за него

лобъ свой, и о ссылкѣ его говорилъ чуть не со слезами. Вообще, подобно большинству людей образованныхъ того времени, онъ больше былъ склоненъ во всемъ видѣть свѣтлую, радужную сторону; даже въ Равининѣ (который тѣмъ и бралъ, что казался какимъ-то исключеніемъ) онъ цѣнилъ положительный (въ сущности же сухой и мелкій) умъ его, что, впрочемъ, не помѣшало ему чуть-было не затѣять съ нимъ исторіи.

Равининъ, въ одномъ обществѣ, такъ выразился о Кремневѣ: «Кремневъ, потому Кремневымъ и прозывается, что кремень порядочный, самъ пороху не выдумаетъ, но если въ него ударить, то, чего добраго, можетъ зажечь его». Это дошло до Кремнева. Онъ покраснѣлъ и опустилъ рѣсницы—значитъ, обидѣлся. Но его обидѣло не то, что онъ пороху не выдумаетъ, а слово «*ударить*»: онъ понялъ его въ буквальномъ смыслѣ.

— Ударить!... Еще не было на свѣтѣ такого человѣка, который, ударивъ Кремнева, не поплатился бы за это своею жизнью,—говорилъ онъ, вынимая свою табакерку и поднося ее къ носу, что онъ дѣлалъ очень рѣдко, ибо носилъ при себѣ табакерку только для какихъ-то экстренныхъ случаевъ—для облегченія головы.

Мать моя едва его успокоила, растолковавши ему, что слово «ударить» слѣдуетъ понимать въ иносказательномъ смыслѣ, то-есть, «за живое задѣть», или что-нибудь въ этомъ родѣ.

— Во всякомъ случаѣ,—сказалъ Кремневъ:—я потребую объясненія.

— А помните,—разъ говорила ему мать моя:—какой вы были кутила, сколько проигрывали, сколько на одно шампанское шло у васъ...

— Я бы и теперь могъ это же самое дѣлать, — отвѣчалъ Кремневъ: — но, не передѣлавши себя, можно ли мечтать о томъ, чтобы что-нибудь когда-нибудь передѣ-

лалось въ семьѣ и въ государствѣ? Нѣтъ, спасибо одному изъ членовъ Союза: онъ раскрылъ мнѣ глаза... И вы непростительно поступаете, что не только себя, но и сына вашего пріучаете къ роскоши. Зачѣмъ вамъ такая квартира, такое множество слугъ и служанокъ? И ужъ какъ же вы, моя матушка, не умѣете экономничать! Не пудъ ли сахару у васъ выходитъ въ мѣсяцъ, а?

— Да, около пуда...

И Кремневъ начиналъ математически доказывать моей матери, что она можетъ проживать втрое менѣе, ни въ чемъ себѣ не отказывая, и въ пять лѣтъ заплатить всѣ долги свои.

Во всемъ этомъ я понималъ только одно—что Кремневъ имѣетъ на мать мою вліяніе, что она почему-то не умѣетъ съ нимъ спорить, хоть и споритъ, и что всякій споръ съ нимъ кончается съ ея стороны чѣмъ-то въ родѣ очень веселаго, задушевнаго смѣха.

Кремневъ былъ и шутить великій мастеръ, но, повторяю, въ очень небольшомъ обществѣ. Разъ, на святкахъ, вечеромъ, къ намъ неожиданно явилась княгиня Малыгина; еще было двое какихъ-то молодыхъ гостей. (Набатовъ почему-то рѣже являлся съ тѣхъ поръ, какъ не стало Юлиньки, и еще рѣже съ тѣхъ поръ, какъ прослышалъ о Кремневѣ: вѣроятно, фигура Кремнева ему не слишкомъ нравилась, или сужденія его казались ему слишкомъ откровенными). Княгиня Малыгина вошла къ намъ немного запыхавшись, сѣла въ кресла, пожаловалась на крутыя ступеньки нашей лѣстницы, на метель, на петербургскую скуку и, вслѣдъ затѣмъ, сообщила моей матери, что вчера она видѣла Юлиньку. Можете вообразить, какъ мы испугались и обрадовались.

— Да, и въ престранномъ видѣ я ее видѣла: въ бѣлой рубашкѣ, съ распущенными волосами... Такъ я и обомлѣла...

— Гдѣ? какимъ образомъ?!

— Ахъ, мать моя! какимъ образомъ! разумѣется въ зеркало: я гадала... дернула меня нелегкая погадать о ней въ зеркало! Imaginez vous, chère Madame Tchaliguine, какъ я испугалась!... ночью хотѣла посылать за докторомъ: такой на меня напалъ страхъ... Вотъ и сегодня, вышла я въ гостиную... стоитъ ваза—я подумала, Богъ знаетъ что... руки, ноги затряслись, насилу сообразить могла, что это ваза. Ахъ, какъ у меня эти нервы разстроены, вы себѣ представить не можете... къ тому-же одиночество—не выношу одиночества... Посылала въ театръ ложу взять—всѣ до единой заняты — чей-то бенефисъ—и всѣ до единой!.. Зизи моя все сидитъ у себя въ кельѣ; я ея комнату называю кельей и даже не захожу къ ней, признаться: тамъ у ней налой какой-то, духовникъ ей книги какія-то читаетъ... Вотъ не думала, не гадала... Ахъ, да... что-бишь я хотѣла?... да... вѣдь это удивительно! только-что я взяла зеркало—вижу—Господи помилуй!... Юлинька моя... блѣдная... такая, мать моя, блѣдная... Такъ у меня сердце и замерло... Попробуйте-ка вы погадать...

Мать моя была въ хорошемъ расположеніи духа, и, чтобъ угодить княгинѣ, велѣла въ свою уборную принести зеркало, столикъ, двѣ свѣчи и сѣла передъ трюмо, а мы всѣ собрались въ смежной комнатѣ, то-есть, ея кабинетѣ, гдѣ горѣла лампа и гдѣ княгинѣ было очень удобно сидѣть на низенькомъ диванѣ. Княгиня велѣла намъ всѣмъ молчать, чтобъ ничѣмъ не развлекать вниманія гадальщицы. Прошло полчаса. «Кажется, что-то вижу», послышался голосъ моей матери. Кремневъ не утерпѣлъ, прокрался въ уборную и черезъ ея плечо заглянулъ ей въ зеркало. Мать моя не испугалась, она слышала за собой осторожные шаги его; но все-таки вскрикнула и, обернувшись, поймала его за бакенбарду.

Смѣхъ сообщился всѣмъ, кто подглядывалъ за этой сценой. Одна княгиня хоть и смѣялась, но была недовольна.

— Добро бы еще молодой человѣкъ! а то, чай, у самого дочь невѣста, а туда же... Какъ вамъ не стыдно въ ваши лѣта!...

— А вы, княгиня, въ ваши лѣта, о комъ гадали?

— Я гадала о Юлинькѣ.

— Это вчера; ну, а третьяго-дня вы о комъ гадали?

— А почемъ вы знаете, что я гадала третьяго-дня?

— Да я все знаю, княгиня!

— Ну.... я гадала о мужѣ.

— Чтожъ вы видѣли?

— Ну, это не ваше дѣло...

— А хотите, я вамъ всю вашу будущность предскажу?

— Какимъ манеромъ?

— На картахъ.

— А вы умѣете?

— Учился во Франціи у мадамъ Ленорманъ, у той, знаете, которая Наполеону предсказывала.

— Вы? у Ленорманъ?.. Est ce possible!

— А что вы думаете,—шепнула ей мать моя:—эта колдунья была влюблена въ него, когда онъ былъ офицеромъ.

— Неужели... влюблена!... Это интересно! Я не влюбилась бы... право бы, не влюбилась, развѣ когда вы были очень молоды... только не видать, чтобы вы были когда нибудь очень молоды... Ну, хорошо, велите, chère madame, принести этому шалуну карты... Погляжу я, какъ онъ гадаетъ.

Карты были поданы, столикъ пододвинутъ къ дивану.

— Теперь,—сказалъ Кремневъ, тасуя карты,—теперь я прошу васъ, княгиня, прежде, чѣмъ я начну раскладывать карты, попрошу васъ потрудиться и сказать мнѣ....

то-есть, вы мнѣ позволите предложить вамъ одинъ вопросъ?

— Какой это вопросъ?

— Вопросъ первой важности: самъ Наполеонъ, когда гадалъ, не избѣжалъ этого вопроса, а именно: въ которомъ году вы родились?

Княгиня выразила изумленіе; въ глазахъ ея мелькнули тревога и недовѣрчивость.—Быть, сударь, не можетъ, чтобъ мадамъ Ленорманъ, урожденная француженка, была такъ неделикатна... Нигдѣ, въ особенности во Франціи, никто не рѣшится дамѣ, которой за 25 лѣтъ, предложить такой щекотливый вопросъ—никто! Это невѣжливо.... и невѣжливо! Не правда ли, madame Tchaliguine?

— Гм... да... но m-r Кремневъ ко всѣмъ обращался съ такимъ же вопросомъ, когда гадалъ... Я сама нахожу это неловкимъ,—отвѣчала мать.

— Это очень неловко... очень.

— Мадамъ Ленорманъ никогда иначе не гадала,—сказалъ Кремневъ:—Въ числахъ есть разгадка многаго такого, во что немногіе могутъ проникнуть. Надо имѣть ключъ въ цифрѣ, выражающей годъ рожденія, и ужъ потомъ приступить къ гаданью. Если вы находите, княгиня, вопросъ мой нескромнымъ, скажите мнѣ на ухо...

Княгиня сидѣла въ нерѣшительности, какъ бы сама не зная, какъ ей поступить въ такомъ случаѣ.—На что же на ухо... сказала она вполголоса и какъ-бы раздумывая.

— Ну, скажите вслухъ,—подхватилъ Кремневъ.

— Ну, вслухъ.... ну.... Быть не можетъ, чтобъ мадамъ Ленорманъ задавала такіе вопросы!

— Ну, да вѣдь вамъ не сто же лѣтъ, княгиня?

— Двѣсти! а замужъ все-таки не пошла бы за такого пожилаго человѣка, какъ вы. Очень нужно знать вамъ годъ моего рожденія!

— Ну, довольно.... я не могу гадать. Сережа, возьми карты.

— Ну, да я вамъ скажу. Постойте. Я, такъ и быть, скажу вамъ на ухо. Кремневъ нагнулся къ княгинѣ, княгиня нагнулась къ Кремневу и что-то сказала ему на ухо.

— Семьсотъ шестьдесятъ и...—началъ-было Кремневъ; но княгиня зажала ротъ его и такъ разсердилась, что привстала и хотѣла сію же минуту выйти въ другую комнату.

— Не разслышалъ, княгиня,—сказалъ Кремневъ,—и хотѣлъ переспросить васъ, извините... Впрочемъ, теперь все равно—вы можете уйдти—я безъ васъ разложу карты, и если только я дѣйствительно разслышалъ годъ вашего рожденія, я узнаю всю вашу жизнь прошедшую и будущую.

— Я ничего знать не хочу...

— А мнѣ позвольте полюбопытствовать: надѣюсь, въ вашей жизни нѣтъ ничего такого, за что казнятъ или ссылаютъ.

— Ну, посмотримъ, посмотримъ. Гадайте! Увидимъ, какой вы гадальщикъ.

Кремневъ пресерьозно сталъ раскладывать карты.

— Тому пятнадцать лѣтъ или около, княгиня,—началъ онъ:—пріѣзжалъ въ Петербургъ одинъ человѣкъ... одинъ... по-видимому, иностранецъ, если только я не ошибаюсь, и, по-видимому, былъ онъ къ вамъ очень когда-то близокъ.

Княгиня поблѣднѣла.

— Правда? спросилъ Кремневъ.

— Не помню,—отозвалась княгиня, стараясь подавить внутреннее волненіе.

— Этотъ человѣкъ,—продолжалъ Кремневъ, не обративъ на ея испугъ никакого вниманія:—или этотъ иностранецъ спрашивалъ васъ о какомъ-то ребенкѣ... Правда?

— Не... неправда!

— Вы отъ него хотѣли что-то такое скрыть и увѣрили его, что ребенокъ этотъ не существуетъ. Правда?

— Да что вы: чортъ! вскрикнула старуха:—за кого вы меня принимаете, чтобъ смѣть такъ шутить со мной, говорить мнѣ такія вещи?!

— Итакъ, все это неправда... ну, карты врутъ. Отчего же вы такъ сердитесь?

— Я не сержусь, chére madame Tchaliguine! Этотъ человѣкъ на мои нервы дѣйствуетъ... онъ, должно быть, магнетизеръ... Увѣрьте его, пожалуйста, что карты его врутъ, врутъ безсовѣстнѣйшимъ образомъ.

— Очень можетъ быть... если карты врутъ, сказалъ Кремневъ:—это значитъ, что года вашего рожденія я не разслышалъ.

— Конечно, не разслышали... Да и что это такое? Я хочу знать будущее, а вы мнѣ говорите мое прошедшее Да что бы вы про меня ни сказали въ прошедшемъ—все могло быть; мало ли чего со мной не было! что ни выдумайте—все было...

— Ну, ужъ этому я, княгиня, не повѣрю, чтобъ съ вами все было, что говорятъ эти глупыя карты. Вонъ онѣ говорятъ, будто когда-то вы спали на чужой постели, и такимъ образомъ пришлось вамъ разыграть роль чужой жены. Можетъ ли это быть?

Княгиня, которая ни въ какихъ скандалахъ такого рода не находила себѣ особеннаго безчестія, засмѣялась.—Если и была такая оказія,—сказала она:— то ужъ я и не помню. Это забавно...

— Да, карты говорятъ, что это очень старая исторія,—проговорилъ Кремневъ, какъ бы намекая на года княгини.

— Ну, ну... колдунъ... довольно! Погадайте лучше на себя, грѣховодникъ вы, право, грѣховодникъ старый!

Откуда это вы, мать моя, добыли этого господина? Вретъ, вретъ—и не краснѣетъ. Познакомьте-ка меня съ нимъ, пожалуйста: я до вралей всегда была большая охотница...

— Имѣю честь рекомендовать, — проговорила мать моя:—Кремневъ, Александръ Сидорычъ.

Кремневъ всталъ и поклонился. Княгиня, какъ дама свѣтская, смѣтливая и изворотливая, заговорила съ нимъ о Парижѣ и спросила его между прочимъ, какъ онъ познакомился съ мадамъ Ленорманъ.

— Да я ея никогда отъ роду не видалъ,—сказалъ Кремневъ.

— Какъ! да вы же...—Княгиня уставила на него глаза свои.

— Да развѣ вы не видите, что я шутилъ, для того, чтобъ какъ-нибудь занять васъ? Я и гадать-то не умѣю...

— Не умѣете! А!...

— Просто говорилъ вамъ, княгиня, все, что приходило въ голову.

Княгиня встала, подозвала мать мою, ухватила ее за талію и, какъ обыкновенно прохаживаются институтки, стала ходить съ ней по гостиной отъ дверей къ дверямъ. Я видѣлъ, какъ ей было жарко; тѣло ея волновалось на всѣхъ видныхъ глазу мѣстахъ, а такихъ мѣстъ княгиня оставляла вдоволь, потому что, дѣйствительно, сохранилась не по лѣтамъ, несмотря на свои похожденія. О чемъ она бесѣдовала съ моей матерью — не знаю. Кремневъ, опершись одной рукой на колѣно, искоса на нее поглядывалъ и иногда лукаво улыбался. Я смотрѣлъ на него съ чувствомъ непростывшаго удовольствія, потому что я самъ былъ не прочь кого-нибудь подурачить, самъ иногда дурачилъ Алешу, увѣряя его, что я знаю такія кабалистическія слова произносить, что ко мнѣ является какой-

то духъ и дѣлаетъ все, что я прикажу ему. Княгиня уѣхала довольно поздно.

— Она непремѣнно хочетъ, чтобъ вы ей сдѣлали визитъ,—сказала мать моя Кремневу, который съ двумя молодыми людьми принимался закусывать.

— Нужно будетъ, такъ пойду къ ней,—отвѣчалъ онъ, проглатывая рюмку водки. — А ты чему весь вечеръ смѣялся? обратился онъ ко мнѣ.

— Мнѣ также было смѣшно.

— Тебѣ смѣшно,—сказала мать моя:—оттого, что ты ничего не понимаешь.

— Я все понимаю,—отвѣчалъ я.

— Ну, тѣмъ хуже для тебя, если ты все понимаешь.

— Не нападайте на моего мальчика,—сказалъ Кремневъ, потрепавши меня по щекѣ:—онъ будетъ когда-нибудь умнѣе насъ... право! Богъ его не обидѣлъ, надо правду сказать.

И съ этой минуты я особенно полюбилъ Кремнева; но и эта любовь вскорѣ чуть-чуть было не перешла въ ненависть.

ГЛАВА XXIX.

Помню, въ эту зиму, въ домъ нашъ пріѣзжали полицейскіе. Не снимая шпагъ и не зная, куда дѣвать свои большія треугольныя шляпы, садились они въ залѣ, у ломбернаго стола, раскладывали на нихъ свои бумаги и отбирали показанія о пропавшей Юлинькѣ. Ея лѣта, ея примѣты—все это они записывали, потомъ закусывали, потомъ уѣзжали. Мать моя обѣщала сто рублей тому изъ нихъ, кто найдетъ ее. Но, полагаю, по всѣмъ примѣтамъ, ими записаннымъ, ни одинъ изъ нихъ не могъ бы соста-

вить себѣ даже приблизительнаго понятія о миловидномъ личикѣ нашей Юлиньки; эти же самые полицейскіе могли, сходя отъ насъ, встрѣтить у нашихъ воротъ эту Юлиньку, толкнуть другъ друга локтемъ и сказать: «вишь какая смазливая!», и не только не узнать въ ней той особы, о которой разспрашивали, но даже и не подумать, что это именно та самая, которую велѣно имъ отыскать, во что бы то ни стало, живую или мертвую.

Какъ видно, по связямъ моей матери, за это дѣло горячо взялись люди вліятельные.

— Какъ вы думаете, Александръ Сидорычъ, куда могла дѣваться Юлинька? спрашивала Кремнева мать моя.

— Я того мнѣнія, что ея въ Петербургѣ нѣтъ: она уѣхала.

— Но какъ уѣхать? безъ вида, безъ паспорта, безъ бумагъ!

— Ничего этого не нужно, ибо Русь велика и обильна, но порядка въ ней нѣтъ... Я кого угодно, угождая властямъ, буду возить по Россіи безъ всякаго письменнаго вида. Вотъ вамъ доказательство: одинъ мой сосѣдъ— царство ему небесное! — влюбился въ горничную одной помѣщицы и увезъ ее; онъ жилъ съ нею 10 или 15 лѣтъ—всѣ это знали. Двадцать разъ пріѣзжали къ нему и становые, и губернаторскіе чиновники; всѣ они съ этой горничной обѣдали за однимъ столомъ; подкутивши, цѣловали у ней ручки, потому что она была хорошенькая и вела себя, какъ любая барыня. Всѣ были увѣрены, что это та самая бѣглая Лукерья, которую розыскиваютъ—и никто пальцемъ до нея не дотронулся. Б..., разумѣется, не жалѣлъ ни денегъ, ни угощенія, и шло все, какъ по маслу. Когда же онъ умеръ, несчастную Лукерью, уже въ преклонные годы, взяли, высѣкли и по этапу отправили къ барынѣ. Это все было на моихъ глазахъ. Итакъ, если Юлинька попала или попадетъ къ

человѣку съ деньгами или съ вѣсомъ, никто и спрашивать не станетъ—кто она? Никто никакого вида отъ нея не потребуетъ, особливо въ деревнѣ.

— Но это все не можетъ быть! Съ кѣмъ ей уѣхать? Я просила Набатова узнать, здѣсь ли Латынинъ — тотъ Латынинъ, который былъ въ нее влюбленъ и котораго княгиня изволила за нее сватать. Кто знаетъ... быть можетъ... Впрочемъ, это было бы извѣстно Зизи, а Зизи прямо сказала княгинѣ, что Юлинька не любитъ Латынина—что она, вишь, кому-то ужъ отдала свое сердце, въ какія-то руки, болѣе достойныя...

— Я, знаете, что сдѣлаю,—сказалъ Кремневъ:—воспользуюсь приглашеніемъ княгини, познакомлюсь съ Зизи и поразспрошу ее. Понимаете, съ какой стороны я къ ней подъѣду...

— Понимаю... хитрый вы человѣкъ...

Кремневъ улыбнулся: слово «хитрый» польстило ему. Я замѣтилъ, что люди простодушные и прямодушные, люди, рѣшительно неспособные ни на какую хитрость, особенно любятъ, когда ихъ считаютъ плутоватыми; это льститъ имъ.—Такъ неужели я хитрый? спросилъ Кремневъ, скорчивъ плутовскую мину.

Мать моя поглядѣла ему въ лицо, не то съ упрекомъ, не то съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ. — Да... вы хитрый!

Я, конечно, могъ бы по глупости повѣрить въ лукавство и хитрость Кремнева: но не это меня съ нимъ поссорило. Поссорило подозрѣніе. Поводомъ къ нему былъ разговоръ мой съ Аграфеной, которая, въ послѣдній день масляницы, вечеромъ, зашла къ намъ *прощаться*, то-есть, просить прощенія въ грѣхахъ своихъ. Чтобъ легче заслужить это прощеніе, а, можетъ быть, и для того, чтобъ что-нибудь получить отъ моей матери, она принесла мнѣ фунтъ изюму и фунтъ какихъ-то пряниковъ.

Матери моей не было дома, и, въ ожиданіи ея возвращенія, няня уединилась со мной въ залу, около часовъ, тускло освѣщенныхъ стѣнною лампой, и сперва очень чувствительно просила меня не забывать ея, увѣряла меня, что она меня, такого-сякого, любитъ, какъ сынка родного, пуще, чѣмъ роднаго, какъ такого барина, какого другого и на свѣтѣ нѣтъ. Разумѣется, я отъ всей души ей вѣрилъ и сидѣлъ на стулѣ, обогнувши одной рукой ея дебелую шею и задумчиво поглядывая на свѣтильню лампы. Потомъ выраженіе любви ея ко мнѣ перешло въ сожалѣніе.—Что это будетъ,—сказала она:—коли да мама твоя опять замужъ выйдетъ?

— Какъ замужъ? спросилъ я.

— Да такъ, золотой мой! какъ выходятъ замужъ, такъ и выйдетъ.

— Да за кого же это?... И я поглядѣлъ на широкое лицо ея, тускло освѣщенное лампой.

— Да извѣстно за кого...

— За кого, няня?

— Ну да... можетъ, врутъ, а поговариваютъ—тоже люди: чай, глаза есть—видятъ.

— Что-жъ они видятъ?

— Ну, видятъ, кавалеръ ты мой милый, что дѣло будто-бы на тотъ конецъ идетъ, что свадьбѣ-то не миновать.

— Да за кого-же это?

— Ну, да вотъ за этого-то... какъ бишь его? Каждый Божій день заходитъ къ вамъ, а ты не знаешь!

— За Кремнева?

— А то за кого же?... Ты только не говори, смотри!

Сердце мое сжалось.

— Это не можетъ быть,—сказалъ я шепотомъ.

Няня помолчала.

— Ну, и дай Богъ, чтобъ это враки были, и очень

буду я рада, коли барыня да не захочетъ ни-за-что, ни-про-что по рукамъ, по ногамъ связать себя. Экая радость замужъ выходить! Ну, любитъ человѣка—ну, и люби, а то еще замужъ! Вонъ я, на что мужичкой родилась, а чего-то, чего, бѣдная, замужемъ-то не натерпѣлась? Еще слава-те, Господи, что Господь Богъ скоро къ рукамъ его прибралъ, мое-то сокровище! Буду вѣкъ жить, не забуду, каково мнѣ было мучиться-то съ нимъ.

— Что-жъ, развѣ онъ билъ тебя?

— Да что ужъ и говорить! Вы его, чай, не помните! Я ужъ нянькой вашей была. Придетъ, бывало, въ кухню али въ дѣвичью—пьянехонекъ! Давай, говоритъ, денегъ! Да гдѣ я тебѣ денегъ возьму? говорю: — Ты мнѣ дай, безстыжій ты эдакій! — Пять рублей, говоритъ, въ мѣсяцъ плати мнѣ безпремѣнно, а не то, говоритъ, съ мѣста долой! Не хочу, говоритъ, чтобъ ты въ нянькахъ жила... Что ты будешь съ нимъ дѣлать! Ну, и платила ему оброкъ... Да что еще говоритъ, бывало: ты, говоритъ, себѣ полюбовника найди, и чтобы у тебя мнѣ на выпивку всегда деньги были... Срамъ, бывало! Натѣшится, наругается, да и уйдетъ. Вотъ-те и мужъ! Еще, слава Богу, барыня, маменька ваша, за меня заступалась: бить ему у себя въ домѣ не позволяла, даже разъ за будочникомъ приказала сходить, чтобъ унять его... Такъ-то любо замужемъ-то! И... и.. и!... Ну, вотъ хоть бы этотъ Кремневъ—самъ-то, чай, промотался, деньгонокъ-то нѣтъ; ну, видитъ къ себѣ это ихнее расположеніе: давай, говоритъ, попробую, барыня богатая, все есть—буду себѣ жить поживать да дѣтей наживать... А то еще и твое-то состояніе ухлопаетъ, а ты ему за это ручки цѣлуй. Развѣ я не знаю, какъ эти дѣла-то дѣлаются... Не дай Богъ!

Не могу и выразить, до какой степени ядовиты были для меня рѣчи моей няни возлюбленной. Добрѣйшій, чест-

нѣйшій Александръ Сидоровичъ вдругъ показался мнѣ въ другомъ свѣтѣ: я возненавидѣлъ его съ этого вечера, сталъ ревновать его, подглядывать за своей матерью — однимъ словомъ, почувствовалъ въ душѣ своей что-то нехорошее.

Разъ, великимъ постомъ, Кремневъ вошелъ въ кабинетъ моей матери и притворилъ за собой дверь. Я это замѣтилъ, прилегъ въ гостиной на диванъ и притворился спящимъ. Поговоривши о чемъ-то съ моей матерью, Кремневъ сталъ прощаться и, вѣроятно, при этомъ, слѣдуя обычаямъ того времени, приложился къ рукѣ ея. Звукъ чмокнувшихъ губъ его произвелъ на меня тяжелое, горькое впечатлѣніе. Когда онъ проходилъ гостиную, я такъ и впился глазами въ лицо его.

Въ этотъ же день, когда наступили сумерки, т. е., передъ самымъ ужиномъ, потому что время шло къ апрѣлю, и дни становились все длиннѣе и длиннѣе, а ночи короче и прозрачнѣе, я въ залѣ поссорился съ Алешей. Онъ былъ въ періодѣ рѣзвости, а я въ періодѣ какой-то унылой мечтательности и отказывался, не хотѣлъ ни бѣгать, ни играть съ моимъ пріятелемъ; онъ тащилъ меня за рукавъ, а я его отталкивалъ. Наконецъ, онъ разсердился и выругалъ меня чортомъ. Въ эту минуту въ залу входила мать моя.

— Кого ты это назвалъ чортомъ? — спросила она Алешу.

— Меня, мама...

— За что?

— За то, что я не хочу играть съ нимъ.

— Алеша, проси у него прощенія.

Алеша надулся и не хотѣлъ просить у меня прощенія. Мать моя приказала Фрейману наказать его, то есть, оставить безъ ужина. Когда Фрейманъ и Алеша

удалились, мнѣ стало жаль моего Алеши, и я сталъ упрашивать мать мою простить его.

— Нѣтъ, сказала она:—если и ты будешь грубъ, я и тебя не помилую.

— Ради Бога, простите...

— Не проси!

— Ну! хоть ради Александра Сидоровича простите его!

— Почему-жъ это ради Александра Сидоровича? Ты въ послѣднее время, ни на что не похоже сталъ такъ съ нимъ невѣжливъ, что даже третьяго дня, когда онъ хотѣлъ тебѣ что-то сказать, а можетъ быть и приласкать тебя, ушелъ, надувшись!... Это что такое?

— Мама!...

— Я тебя спрашиваю, что все это значитъ? Давно ли ты съ нимъ такъ невѣжливъ?

— Я не люблю его.

— За что это ты такъ не взлюбилъ его?

— Это тайна...

— Тайна! Нельзя ли мнѣ, твоей матери, знать эту тайну?

— Нѣтъ, не спрашивайте, не могу, не могу, не могу я вамъ сказать этой тайны.

— Ну, такъ и не говори со мной.

Я заплакалъ. Мои слезы, даже прерывистый голосъ мой не могли не поразить чуткихъ нервовъ моей матери. Она поставила меня передъ собой у колѣнъ своихъ и, мѣшая строгость съ лаской, стала меня допрашивать: то обнимала меня, то отталкивала. Долго я молчалъ, наконецъ рѣшился и, запинаясь, сквозь слезы, проговорилъ:

— Мама, милая, простите... я боюсь, что онъ на васъ женится... боюсь!

Мать моя оперлась локтемъ на окно, поглядѣла куда-то въ воздухъ и, глубоко вздохнувъ, проговорила:—Вотъ наказалъ меня Богъ этимъ мальчикомъ!...—И, не смотря

на сумерки, я видѣлъ, какъ измѣнилось уже немолодое, но все еще красивое лицо моей матери. — Откуда ты узналъ эту новость? самъ придумалъ? а?

— Самъ придумалъ.

Мать моя стала смотрѣть мнѣ въ лицо, и глаза ея, отражая косвенный свѣтъ послѣднихъ лучей, падавшихъ въ окно, казалось мнѣ, сіяли какимъ-то особеннымъ, выразительнымъ блескомъ — грозно задумчивымъ и робко удивленнымъ.

— Ну, такъ что-жъ? начала она:—положимъ, ты это выдумалъ или вообразилъ себѣ, что я выхожу замужъ. Почему же это тебя такъ тревожитъ? почему ты плачешь, а не радуешься?

— Не знаю, почему...

— Развѣ Кремневъ дурной человѣкъ? Говори, дурной онъ человѣкъ?

— Нѣтъ, не дурной, мама.

— Злой?

— Нѣтъ!

— Глупѣе тебя или умнѣе? а?

— Не знаю, ма... умнѣе! скороговоркой добавилъ я, какъ бы спохватившись.

— Если онъ и добръ, и уменъ, да еще и честенъ, чего же ты боишься, а?... Ну, такъ слушай же, что я тебѣ скажу: я была бы рада и была бы счастлива, еслибъ онъ за меня посватался, завтра бы охотно пошла за него замужъ, потому-что люблю его и уважаю. Ожидалъ ли ты этого? Теперь ты вотъ что выслушай: на той недѣлѣ мы будемъ говѣть, и я на духу моему исповѣднику скажу то же самое, что я тебѣ сейчасъ сказала, и знаю, что Богъ, незапретившій ни любить, ни выходить замужъ, когда нѣтъ мужа, не осудитъ меня; а ты, когда ты пойдешь на исповѣдь, ты долженъ будешь покаяться, что огорчилъ мать свою; что ты заранѣе осу-

дилъ ее, не имѣя никакого права судить ее, что ты не любишь ея, потому-что не желаешь ей счастія. Помни же это... Прощай! мнѣ некогда.

Оглушенный словами ея, озадаченный, пристыженный, я схватилъ ея руку; но эта холодная, трепетная рука только скользнула по горячимъ губамъ моимъ. Она ушла. Я облокотился обѣими руками на подоконникъ и сталъ плакать. Я не могъ дать отчета, что именно потрясло меня. Еслибъ мать моя сказала мнѣ просто, что мои подозрѣнія неосновательны, что этого никогда не будетъ и быть не можетъ, что я совершенно могу на этотъ счетъ быть спокоенъ,—я бы, дѣйствительно, былъ спокоенъ; но могъ ли я думать, что я окажусь сыномъ, недостойнымъ моей матери, что я не только виноватъ, но преступенъ и долженъ каяться? Пришли звать меня ужинать—я отказался.

А на другой или на третій день послѣ этого, мать моя веселымъ тономъ сказала Кремневу при мнѣ и даже при Аксютѣ: — А знаете, что мой Сережа вообразилъ? Онъ вообразилъ, что вы собираетесь на мнѣ жениться.

— Ба!—Кремневъ засмѣялся. Аксюта также скорчила улыбку и поглядѣла на мать мою.

— Я, пожалуй,—продолжалжала мать моя, преспокойно вышивая въ пяльцахъ:—пожалуй, и выйду за васъ замужъ, только съ уговоромъ, чтобъ вы каждый день раза по два сѣкли моего Сережу—одинъ разъ утромъ, другой разъ вечеромъ.

Кремневъ такъ громко засмѣялся, что я не могъ не улыбнуться. Я понялъ, что мать моя шутитъ.

— Ну, такъ вы никогда за меня замужъ не пойдете,— сказалъ Кремневъ:—я на такихъ условіяхъ никогда не женюсь на васъ.

— Видишь, Сережа, изъ-за тебя я буду всю мою жизнь вдовѣть. Стоишь ли ты этого?

— Да я и вамъ его сѣчь не позволю,—сказалъ Кремневъ.

— Ну, Сережа, не ждала я, чтобъ Александръ Сидоровичъ былъ на твоей сторонѣ. Поцѣлуй его за это...

Я стоялъ въ нерѣшимости и, улыбаясь, поглядывалъ то на Кремнева, то на мать мою; онъ протянулъ мнѣ руки и чрезъ минуту цѣловалъ меня такъ, какъ будто мы съ нимъ сто лѣтъ не видались. Этотъ полушутливый, получувствительный разговоръ освѣжительно подѣйствовалъ на мое расположеніе духа; сѣмя недовѣрія и ненависти какъ-будто потеряло свою жизненность, стало скорѣй забавно, чѣмъ серьезно. О, я понимаю теперь, отчего даже тотъ, кто клеветалъ на мать мою, поговоривши съ ней, начиналъ бранить враговъ ея.

На страстной недѣлѣ я говѣлъ и, помню, на исповѣди, сказалъ отцу Алексѣю, что иногда огорчаю мать мою. Онъ прочелъ мнѣ нотацію и отпустилъ мнѣ мое прегрѣшеніе.

Тутъ кстати приведу ничтожный въ сущности фактъ, но который, какъ нельзя лучше, доказываетъ, до какой степени, въ дни моего ребячества, я былъ склоненъ все воплощать и вѣрить самымъ нелѣпымъ фантазіямъ. Надо сказать, что мы исповѣдывались не въ церкви, а дома; въ кабинетѣ былъ накрытъ столъ, поставленъ образъ Спасителя, тамъ горѣли восковыя свѣчи, и туда къ отцу Алексѣю не только мы, но и дворовые собрались идти на исповѣдь. Первая пошла мать моя и затворила за собой дверь; я съ Алешей слишкомъ близко сталъ къ этой двери, вѣроятно, ожидая своей очереди. Вдругъ Феня полушепотомъ закричала намъ: «Отойдите,отойдите! Видите, какъ изъ-подъ двери-то грѣхи ползутъ, грѣхи ползутъ!. » Я отскочилъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ грѣхи моей матери приняли видъ какихъ-то змѣй или чудовищъ. Была ли въ этомъ убѣждена сама Феня, или слышала какую-

нибудь легенду, или просто сама выдумала, чтобъ кто-нибудь изъ насъ, подходя близко къ двери, не подслушалъ грѣховъ ея,—не знаю; она также, какъ и мы, была въ какомъ-то нервномъ состояніи, то смѣялась, то какъ будто плакала.

Прошла Святая, пришла весна. Никто такъ рано не загорѣлъ, какъ Кремневъ: скоро лицо его сдѣлалось совершенно коричневымъ.—Въ поле хочу,—говорилъ онъ, и глядѣлъ такимъ степнякомъ, какъ-будто кругомъ его былъ лѣсъ, а не каменныя палаты. Въ началѣ мая онъ отъ насъ уѣхалъ въ деревню. Въ кухнѣ у насъ пекли для него на дорогу ватрушки и пирожки, а мать моя сама ѣздила за заставу провожать его.

Вскорѣ послѣ этого, получила она письмо изъ Москвы отъ моего дяди, намекала мнѣ на какіе-то происки московскихъ родныхъ моихъ (со стороны отца), говорила, что дорого дала бы, чтобъ никогда съ ними не встрѣчаться, и сама куда-то уѣхала на почтовыхъ; мы же отправились на Петергофскую дорогу, на маленькую дачу, состоявшую изъ двухъ комнатъ и мезонина. Съ нами отправилось семейство Логина и неразлучный со мною Фрейманъ. Тутъ я, къ немалому моему удивленію, узналъ, что эта дачка наша собственная, а не чужая; но что мы сами никогда въ ней не жили.

Въ это лѣто я больше развился физически, чѣмъ умственно; даже могу сказать—физически развился на счетъ моихъ способностей и моей впечатлительности. Бѣготня и купанье въ заливѣ давали мнѣ аппетитъ и укрѣпляли нервы. Фрейманъ, самъ не умѣя плавать, училъ меня нырять, и я выучился нырять, не выучившись плавать. Съ Алешей я сталъ уже бороться съ большимъ успѣхомъ; но лазить по деревьямъ такъ, какъ онъ, не могъ. Братъ его Костя сталъ пѣшкомъ приходить къ намъ изъ города: онъ не переставалъ учить меня рисовать, конечно,

находя въ этомъ свою выгоду, ибо не даромъ же онъ училъ меня; иногда ночевалъ у насъ и, какъ кажется, слегка пріударялъ за Феней. Феня съ нимъ кокетничала и разъ, при мнѣ, упрашивала его что-то никому никогда не сказывать. Костя клялся и божился, что никому не скажетъ.

Костя былъ типъ веселаго бѣдняка, примиреннаго съ обстоятельствами, вѣчно готоваго на послуги, но бодраго и неунывающаго. Типъ этотъ не только сносенъ, но иногда и привлекателенъ, особливо въ юности. Онъ совершенно сошелся со всѣми нами: приходилъ, когда хотѣлъ, и не разъ, входя, говорилъ женѣ Логина: — Ахъ, если бы вы меня покормили, бабушка! Нѣтъ ли у васъ хоть молочка или чего-нибудь этакого? Не обѣдалъ-съ.

— Неужели не обѣдали?

— Ей-Богу, не обѣдалъ-съ,—утверждалъ онъ, и такъ весело утверждалъ, что нельзя было сердобольной старухѣ не покормить его.

Помню, какъ разсказывалъ онъ о другѣ своемъ Сашѣ Порскомъ.—Иду я намедни по Васильевскому-съ, подхожу къ его домику, слышу его голосъ—точно съ неба падаетъ—и что-жъ вы думаете?—сидитъ на трубѣ.

— Какъ на трубѣ?

— Да также-съ: взлѣзъ на чердакъ, съ чердака на кровлю, а потомъ на трубу — и любуется. Что ты тамъ дѣлаешь? кричу.— Возлюбленной моей дожидаюсь, говоритъ.

— А что этотъ Порской, все еще въ академіи учится?

— Какой-съ учится! Съ прошлогодняго лѣта не ходитъ. Нашли на полу какіе-то стишки на профессора... преуморительные-съ... Я, когда вспомню или найду, прочту вамъ. Ну-съ, догадались, что это Сашка мой сочинилъ: кому-же иначе? призвали, распекли да и велѣли вонъ выходить... а человѣкъ съ талантомъ... Хорошо, что еще отецъ его на какой-то фабрикѣ деньгу зашибъ — домъ

есть свой, низъ подъ жильцовъ идетъ, а сами живутъ въ мезонинѣ; а кабы ничего-то, какъ вотъ у насъ, что бы тогда? У меня, когда я голоденъ, есть желаніе кого-нибудь эдакъ задѣть-съ, только никакъ я этого немогу, потому-что самого такъ задѣнутъ, что придется волкомъ выть... Ты смотри у меня, Алеша, учись: не будешь учиться, буду больно бить.

— Не буду учиться,—отвѣчалъ Алеша.

У этого Алеши, надо сказать правду, къ концу зимы мало-по-малу проявилась склонность къ математикѣ, сталъ онъ рѣшать задачи такъ, что учитель Фирсъ счелъ долгомъ заявить моей матери, что Алеша мальчикъ далеко неглупый.

Наступила осень — сырая, петербургская осень, съ дождями, вѣтрами, вставливаньемъ зимнихъ рамъ, выниманьемъ теплаго платья, раннимъ огнемъ, зубной болью и ожиданіемъ перваго санного пути, какъ великой Божьей благодати.

Съ первымъ саннымъ путемъ воротилась въ Петербургъ и мать моя. По дорогѣ она заѣзжала къ Кремневу въ деревню и нашла его одного среди опустѣлаго дома, въ прокопченномъ кабинетѣ, увѣшанномъ охотничьими ружьями (по большей части шведскими), палашами, шпагами и эспадронами, нагайками всѣхъ сортовъ и портретами собакъ. Отецъ Кремнева былъ когда-то страстный охотникъ и выѣзжалъ въ поле, какъ владѣтельный принцъ, окруженный мелкопомѣстными сосѣдями, приживальщиками, шутами, егерями и гончими, съ поварами на телѣгахъ и съ мальчиками, изъ которыхъ одни должны были подавать умываться, другіе набивать трубки и чистить чубуки.

Кремневъ явился у насъ въ домѣ спустя недѣли три послѣ пріѣзда моей матери и объявилъ ей, что всѣхъ крестьянъ своихъ сдѣлалъ вольными хлѣбопашцами.

ГЛАВА XXX.

Занятый своими уроками, погруженный въ свои личныя ощущенія и дѣтскія страстишки, я въ это время не имѣлъ ни нравственной возможности, ни особенной охоты обращать вниманіе на тогдашнюю политику. И Россія, и Наполеонъ, и Москва, и 1812 годъ, и русскій Царь, и Кутузовъ, и Барклай, и какой-то Аракчеевъ—все были для меня еще звуки, создававшіе въ умѣ моемъ безчисленное множество разныхъ поэтическихъ или воинственныхъ образовъ; они питали мой патріотизмъ, и передъ многими изъ нихъ я благоговѣлъ безсознательно. Дѣйствительность, или та огромная машина, называемая Россійской имперіей, двигая своими административными рычагами и бюрократическими колесами, не поражала еще слуха моего ни своимъ скрипомъ, ни своимъ шумомъ. Подъ сѣнью родительскаго дома и не зная нужды, я былъ далекъ и отъ тѣхъ жернововъ, которые изъ зеренъ муку дѣлаютъ; я былъ еще нетронутое зерно.

Когда въ ноябрѣ, вечеромъ, къ чаю явился къ намъ Кремневъ и объявилъ, что Государь Императоръ Александръ Павловичъ приказалъ долго жить, я помню, какъ это извѣстіе страшно отозвалось во мнѣ. Вѣроятно, подумалъ я, въ этой новости есть что-то страшное или потрясающее. Кремневъ былъ разстроенъ; мать моя задумалась; Фрейманъ поднялъ глаза къ потолку и сказалъ: «все падаетъ, и великое, и малое... Смерть есть благо, сказалъ Шиллеръ; но Шиллеръ это могъ сказать потому, что съ высоты божественной на міръ глядѣлъ,—мы этого не можемъ...»

— Что теперь будетъ? сказала мать моя, скрестивши руки.

— Уже посланъ къ Константину курьеръ,—сказалъ Кремневъ.

— Кто же теперь будетъ у насъ государемъ? спросилъ я.

— Константинъ Павловичъ...

Всѣ притихли. Въ эту минуту донесся до насъ отдаленный гулъ колокола. Быть можетъ, въ соборѣ, послѣ всенощной, уже пѣли панихиду, и по всѣмъ церквамъ стали раздаваться медленные удары печальнаго звона.

Въ эту ночь мать моя долго не спала и бесѣдовала съ Кремневымъ—о чемъ, Господь ихъ вѣдаетъ.

Наступило смутное время, нѣчто въ родѣ междуцарствія. Я пишу не исторію: я описываю жизнь мою; но и на маленькой моей жизни отразилось это смутное время: оно разнесло тѣхъ, которые окружали колыбель мою; оно навсегда унесло родную мать мою.

Между присягой Константину и присягой Николаю волновалось цѣлое море недоразумѣній, страховъ и надеждъ, слезъ и радостныхъ ожиданій, и волновалось оно не на одномъ верху—при дворѣ или въ средѣ высшаго общества, — нѣтъ, волненіе это замѣтно съ каждымъ днемъ спускалось все ниже и ниже. Даже дворовые наши стали какъ бы не тѣ люди и глядѣли какъ-то иначе. Аксюта, съ таинственнымъ и суровымъ видомъ, передала моей матери какіе-то темные слухи о мрачномъ взглядѣ Константина на наше дворянство. Хоть мать моя и убѣждала ее, что это вздоръ, Аксюта, какъ кажется, вѣрила не матери моей. Такимъ образомъ, въ народѣ уже носились тревожные слухи, способные волновать его. Недовольныхъ своими господами среди крѣпостныхъ было несомнѣнно великое множество. Даже, судя по тусклому лицу и выраженію глазъ нашей горничной, можно было заключить, что и она недовольна моей матерью—женщиной, которая была иногда до слабости снисходительна

къ недостаткамъ и порокамъ своихъ крѣпостныхъ подданныхъ и даже охотно отпускала ихъ на волю и безъ всякаго выкупа, какъ она уже и сдѣлала съ дочерьми Логина. Можете же вообразить, какое недовольство, какая ненависть могли таиться въ тѣхъ семействахъ, гдѣ крѣпостное право шло объ руку съ невѣжествомъ и произволомъ.

Слухи, сообщенные Аксютой, испугали мать мою. Съ негодованіемъ стала она говорить о тѣхъ, которые распускаютъ ихъ.—Чего они хотятъ? говорила она гостямъ своимъ: — изчезновенія съ лица русской земли всего западнаго, всего европейскаго! Сермяжнаго царства, что ли, хотятъ они!

И за этимъ были шумные споры; я не могу повторить ихъ, потому что не понималъ ихъ; знаю только, что между гостями моей матери были въ это время головы спокойныя, тихія, лица задумчивыя, и наоборотъ,—горячія, безпокойныя, съ энергическими голосами и пламенными взглядами. Между первыми былъ и Кремневъ. Но на этотъ разъ, какъ кажется, его мало слушали.

Положительно помню, что никто изъ гостей въ это время у насъ не засиживался: они появлялись какъ бы налетомъ и пропадали. Случалось, что шумно начавшійся вечеръ оканчивался мертвой тишиной, и въ этой тишинѣ я видѣлъ мать мою, погруженную въ такую глубокую задумчивость, въ какой никогда прежде я не видалъ ея.

Дня за два до 14 числа, около трехъ часовъ по-полудни, сидѣлъ у меня Глаголевскій; мы бесѣдовали: я спрашивалъ его объ Аграфенѣ, о книгахъ, какія онъ теперь читаетъ, и скоро ли онъ воротитъ мнѣ тѣ книги, которыя я когда-то давалъ ему безъ позволенія моей матери. Глаголевскій хотѣлъ принести мнѣ какую-то модель корабля, которую обѣщали ему подарить за какое-то дѣло. Потомъ онъ разсказывалъ мнѣ, какія были въ на-

родѣ предчувствія и какія были въ природѣ явленія, предзнаменовавшія кончину Императора.—Помните,—говорилъ онъ,—какой въ этотъ день (т. е., 19 ноября) былъ великій туманъ распространенъ по городу? Я вышелъ и подумалъ: что бы это такое значило? Могъ ли я тогда думать, что въ этотъ самый день, въ Таганрогѣ, Монархъ кончаетъ свое земное поприще? Въ этотъ день я едва могъ найти одинъ нужный мнѣ подъѣздъ: въ трехъ, четырехъ шагахъ трудно было видѣть лицо человѣческое. А что касается до попа, превращеннаго въ козла, то это недостойно вѣроятія; это еще прошлаго года нарочно выдумали, ради шутки... Этому вы не вѣрьте! Я уже объ этомъ справлялся и положительно теперь знаю, что въ святѣйшій синодъ никогда никакого дѣла ни о какомъ попѣ-козлѣ не поступало.

Такъ душеспасительно и мирно мы бесѣдовали. Глаголевскій, также какъ и я, былъ далекъ отъ всякой современной политики—ничего не предчувствовалъ, кромѣ одобренія со стороны начальства, и былъ совершенно доволенъ; но явился новый гость и нарушилъ въ немъ это блаженное спокойствіе.

Гость этотъ былъ Равининъ. Войдя въ классную, онъ спросилъ меня:—а гдѣ твоя матушка?

— Ея дома нѣтъ.

— Визитовъ не дѣлаетъ, а никогда дома нѣтъ. А Кремневъ дома?

— Не знаю

Равининъ былъ желтѣе обыкновеннаго; но отъ лица его такъ и вѣяло какимъ-то холодомъ и величіемъ. Онъ сѣлъ, поправилъ очки, согнулся и сталъ смотрѣть въ окно; потомъ, когда надоѣло ему въ окно смотрѣть, онъ устремилъ глаза свои на Глаголевскаго.

— Вы,—спросилъ онъ,—учитель?

— Да, я когда то училъ вотъ его,—отозвался Глаго-

левскій, ткнувши въ воздухъ указательный палецъ свой,— теперь больше службой занятъ.

— Гм! на пользу отечества... а гдѣ вы служите?

— Я началъ довольно счастливо: съ августа прошлаго 1824 года, состою столоначальникомъ въ гражданской палатѣ.

— Въ какомъ столѣ?

— Въ столѣ, гдѣ купчія крѣпости.

— Гм! это столъ выгодный! проскрипѣлъ Равининъ.— Ну, и когда же вы теперь пойдете на службу?

— Завтра,—отвѣчалъ Глаголевскій.

— Знаете, что я вамъ посовѣтую: придите завтра въ палату да и плюньте на нее.

— Какъ?!... Изумленный Глаголевскій вылупилъ на него блѣдные глаза свои.

— Да ужъ я же вамъ говорю, такъ-таки придите и плюньте.

Изумленіе Глаголевскаго перешло въ краску на лицѣ и въ легкій смѣхъ недоумѣнія.

— Никакъ нельзя этого сдѣлать,—сказалъ онъ:—ибо это безчинно, за это выгонятъ.

— Да вѣдь и такъ всѣхъ васъ выгонятъ: палата будетъ сдана въ архивъ, предсѣдатель вашъ также будетъ въ архивъ сданъ. Я вамъ не шутя говорю—гражданской палаты не будетъ, и я совѣтую вамъ развѣ для того только завтра туда отправиться, чтобъ навсегда проститься съ ней. Не шутя вамъ говорю.

— Да какъ же это?... А дѣла-то? Гражданскія дѣла да безъ гражданской палаты!... чудно!

— Всѣмъ вашимъ палатамъ конецъ.

— Вышло такое распоряженіе?

— Выйдетъ такое распоряженіе.

— А сенатъ?

— Можетъ быть, и сената не будетъ.

— А что же будетъ?!

— Ну, что будетъ—это вы сами не нынче—завтра увидите.

Равининъ проскрипѣлъ это такимъ самоувѣреннымъ тономъ, что Глаголевскій поблѣднѣлъ: онъ рѣшительно струсилъ и за свое мѣсто, и за свое жалованье.

Серьозно или шутя говорилъ все это Равининъ, не знаю. Мнѣ было тогда все рано, будетъ ли гражданская палата или не будетъ; тогда этотъ разговоръ мало интересовалъ меня, но впослѣдствіи я вспомнилъ его. Что же касается до Глаголевскаго, онъ прямо отъ насъ пошелъ къ самому предсѣдателю, передалъ ему все, что слышалъ, и точно также страшно напугалъ маститаго и богобоязненнаго предсѣдателя.

И въ это время такихъ тревогъ, я полагаю, было немало по всѣмъ угламъ нашей столицы, начиная съ кабинета графа Милорадовича и кончая послѣдней харчевней, гдѣ не знали за кого пить—за Константина или за Николая, и гдѣ, по этому поводу, какъ я слышалъ отъ Семена, случались драки.

Эти маленькія ссоры и драки скоро перешли въ драку на сенатской площади и стали историческимъ событіемъ.

Я увѣренъ, что мать моя не знала о томъ, что готовится 14-го декабря на этой площади, хоть она и была знакома со многими членами разныхъ тайныхъ обществъ.

Еслибъ она знала, что̀ въ этотъ день готовится, она, конечно, не отпустила бы меня гулять съ Логиномъ (такъ какъ отецъ Алексѣй прислалъ сказать, что онъ на урокъ не будетъ, и такъ какъ мой нѣмецъ ушелъ на свиданіе съ какимъ-то пріѣзжимъ пасторомъ) или, по-крайней-мѣрѣ, она сказала бы мнѣ, чтобъ я не ходилъ туда, гдѣ будетъ давка, свалка, пальба и тому подобное.

Отпуская меня, она преспокойна пила кофе и читала какую-то французскую книжку.

ГЛАВА XXXI.

Какими судьбами очутился я, неразумный мальчикъ, на Сенатской площади, 14-го декабря 1825 г.? Задавая себѣ подобный вопросъ, я долженъ сильно напрягать свою память, чтобы отвѣтить на него. Неужели наивное любопытство, которое съ дѣтства обусловливало мое развитіе, и не послѣднюю роль играло въ томъ процессѣ, изъ котораго вырабатывался мой характеръ,—неужели, говорю я, это любопытство было такъ сильно, что, не смотря на прирожденную мнѣ робость, оно могло увлечь меня въ толпу и лицомъ къ лицу поставить съ такимъ событіемъ, передъ которымъ, какъ на полѣ битвы, никто не могъ бы считать себя внѣ опасности?

Зачѣмъ это бѣжитъ народъ съ запальчивыми лицами, горланя и размахивая руками,—бѣжитъ по Вознесенскому проспекту и Гороховой? Отчего это такъ много вытянутыхъ, озадаченныхъ физіономій, выражающихъ не-то испугъ, не-то недоумѣніе? Откуда такъ много вопросительныхъ и восклицательныхъ фигуръ, съ раскрытыми ртами, съ шапками на затылкѣ, фигуръ въ распахнувшихся шубахъ, фигуръ въ фризовыхъ шинеляхъ, фигуръ бритыхъ и небритыхъ, стоящихъ на тротуарахъ около бакалейныхъ лавочекъ, на ступенькахъ подъѣздовъ, или подъ какимъ-нибудь фонаремъ, разспрашивающихъ другъ друга, или сурово и подозрительно поглядывающихъ будочниковъ? Я зналъ объ этомъ настолько, насколько и провожатый мой Логинъ; а Логинъ мой зналъ настолько, насколько знали объ этомъ въ тѣхъ многочисленныхъ семействахъ, которыя, въ это самое время, преспокойно возбуждали аппетитъ свой легонькой закуской и готовились къ сытной трапезѣ, нисколько не подозрѣвая, что въ эту самую

минуту, за нѣсколько улицъ, а именно на Сенатской площади совершается нѣчто въ родѣ революціи.

Пусть другіе собираютъ историческіе факты и излагаютъ передъ вами причины и послѣдствія 14-го декабря;— я не историкъ моего отечества,—я только историкъ впечатлѣній, вынесенныхъ мною, по милости этого дорогого мнѣ отечества. Читатели мои увидятъ не болѣе того, что я видѣлъ, и быть можетъ поймутъ этотъ день никакъ не болѣе, какъ понималъ его тогда вашъ юный слуга—Сережа Чалыгинъ, или какъ понималъ его въ то время каждый, болѣе или менѣе, развитой и образованный будочникъ.

Я думалъ, что будетъ большой парадъ съ музыкой и пальбой со стороны Петропавловской крѣпости, будетъ новая присяга, и — спѣшилъ. Я только и слышалъ, что митрополитъ проѣхалъ, но когда пронесся слухъ, что Милорадовичъ—графъ Милорадовичъ убитъ,—Логинъ почуялъ что-то такое не совсѣмъ удобное для нашей прогулки и ухватилъ меня за рукавъ, что̀ было съ его стороны равносильно настойчивому желанію убираться во-свояси. Я, какъ послушная лошаденка, почуялъ возжи и повернулъ назадъ, хотя впередъ тянуло меня какое-то смутное желаніе увидѣть какое-то зрѣлище. Зачѣмъ бы, думалъ я, бѣжать народу, коли тамъ нѣтъ и не будетъ никакого зрѣлища! Я уже слышалъ издалека барабанный бой и какой-то гулъ (не-то ура! не-то Богъ знаетъ что такое!). Но что дѣлать! Логинъ все сильнѣе и сильнѣе тянулъ за возжу, то-есть за рукавъ моей шинели.

Но только что мы повернули назадъ, какъ натолкнулись на Костю и Сашу Порскаго. (Личность этого Саши сильно меня интересовала, потому что я слышалъ про него много смѣшного и оригинальнаго, и разумѣется обрадовался, что натолкнулся на друга моего пріятеля Кости). Они спѣшили на Сенатскую площадь; Саша го-

ворилъ, что взлѣзетъ на фонарь и все увидитъ; Костя также толковалъ, что картина, вѣроятно, будетъ живописная, но что онъ намѣренъ, по-добру-по-здорову, перебраться черезъ мостъ и поглядѣть на эту картину издали.

— А ну, какъ насъ съ тобой подстрѣлятъ? — говорилъ онъ.

— Ну, братъ, туда намъ и дорога,—отвѣчалъ Саша Порской, порываясь впередъ.

— Возьмите и меня съ вами, проговорилъ я...

— Пойдемте-съ, вѣдь мы съ вами бунтовать не будемъ, не правда ли-съ?

— Я буду бунтовать,—проговорилъ Порской.

— Какъ же ты будешь бунтовать? смѣясь и скаля зубы, спросилъ его Костя.

— Пущу кому-нибудь въ рожу кисетъ съ табакомъ, или калоши сниму съ ногъ, начну бросаться...

— Ну, братъ, это убыточно: табаку жаль, а калоши также стоятъ недешево.

— А вонъ,—не слушая его, продолжалъ Саша, — и сумасшедшій идетъ. За нимъ, господа! У него такая грозная фигура, что передъ нимъ всѣ разступаются.

И, дѣйствительно, я увидалъ въ толпѣ сумасшедшаго Ильина:—онъ былъ въ той же клеенчатой фуражкѣ, но уже не въ плащѣ, а въ теплой бекешѣ съ потертымъ бобровымъ воротникомъ. Онъ былъ блѣденъ и шелъ твердой поступью, сложа на груди своей руки à la Napoléon. Глаза его казались сверкающими и повелительно грозными. — Разступись! кричалъ онъ. Всѣ оглядывались и разступались. — Съ дороги! съ дороги! пропустить!... повторялъ онъ повелительнымъ голосомъ и шелъ. Глядя на него, иные ворчали, иные пятились, какъ отъ зачумленнаго. Мы пошли за нимъ. Логинъ умолялъ меня идти домой, грозилъ, ворчалъ, сердился, тянулъ за рукава,

а я не слушался; послушная минута прошла; и вотъ, какими-то судьбами, пробиваясь сквозь толпу, очутились мы на площади, въ проходѣ между шеренгами выстроившагося войска.

— Vive la charte! закричалъ сумасшедшій, поднявши правую руку и обернувшись въ ту сторону, гдѣ за толпой слышался топотъ кавалергардскихъ лошадей и гдѣ мелькали султаны. Онъ остановился, а мы хотѣли пройти за фронтъ и потомъ пробраться къ каменнымъ кучамъ матеріала, заготовленнаго для постройки Исакія.

— Стой! гаркнулъ кто-то у меня подъ самымъ ухомъ, — и я увидѣлъ человѣка съ грубымъ лицомъ, въ партикулярномъ платьѣ, но въ военной шинели и въ фуражкѣ съ желтымъ околышемъ. Быстро оглядѣвъ насъ съ ногъ до головы, онъ остановилъ мутные глаза свои на румяной физіономіи сконфуженнаго Кости и сердито спросилъ его: — Вы за кого?... А?!.. За кого вы, говорятъ вамъ!...

— За... за Константина, — запинаясь пробормоталъ Костя.

— Молодецъ! на тебѣ! — и онъ сунулъ ему въ руку заряженный пистолетъ. Костя взялъ его — и не успѣли мы подумать и сообразить, что все это значитъ, какъ тотъ же человѣкъ закричалъ намъ:—Проходите налѣво— тамъ наши...

Но не успѣли мы пройти нѣсколько шаговъ, какъ подбѣжалъ къ намъ другой офицерикъ, на видъ развеселый-преразвеселый малый, и увидавши меня, сталъ просить Логина какъ можно скорѣй увести меня. — И куда это ты, старина, завелъ его?

— Ба-а-атюшка! умоляющимъ голосомъ сталъ было оправдываться Логинъ...

— Постойте, я самъ провожу васъ, подхватилъ онъ съ любезностью кавалера, услуживающаго дамамъ.—Вы

видите, видите, что у насъ творится, — свои своихъ не узнаютъ, продолжалъ услужливый офицерикъ и показалъ налѣво.

Сквозь толпу мы увидѣли блескъ колеблющихся штыковъ и какую-то крикливую суматоху. Часть народа, которая, какъ мнѣ казалось издали, стояла точно на какихъ-то холмахъ, двинулась съ возвышеній и обнажила большіе дровяные склады: въ воздухѣ замелькали пущенные въ солдатъ полѣнья, — съ ихъ стороны раздались ружейные выстрѣлы, — казалось, вотъ-вотъ начнется свалка... Недалеко отъ насъ, со стороны Невы, въ ту же сторону пробѣжала другая толпа—и въ семи шагахъ отъ меня я увидѣлъ... лодочника Митрофана. Онъ бѣжалъ въ полушубкѣ нараспашку, махалъ весломъ и, выпуча глаза, кричалъ: — Констанція!

— Ишь дурачье! сказалъ офицерикъ:—кричатъ, а и сами не знаютъ, что̀ кричатъ.

Проведя насъ къ начинающимся постройкамъ (теперешняго синода или сената, не помню), офицерикъ сказалъ мнѣ:—ступайте по Галерной, а какъ придете домой, не забудьте поклониться отъ меня вашей матушкѣ.

Костя и Саша Порской исчезли. Какъ они отбились и куда вдругъ забѣжали, Господь ихъ вѣдаетъ. Впрочемъ, мнѣ и моему несчастному Логину было не до нихъ. Рады-рады мы были, что очутились на Галерной.

— Шестой десятокъ живу—страстей такихъ не было! Насъ и тутъ, чего добраго, задавятъ. Куда вы, баринъ! видите, какая толпа валитъ!—ворчалъ мой Логинъ.

— Зайдемъ къ Глаголевскому,—сказалъ я, очутившись у того крыльца, которое вело въ его обитель.

— Куда тутъ заходить — вишь, и лавки, и ворота всѣ заперты.

Я толкнулся въ дверь подъ навѣсомъ,—она, скрипя, отшатнулась и пропустила насъ въ темныя сѣни. Тутъ,

по каменной лѣстницѣ взобравшись на третій этажъ, скоро очутились мы въ большомъ корридорѣ и, наконецъ, въ квартирѣ Глаголевскаго. Его мы не застали дома, а застали одну сожительницу его Аграфену; она преспокойно стряпала обѣдъ и дожидалась своего Василія Васильевича. Отворяя дверь, она, судя по улыбкѣ, обрадовалась моему появленію; но не бросилась на этотъ разъ ни обнимать, ни цѣловать меня.

Мы разсказали ей со всѣми подробностями наши приключенія. Аграфена выслушала насъ по-видимому безъ всякаго участія къ нашему положенію. Маленькіе глазки ея выразили даже какое-то недовольство, но что значило это недовольство—мы бы никогда не узнали, еслибъ она сама не сказала намъ:—и не то еще будетъ! Вотъ погодите!

— Да что же это такое будетъ-то? спросилъ ее Логинъ, сложа руки на животѣ и устремя на нее сѣрые глазки свои изъ-подъ нависшихъ стариковскихъ бровей.

На его вопросъ Аграфена не обратила ни малѣйшаго вниманія и продолжала: — вишь чего захотѣли! измѣны присягѣ! Эко дѣло! Да что же послѣ этого будетъ, коли народъ да православное воинство будетъ присягѣ измѣнять! Я бы ихъ всѣхъ измѣнниковъ!... И маленькіе, опухшіе глазки ея сверкали такъ, какъ только могутъ сверкать маленькіе, опухшіе глазки.

— Да что ты... сваха! возразилъ Логинъ, тряхнувши головой,—что ты мелешь-то! Вѣдь Константинъ Павловичъ самъ отказался, али не слыхала?

— Да я и слышать-то этого не хочу. Отказался! какъ не такъ! Пусть бы самъ пріѣхалъ, да и сказалъ бы народу — такъ и такъ, дескать, отказываюсь отъ вѣнца прародительскаго... Отказался! станетъ онъ отъ царства отказываться!... Вотъ погоди, какъ онъ самъ-то нагрянетъ...

— Да вѣдь онъ бумагу прислалъ,—возразилъ Логинъ, — отреченіе.

— Кто бумагу прислалъ? А ты видѣлъ, што-ли, эту бумагу-то? а?

— Да и въ газетахъ было напечатано, въ вѣдомостяхъ...

— Въ газетахъ! А кто въ газетахъ-то пишетъ да печатаетъ—не знаешь? Ну, не знаешь, такъ и молчи!

— Ну, ты вотъ много знашь. Эка—сваха! расхрабрилась больно, умнѣе печатнаго хочешь быть... Чай, отъ сената манифестъ былъ... То-то!

— То-то! повторила Аграфена.

Таковъ былъ политическій споръ между Аграфеной и Логиномъ. Я былъ на сторонѣ Логина, потому что дѣйствительно слышалъ про отреченіе; что касается Аграфены, то, вѣроятно, слова ея выражали главную суть этого дня, этого, такъ-сказать, громко выраженнаго народнаго недоразумѣнія. Народъ же былъ, какъ и теперь, теменъ и безграмотенъ; печатные правительственные указы, если и доходили до ушей его, то, во-первыхъ, доходили до ушей его черезъ уста приказныхъ, то-есть чрезъ такія уста, къ которымъ онъ не питалъ ни малѣйшаго довѣрія; во-вторыхъ, вѣрилъ слухамъ; въ-третьихъ, многое понималъ и толковалъ по-своему. Логинъ мой не любилъ уступать; уступить бабѣ было позорно съ его точки зрѣнія, а потому онъ и спорилъ съ Аграфеной до тѣхъ поръ, пока та не принесла ему графинъ съ настойкой и не поставила на столъ тарелки съ горячими пирожками, съ такими великолѣпно-вкусными пирожками, что я оказался неравнодушенъ къ нимъ и принялся за нихъ съ большимъ апетитомъ, къ немалому удовольствію моей гостепріимной няни.

Наступили сумерки... Аграфена ушла въ кухню, Логинъ сталъ спиной къ печкѣ, принялъ свою лакейскую

позу и о чемъ-то крѣпко задумался. Я сталъ глядѣть въ окно, но сквозь двойныя рамы, кромѣ стѣны Зимняго дворца, угломъ выходящаго на площадь, ничего разглядѣть не могъ. Вдругъ уголъ этотъ озарился алымъ блескомъ и черезъ двѣ-три секунды грянулъ пушечный выстрѣлъ. Стекла въ окнахъ звякнули; Логинъ перекрестился; Аграфена вышла изъ кухни, но также спокойно и равнодушно стала накрывать на столъ. Не прошло пяти минутъ, какъ грянули новые выстрѣлы — это уже были цѣлые залпы. Рамы въ окнахъ дрогнули, между ними посыпались осколки лопнувшихъ стеколъ. Логинъ поблѣднѣлъ, у меня замерло сердце, Аграфена — и та пріостановилась, но, судя по ея лицу, не замѣтно было, чтобы струсила. Не успѣли мы очнуться отъ грома этихъ выстрѣловъ, какъ въ комнату, не снимая шинели, ввалился Глаголевскій; безъ шляпы, блѣдный и тяжело дышащій, онъ былъ похожъ на человѣка, только что выскользнувшаго изъ-подъ ножа или убѣжавшаго отъ висѣлицы. Аграфена поглядѣла на него съ насмѣшкой. — Что ты, мой батюшка! сказала она, — али ополоумѣлъ? Вѣдь не въ тебя же тамъ цѣлили, есть и почище тебя!

— Да, не въ меня! Кабы не юркнулъ въ ворота, прохватило бы и меня; такъ-то картечью жарятъ, что спаси Господи!

— Что съ вами случилось? спросилъ я.

— Да чуть не убили... Пойду завтра молебенъ отслужу... право! Изволите видѣть — не успѣй я добѣжать до подъѣзда—трахъ!... повалили бы и меня... Пули такъ и визжатъ, такъ и визжатъ. Вотъ ужъ до чего мы дожили! Владыко всемилостивѣйшій!...

И Глаголевскій къ потолку возвелъ оловянные глаза свои.

— Да кабы и въ тебя попало, такъ бы не велико горе-то, сокровище ты эдакое, отозвалась Аграфена,

снимая шинель съ своего сожителя. — А гдѣ же шляпа-то? а?

— Шляпа! А я хотѣлъ было въ одну калитку сунуться, она у меня и слетѣла; пока повернулся — калитку-то кто-то успѣлъ сзади запереть, а шляпа-то полетѣла.... знаете.... покатилась — да такъ ее и растоптали.... народъ бѣжитъ, какъ оглашенный... До шляпы-ли тутъ, помилуйте! До своей квартиры оставалось три шага, кой-какъ добѣжалъ, спасъ Господь.... А вы-то какъ... а? какъ вы-то сюда попали?

Мы разсказали ему, какъ мы попали.

— Экой день, экой день! Согрѣшили передъ Господомъ... Ну, впрочемъ, слава Богу! Завтра весь Петербургъ, вся святая Русь будетъ молебны пѣть, крамольники дрогнули и побѣжали...

— Кто побѣжалъ? спросила Аграфена.

— А вотъ всѣ тѣ, кто не хотѣлъ Николаю Павловичу присягать—вотъ кто...

Не привожу того разговора, который вслѣдъ за этимъ послѣдовалъ между моей бывшей нянькой и ея возлюбленнымъ. Кончилось тѣмъ, что она выругала его приказной строкой, а онъ ее глупой бабой. Наконецъ, приказная строка приказала глупой бабѣ принести себѣ настойки и готовить обѣдъ. Глупая баба повиновалась—и принесла ему въ добавокъ тарелку съ пирожками. Приказная строка съѣла ихъ при насъ около десятка съ большимъ апетитомъ. Поѣдая ихъ, онъ сталъ двигать бровями и указательнымъ пальцемъ, молча приглашая и насъ послѣдовать его примѣру; но мы сказали, что мы уже успѣли позавтракать. Опустошивъ тарелку, онъ утерся и, потрепавъ Аграфену по плечу, сказалъ ей:—сама ты, баба, не знаешь, чего хочешь, а я знаю, чего я хочу. Впрочемъ, за пироги спасибо.

Видно оба—и приказная строка, и глупая баба—были люди съ характеромъ.

ГЛАВА XXXII.

Незамѣтно подошелъ ранній декабрьскій вечеръ. Темь уже глядѣла въ окна, когда мы сѣли обѣдать.—Логинъ! садись съ нами,—сказалъ я, хотя, долженъ сознаться, во всякое другое время мнѣ было бы такъ же неловко или дико съ нимъ сидѣть за однимъ столомъ, какъ иному франту было бы неловко въ гостяхъ сидѣть безъ галстука или безъ перчатокъ. Логинъ былъ послѣдовательнѣе: онъ меня не послушался и ушелъ обѣдать въ кухню. Смѣшно подумать, что Логинъ скорѣй бы далъ мнѣ затрещину или выругалъ бы меня, чѣмъ сѣлъ бы со мной за одинъ столъ чай пить или обѣдать. Измѣнить такія отношенія можетъ только одинаковость воспитанія между господами и ихъ прислугой; но будетъ ли это когда-нибудь, и возможно ли это, и нужно ли?—не вѣдаю.

Аграфена или была сыта, или была не въ духѣ, только я не помню, чтобы она съ нами обѣдала; кажется, выпила только стаканъ пива, посидѣла съ нами и вышла.

Глаголевскій также былъ не въ духѣ и все время разспрашивалъ меня о Равининѣ. Онъ, по-видимому, никакъ не могъ простить ему того страха, который тотъ ему задалъ, увѣривъ его, что гражданская палата провалится. Для Глаголевскаго это значило потерять въ сей жизни послѣдній жизненный оплотъ. Онъ, какъ видно, сдѣлавшись столоначальникомъ, считалъ себя уже пребывающимъ посреди надежной и отъ всякихъ бурь защищенной пристани. Онъ уже завелъ всѣ нужныя для

службы связи и, вѣроятно, многихъ чиновныхъ особъ уже успѣлъ обаять точно такъ же, какъ когда-то обаялъ нашихъ дворовыхъ своими душеспасительными разсказами. Въ самой наружности его было уже не то, что было прежде,—онъ отпускалъ бакенбарды, и подбородокъ его начиналъ лосниться, такъ хорошо и такъ гладко былъ онъ выбритъ.

Сильно онъ жалѣлъ о своей погибшей шляпѣ: разсказывалъ, гдѣ онъ ее купилъ, по чьему совѣту и сколько заплатилъ за нее въ магазинѣ; это была первая шляпа, которую надѣлъ онъ съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ изъ семинаріи. Бѣдственное было это число для него—14-е декабря! — Никогда я этого распроклятаго дня не забуду!— говорилъ Глаголевскій.

Послѣ обѣда, мнѣ сильно захотѣлось домой идти — и совсѣмъ не потому, чтобъ мнѣ вообразилось, до какой степени неизвѣстность и мое отсутствіе должны пугать или безпокоить мать мою, — нѣтъ, мнѣ хотѣлось только какъ можно скорѣй разсказать ей о моихъ *необыкновенныхъ* похожденіяхъ на Сенатской площади. Былъ еще седьмой часъ вечера, а мнѣ уже казалось, что поздно, очень поздно. Собравшись домой, мы и не подозрѣвали, что намъ пробраться до своего обиталища будетъ такъ же трудно, какъ было бы трудно перебраться въ непріятельскій лагерь изъ осажденнаго города.

Глаголевскій зажегъ фонарь, надѣлъ старую свою съ ушами шапку и проводилъ насъ до подъѣзда. Увы! подъѣздъ былъ запертъ — это было первое препятствіе. Мы стали стучать въ дверь, въ надеждѣ, что дворникъ на тротуарѣ услышитъ насъ и выпуститъ на улицу; но не тутъ-то было — мы только испугали нижнихъ жильцовъ. Справа, изъ дверей нижняго этажа, высунулась голова въ черномъ колпакѣ и уставила на насъ страшно испуганные, ястребиные глаза свои. — Ишь, черти! что вы

тутъ стучите, только пугаете, окаянные!... проворчала эта голова, сѣдая и морщинистая, и, въ добавокъ, рельефно освѣщенная снизу фонаремъ Глаголевскаго. Оглядѣвши насъ, она опять спряталась, захлопнула дверь и заперла ее. Глаголевскій пошелъ за дворникомъ. Дворникъ сказалъ ему, что отпирать подъѣзды запретила полиція, и что, если мы хотимъ, то онъ, такъ и быть, пропуститъ насъ въ ворота, черезъ калитку. Нечего было дѣлать, надо было опять подняться до самаго верху (причемъ мой несчастный дядька сильно запыхался), надо было пройти весь верхній коридоръ и спуститься по другой, узкой и вонючей лѣстницѣ.

Помню, какъ вдругъ мнѣ стало жутко, когда очутились мы на тротуарѣ и услыхали за собой скрипъ желѣзной задвижки и стукъ замка за воротами. Улица была темна, глуха и безлюдна; только мостовая, покрытая выпавшимъ къ ночи снѣгомъ, едва-едва бѣлѣлась. Со стороны Сенатской площади слышался стукъ подковъ, и вдали «слу-у-у-ша-а-ай!» раздавалось протяжно со всѣхъ сторонъ и замирало въ холодномъ воздухѣ. Пройдя направо дома три или четыре, мнѣ показалось, что, посрединѣ улицы, стоятъ двѣ высокія фуры, и что на одну изъ нихъ какія-то темныя фигуры поднимаютъ и кладутъ что-то темное.—Эка темь! подумалъ я, стараясь вглядываться, и чуть не упалъ, потому что въ эту минуту былъ схваченъ за воротъ какимъ-то полицейскимъ.

— Кто вы такіе? Куда ты? а? спросилъ онъ.

Я такъ испугался, что и отвѣчать не могъ. Логинъ умоляющимъ голосомъ сталъ объяснять ему, что я сынокъ ея превосходительства, что мы были въ гостяхъ и домой идемъ; при этомъ онъ ему кланялся и называлъ: «батюшка вы мой».

Видно, слово «батюшка» понравилось или смягчило душу полицейскаго: онъ выругалъ Логина крѣпкимъ слов-

цомъ, но такимъ тономъ выругалъ, что намъ сейчасъ же стало ясно, что онъ надъ нами сжалился и отпуститъ намъ душу на покаяніе. По его совѣту, мы стали подъ какія-то запертыя ворота и притаились.

Пока мы стояли такимъ образомъ, прижавшись въ темные углы и не смѣя дохнуть, таинственныя фуры тронулись, и, сквозь медленный грохотъ колесъ ихъ, мнѣ послышался стонъ. Вслѣдъ за удаляющимися фурами, подоспѣлъ и двинулся цѣлый отрядъ конницы. Не смотря на темноту, зоркіе молодые глаза мои видѣли, какъ отсвѣчивалась сбруя, какъ бѣлѣли перевязи и какъ, на шагу, лошади мотали головами, какъ-будто кланялись. Одна изъ нихъ фыркнула отъ меня въ двухъ или трехъ шагахъ... Наконецъ, они проѣхали...

— Теперь ступайте,—сказалъ намъ полицейскій,—да коли не попадетесь, скажите тамъ у себя дома, что коли время будетъ, я навѣдаюсь, зайду къ вамъ.

— Угостимъ, ей-Богу угостимъ! отвѣчалъ Логинъ,— и барыня будетъ благодарна.

— Ну, то-то же... да тише идите! совѣтовалъ полицейскій.

И мы пошли такъ тихо, такъ тихо, какъ только воры ходятъ, собираясь обойти сторожей и подобраться къ соннымъ. Я даже дрожалъ слегка, точно преступникъ. Свернувши въ переулокъ налѣво, мы благополучно дошли до площадки передъ Поцѣлуевымъ мостомъ, но тутъ передъ нами открылось невиданное въ столицѣ зрѣлище: горящіе костры на мостовой, ружья въ сошкахъ, группа осѣдланныхъ и дымящихся лошадей, кучки солдатъ и офицеровъ — однимъ словомъ, цѣлый бивакъ. Разсудокъ убѣдилъ насъ, что идти назадъ безполезно, что и у другихъ мостовъ черезъ каналъ могли быть точно такіе же пикеты; прятаться же еще хуже—это значитъ навлекать на себя незаслуженное подозрѣніе. Хоть у меня и замирало сердце,

хоть мы и струсили, но рѣшились идти спокойно, прямо на мостъ. Караульный окликнулъ насъ и остановилъ, какой-то офицеръ подошелъ къ намъ, выслушалъ насъ, вызвалъ кого-то изъ кучки солдатъ, и этотъ «кто-то» побѣжалъ къ командиру доложить о нашемъ желаніи пройти домой. Позванные къ командиру, мы прошли мимо одного бивачнаго огня, возлѣ котораго, какъ мнѣ показалось, солдатики пили сбитень. Ближе всѣхъ къ огню стоялъ какой-то господинъ съ краснымъ шарфомъ на шеѣ, съ подвязанной рукой, стало-быть раненый, и былъ погруженъ въ глубокую задумчивость. Командиръ (полковникъ или генералъ—Господь его вѣдаетъ!) сидѣлъ на скамьѣ около будки и, завернувшись въ шинель, казался неподвижнымъ; уличный фонарь освѣщалъ полумонгольскія черты лица его, выдававшіяся скулы и большіе, длинные глаза, которые глядѣли какъ будто сквозь дремоту—что, разумѣется, не мѣшало имъ отлично все видѣть; на одной щекѣ его было черное пятно — вѣроятно пластырь.

Я молчалъ,—Логинъ за меня отбояривался. Онъ стоялъ безъ шапки, кланялся, чуть не плакалъ. — Окажите божескую милость, ваше превосходительство!—говорилъ онъ:—въ первый и послѣдній разъ запаздываемъ, ваше превосходительство...

— Ну, какъ я васъ пропущу? говорилъ командиръ:—можетъ быть, ты переодѣтый бунтовщикъ, кто тебя знаетъ! Эй, Григорьевъ! Позвать сюда Григорьева!.. Проводи вотъ этого мальчугана и этого стараго дурака до ихъ дома, ну, и сдай ихъ тамъ съ рукъ на руки...

Я увѣренъ что серебряная серьга въ одномъ изъ ушей моего Логина была замѣчена и краснорѣчиво доказала его невинность... Такимъ образомъ божеская милость была намъ оказана, и мы, въ сопровожденіи солдата Григорьева, преблагополучно дошли до нашей квар-

тиры, хотѣли выслать Григорьеву на водку, но онъ махнулъ рукой и сказалъ:—Какая теперь водка? — потомъ, замѣтивши домъ нашъ, исчезъ во мракѣ.

Съ крикомъ радости бросилась обнимать меня, вся блѣдная, вся трепещущая мать моя. Она плакала. Въ первый разъ я видѣлъ ее плачущею и понялъ, сколько въ этотъ день должна была перечувствовать и перестрадать эта женщина.

Я былъ въ этотъ вечеръ похожъ на человѣка, только-что освободившагося изъ плѣна или воротившагося изъ дальняго путешествія; я, съ моими дѣтскими разсказами, быть можетъ, преувеличенными по милости разгулявшагося воображенія, между домашними сталъ предметомъ любопытства. Когда я пилъ чай въ столовой, въ дверяхъ со всѣхъ сторонъ выглядывали на меня головы нашихъ дворовыхъ, на меня глазѣли, какъ на невиданное зрѣлище, наблюдали, какъ я пью чай, и дѣлали разныя на мой счетъ замѣчанія: Феня думала, что я прозябъ; судомойка воображала, что я испугался; Лукерья сомнѣвалась, обѣдалъ ли я. Мужъ ея Логинъ больше ничего не дѣлалъ, какъ всю вину сваливалъ на меня.—Звалъ я его домой, тащилъ-тащилъ, ничего съ нимъ не подѣлаешь! говорилъ онъ, продолжая хмуриться и трясти головой: — затесались, куда не слѣдуетъ, ну и... слава тебѣ, Господи, что еще не зашибли да не задавили! А и зашибли бы— я бы виноватъ не былъ... Я зналъ, что не слѣдъ намъ въ эту сторону гулять итти...

Логина позвала старуха жена его, и я видѣлъ, какъ за дверью Аксюта поднесла ему рюмочку водки...

Я спросилъ, гдѣ Фрейманъ; но онъ еще не воротился. Видно нѣмецкій пасторъ, не довѣряя ночной тишинѣ и спокойствію, не отпустилъ его.

На другой день утромъ я засталъ Александра Сидоровича Кремнева въ кабинетѣ моей матери. Лицо его было

такъ же ясно, какъ и всегда, только слегка какъ-будто осунулось — какъ-будто онъ не спалъ двѣ или три ночи сряду; онъ держалъ мать мою за руку, щупалъ пульсъ.

— Ничего, я еще пока здорова,—говорила ему мать моя, полулежа на диванѣ, въ бѣломъ утреннемъ капотѣ. Она была желта и блѣдна, черные волосы ея въ безпорядкѣ выбивались изъ-подъ ночного чепца и падали на подушку вокругъ головы и шеи.

— Нѣтъ, я все-таки думаю сходить за вашимъ докторомъ.

— Это у меня не въ первый разъ.... болитъ бокъ и небольшое лихорадочное состояніе.

— Вы, моя милая, очень безпокоитесь.

— А вы ужъ очень меня хотите утѣшить. Нѣтъ, Александръ Сидоровичъ, я женщина, и знаю лучше васъ, что̀ ожидаетъ друзей моихъ.

— Разумѣется, ихъ ожидаютъ большія непріятности; но... на то есть гражданское мужество... Вотъ вы больны... я ужъ вижу, что больны.

— Да, я простудилась...

— А зачѣмъ вы вчера выбѣгали на улицу?

— Да я не на улицѣ, я въ лавкѣ простудилась. Купецъ Бакалейкинъ,—тотъ самый, который прошлаго года спасался у меня отъ потопа, даже обѣдалъ, кажется,— узналъ меня, зазвалъ къ себѣ въ лавочку и все приставалъ, все меня разспрашивалъ: чего намъ ждать? кто будетъ нашимъ царемъ? и проч. и проч. Ну, потомъ предложилъ мнѣ напиться чаю. Я не хотѣла его обидѣть и согласилась,—чай же у него такой прекрасный, отборнаго сорта чай.—Тутъ вдругъ раздались эти пушечные выстрѣлы... приказчикъ затворилъ лавку и зажегъ лампаду у образа; побѣжалъ народъ; я вышла на тротуаръ... впрочемъ, я была въ салопѣ, трудно было простудиться—

мнѣ было совсѣмъ не холодно, даже жарко было... право... Сама не понимаю, какъ я могла простудиться.

— Да вотъ еще этотъ мальчикъ надѣлалъ вамъ хлопотъ.

— Да, я думала, что я его ужъ и не увижу. Богъ знаетъ, что приходило въ голову... Посылала за вами— васъ съ утра дома нѣтъ. Вы вѣрно... ну, пожалуйста, говорите правду: вы вѣрно были *тамъ*.

И она въ сторону протянула руку, блѣдную и прозрачную; черные глаза ея остановились на лицѣ Кремнева, какъ бы читая въ спокойныхъ глазахъ его все безпокойно-тревожное, то, что шевелилось на днѣ души этого человѣка, по-видимому откровеннаго и простодушнаго.

— Ну, да чѣмъ же васъ, моя матушка, удостовѣрить? Проснулся я, по обыкновенію, рано, облился холодною водою со льдомъ, задалъ урокъ моему мальчишкѣ—и вышелъ на улицу. Тутъ я вспомнилъ про одного больного—живетъ онъ у Таврическаго дворца—ну, и пошелъ къ нему напиться чаю да поболтать съ нимъ; онъ же великій мастеръ погоду угадывать: вотъ, думаю, узнаю, какая будетъ погода. Надо вамъ сказать, что это не человѣкъ, а, такъ сказать, ходячій барометръ: если ноги, говоритъ, похолодѣли—будетъ туманъ, коли поясница ломитъ—снѣгъ или дождь пойдетъ; коли голова, говоритъ, начала съ лѣваго виска болѣть—жди, говоритъ, сѣвернаго вѣтра,—и знаете, человѣкъ при этомъ хорошій—много страдалъ и совершенно невинно выключенъ былъ изъ службы... Ну, вотъ я тихимъ шагомъ, не спѣша, къ нему и отправился. Просидѣлъ у него до полудня, а можетъ быть и до часу. На обратномъ пути, на Литейной, встрѣчаю, — ѣдетъ въ коляскѣ княгиня Малыгина, — поклонился. Княгиня остановила экипажъ, замахала рукой: поѣдемте, говоритъ, ко мнѣ

кофе пить. Я, разумѣется, отказывался; хотѣлось побывать у васъ, моя милая, — но... княгиня одна изъ тѣхъ женщинъ, которыя не любятъ, чтобы имъ отказывали,—приказала одному изъ своихъ гайдуковъ соскочить съ запятокъ и подсадить меня; меня подсадили, и я сѣлъ—сѣлъ и поѣхалъ. Ну, развѣ я поѣхалъ бы, если бы зналъ, что дѣлается въ городѣ? Не понимаю, какъ могло это тайное общество вообразить, что оно достигнетъ своей цѣли... Гм, да! Судя по всему, его намѣренія были извѣстны 20 или 30-ти особамъ изъ цѣлаго города. Такое количество людей ясно и открыто дѣйствовать не можетъ. Но на что они надѣялись? Развѣ перевороты дѣлаются экспромтомъ? Нѣтъ! Я очень теперь доволенъ, моя голубушка, что, такъ-сказать, офиціально не былъ внесенъ ни въ одинъ списокъ ихъ общества, и что послѣднее время не былъ приглашенъ ими ни на одно изъ ихъ совѣщаній. И увѣренъ, что многое завѣтное исполнится, до многаго радостнаго и утѣшительнаго еще доживемъ мы съ вами —и до освобожденія крестьянъ, и до иного устройства нашихъ судовъ, и до большей свободы печати... до всего еще доживемъ, ибо время идетъ, то-есть не время, а Европа идетъ—мы не отстанемъ... тяжело было бы бороться съ ней, еслибъ отстали. Правду сказалъ Елисей Ѳедоровичъ, что безъ Петра Великаго и Екатерины Второй, Наполеонъ въ 12-мъ году не бѣжалъ бы изъ Россіи, —ибо не стрѣльцамъ же нашимъ бороться было съ такимъ войскомъ и съ такими генералами. Не было слишкомъ большого застоя, оттого мы съ ними и сладили, а будь застой—ну, и сгнили бы... Извѣстно, стоячая вода портится.

Такъ, или почти такъ говорилъ Кремневъ, и я думаю, что вся эта рѣчь была сказана въ утѣшеніе моей матери. Она, вѣроятно, сильно побаивалась, что его возь-

мутъ, и она останется совершенно одна, безъ всякаго дружескаго участія, безъ всякой нравственной поддержки, въ которой нуждаются иногда женщины, даже самыя сильныя по характеру.

Если бы вчерашними приключеніями нервы мои не были потрясены, слова Кремнева, вѣроятно, не произвели бы на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія, они прошли бы мимо ушей моихъ такъ же, какъ много проходило ихъ, нисколько, ни на одну минуту не заставляя меня задуматься. Событія подстроиваютъ насъ на воспріятіе тѣхъ или другихъ идей, и выраженіе «освобожденіе крестьянъ» впервые задѣло меня за-живое. Освобожденіе! Какое освобожденіе? Развѣ они въ тюрьмѣ, въ цѣпяхъ, въ плѣну? развѣ они невольники? Что это значитъ?... Я никогда не былъ въ деревняхъ; но мужиковъ нашихъ видѣлъ—видѣлъ, какъ они пріѣзжали къ намъ и привозили оброкъ, холсты, сушеные грибы, каленые орѣхи, иногда даже какого-то особеннаго вкуса пряники. Мужиковъ видѣлъ я на рынкахъ, на базарахъ, и всѣ они казались мнѣ свободными; о какомъ же это освобожденіи говоритъ Кремневъ? О нашихъ судахъ я также не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, и—о, блаженное невѣдѣніе!—подъ словомъ цензура — разумѣлъ что-то такое, касающееся только до картинокъ, изображающихъ неприличныя сцены, или до стиховъ въ родѣ Баркова. То, что стыдно вслухъ читать или на что стыдно смотрѣть, то и не пропускаетъ цензура, думалъ я; а что такое свобода печати? Неужели она тоже несвободна? Все это сильно заняло мою голову, такъ же сильно, какъ когда-то слово: «любовникъ».

Мнѣ хотѣлось кой-о-чемъ допросить Кремнева, хотѣлось, чтобы онъ разсѣялъ во мнѣ кой-какія сомнѣнія; но мнѣ было стыдно его разспрашивать... и я со дня на день отлагалъ мое намѣреніе. Наконецъ, я рѣшился од-

нажды подойти и спросить его:—Александръ Сидоровичъ, неужели наши крестьяне не свободны?

— Да, не свободны, оттого что они рабы...

— Рабы! какъ рабы?

Кремневъ объяснилъ.

— И Логинъ рабъ? спросилъ я не безъ удивленія.

— И Логинъ.

Помню, что когда, послѣ этого небольшого разговора, я увидѣлъ вошедшаго Логина,—я поглядѣлъ на этого приземистаго старика и отца семейства такъ, какъ будто на лбу его хотѣлъ прочесть что-нибудь особенное. Рабъ! Я могу его продать, проиграть въ карты, какъ говорилъ Кремневъ,—и отъ этой мысли что-то горячее прихлынуло къ щекамъ моимъ. До сей поры никогда ничего подобнаго не приходило мнѣ въ голову. Оттого ли, что въ нашемъ домѣ съ этими рабами обращалисьболѣе или менѣе по-человѣчески, или просто оттого, что самое близкое къ намъ, самое очевидное до такой степени пріучаетъ къ извѣстному порядку вещей, что всего менѣе останавливаетъ наше вниманіе, а если и возбуждаетъ вопросы, то далеко не такъ, какъ предметы далекіе, являющіеся нашему воображенію, а потому и кажущіеся намъ особенно любопытными. Не странно ли, что я зналъ уже о томъ, что римляне военно-плѣнныхъ обращали въ рабовъ, и что не было патриція, который не окружалъ бы себя рабами; что это были невольники—люди самые жалкіе и презрѣнные; все это я уже зналъ—и не зналъ, что у меня дома, подъ носомъ, такіе же рабы и рабыни!...

И пониманію такихъ простыхъ и ясныхъ вещей не научили меня ни отецъ Алексѣй, ни Десартъ, ни Глаголевскій, ни учитель математики, никто! Кремневъ первый далъ мнѣ понять всю силу и безнравственность будущихъ правъ моихъ надъ людьми.

И, быть можетъ, на многое бы указалъ мнѣ Кремневъ,

многое бы при его помощи разъяснилось въ головѣ моей, еслибъ не обстоятельства. Увы! я и не подозрѣвалъ, что̀ всѣхъ насъ ожидаетъ. Приступаю къ описанію событій, измѣнившихъ теченіе моей жизни и ставшихъ источникомъ многихъ, многихъ страданій, какъ мнѣ кажется, мною незаслуженныхъ, а потому и ожесточившихъ мое бѣдное, съ дѣтства нѣжное и страстное сердце.

ГЛАВА XXXIII.

За недѣлю до Рождества, мать моя слегла въ постель. Кремневъ не послушался ея и послалъ за ея докторомъ. Иванъ Павловичъ явился. Это былъ ничѣмъ не знаменитый, но тѣмъ не менѣе, какъ говорятъ, врачъ, счастливый на-руку. Родомъ онъ былъ изъ Малороссіи, что̀ и было слышно по особенной интонаціи его голоса. Ѣздилъ онъ въ 11-мъ году за-границу, посланный министерствомъ изучать устройство военныхъ госпиталей. На дорогѣ, въ какомъ-то дилижансѣ, познакомился онъ съ покойнымъ отцомъ моимъ и въ 1816 году, при письмѣ отъ него, явился въ Петербургъ къ моей матери. Мать моя дала ему въ займы 2,000 руб. ассигнаціями, (на переѣздъ въ столицу изъ Полтавы семьи его), и съ тѣхъ поръ Иванъ Павловичъ счелъ своею обязанностію навѣщать насъ, какъ другъ дома, и часто безъ всякаго приглашенія являлся къ намъ въ домъ узнавать, нѣтъ ли больныхъ или заболѣвающихъ. Человѣкъ онъ былъ довольно хитрый, но не своекорыстный, долга своего не платилъ, но отъ платы за визиты отказывался. Ему уже былъ шестой десятокъ, и я живо помню его фигуру и его физіономію: приземистый, большеголовый, съ большими оттопыренными ушами; онъ приходилъ къ намъ постоянно въ свѣтло-синемъ

сюртукѣ съ бронзовыми пуговицами, въ бѣломъ галстукѣ, и съ большой черепаховой табакеркой, отдѣланной въ золото; садился, подогнувъ коротенькія ножки, и сѣрыми, очень суровыми глазами, изъ-подъ широкихъ, на половину какъ бы вытертыхъ и приподнятыхъ бровей, глядѣлъ на всѣхъ съ необыкновеннымъ благодушіемъ — точно папенька, окруженный своими дѣтьми и внуками. Онъ и дѣйствительно былъ папенька безчисленнаго множества дочерей всѣхъ возрастовъ; любимый разговоръ его былъ о дѣтяхъ,—и мать моя постоянно знала все, что дѣлается у него въ семействѣ: какой ребенокъ захворалъ, кто изъ нихъ расквасилъ себѣ носъ, какъ вела себя Дуничка при ея поступленіи въ пансіонъ, и какой бисерный кошелекъ связала ему Зизинька, — все это онъ разсказывалъ съ большими подробностями, точно дѣти его всѣмъ намъ были такъ же близки и дороги, какъ и его родительскому сердцу. Плѣшь Ивана Павловича, круглая, какъ тарелка, со всѣхъ сторонъ, въ видѣ вѣнца, окружена была узенькими прядями волосъ, и онъ эти волосы зачесывалъ съ затылка на лобъ, съ праваго виска налѣво, а съ лѣваго виска направо, и всѣ эти узенькіе и рѣденькіе волоски, точно онъ ихъ приклеивалъ къ своей плѣши, лежали на ней очень гладко и никогда не ерошились.

Больные, особливо чадолюбивыя маменьки, какъ я слышалъ, питали къ нему великое довѣріе: онъ писалъ предлинные-длинные рецепты и былъ великій охотникъ самъ пробовать на языкъ все, что онъ ни прописывалъ; бывало, увидитъ склянку съ лекарствомъ, ототкнетъ ее, потрясетъ, взболтаетъ, понюхаетъ—и на языкъ!... Мать моя почему-то звала его *безвреднымъ* докторомъ (признаюсь, не помню, какъ была его фамилія; помню только, что оканчивалась она на *ко*).

Когда Иванъ Павловичъ ...*ко* подошелъ къ постели моей матери, онъ сталъ пресурово глядѣть на нее и въ

то же время двумя ладонями приглаживать свою голову. Потомъ взялъ ее за пульсъ, сжалъ губы и поглядѣлъ еще суровѣе; потомъ сѣлъ на табуретѣ, поджалъ ножки и превратился въ папеньку.

— Ну, что ты, сосунокъ! обратился онъ ко мнѣ:— что ты теперь, на какомъ глаголѣ остановился?... Ишь какъ вытянулся! Въ гвардію бы его... въ гвардію, сударыня.

— А какъ вы находите больную? — спросилъ Кремневъ.

— Больная нехорошо ведетъ себя... Я на больную сердитъ, очень сердитъ. Приходятъ святки, хотѣлъ пригласить къ себѣ,—у меня старшая дочь невѣста, за аптекаря замужъ выходитъ, — а она въ постели, нехорошо! очень сердитъ; третья дочь моя Зизинька выучилась маршъ играть на фортепьянахъ—и такъ хорошо выучилась, что я бы не повѣрилъ... Пышка еще эдакая, и такъ играетъ!...

— Ну, вылечите меня къ праздникамъ, безвредный докторъ!

— Ну, сударыня, показывайте языкъ; пульсъ у васъ лихорадочный, но... это пройдетъ; погляжу, каковъ языкъ.

Мать моя высунула языкъ. Безвредный докторъ сжалъ свои губы, замолчалъ и, казалось, ожидалъ вдохновенія. Кремневъ смотрѣлъ на него съ безпокойствомъ.

— Все это пройдетъ...—вдохновился докторъ,—и вы непремѣнно, сударыня, споете что-нибудь у меня на праздникахъ. У моей Люлиньки тоже начинаетъ ужъ голосишко показываться, и такой хорошенькій голосишко! Я намедни горлышко ей пощупалъ—должна хорошо пѣть. Ну, а я вамъ микстуру закачу.

И безвредный докторъ подошелъ къ столу, чтобъ начать писать рецептъ свой.

— Да у меня болитъ бокъ,—сказала мать моя.

— Правый или лѣвый?

— Правый.

— Ну, на бокъ горчишникъ; велите позвать горничную и налѣпите. Да возьмите горчицу хорошую; а микстурку сейчасъ я вамъ пропишу. Это простуда... И безвредный докторъ подошелъ къ окнамъ, освидѣтельствовалъ своими ладонями—не дуетъ ли, поправилъ гардины подтянулъ пологъ надъ изголовьемъ постели, такъ что закрылъ имъ голову моей матери, и настрого приказалъ, чтобы не было сквозного вѣтра.

— Откуда тутъ быть сквозному вѣтру? съ неудовольствіемъ сказала мать моя.

Но прежде чѣмъ кончить рецептъ свой, безвредный докторъ подошелъ ко мнѣ, обѣими своими лапами схватилъ меня за щеки и помялъ ихъ съ видимымъ удовольствіемъ, опять назвалъ меня сосункомъ, увѣрилъ всѣхъ, что я расту не по днямъ, а по часамъ, и непремѣнно выросту съ каланчу или съ колокольню. — Ты смотри, братъ,—заключилъ онъ,—не безпокой своей матушки, дверями не хлопай, а коли захочешь войти ручку поцѣловать у ней, входи осторожненько, тихохонько, ибо матушкѣ твоей нужно теперь большое спокойствіе.

— Докторъ,—произнесла мать моя изъ-за полога,—не слыхали ли вы чего-нибудь? Кто еще схваченъ? Вообще, что дѣлается на свѣтѣ?

Лицо доктора изобразило ужасъ и недоумѣніе.—Мы еще съ вами не схвачены,—сказалъ онъ, таращa глаза,—ну, и поблагодарите за это Господа Бога... И что это вздумалось вамъ спрашивать! Я на всѣ подобные распросы гляжу, какъ на нѣкоторое умопомѣшательство, хотя и въ слабой степени, но все-таки умопомѣшательство... И къ чему это ведетъ? Богъ дастъ день, Богъ дастъ и пищу; сыты, одѣты, обуты — ну, и да будетъ

святая воля Его! Власъ же съ главы не пропадетъ безъ воли Его...

— Ну, безвредный докторъ, дописывайте скорѣй рецептъ.

— Я мой рецептъ допишу, но... что значитъ рецептъ, если вамъ будутъ въ голову приходить мысли такія необычныя? Я, сударыня моя, не на одинъ рецептъ, а и на Господа Бога уповаю. Я вамъ скажу,—продолжалъ онъ, уже обратя изумленные глаза свои къ Кремневу и поднявши брови на цѣлый вершокъ отъ нихъ,—я вамъ скажу... такое время, что на помѣшанныхъ въ больницахъ мѣста нѣтъ.

И безвредный докторъ сталъ дописывать длинный, всевозможными крючками, палочками и точками, точно іероглифами, украшенный рецептъ свой.

— А не знаете вы сумасшедшаго Ильина? спросила его мать моя, невидимая за пологомъ.

— Не говорите много... отвѣчалъ докторъ:—я предписываю вамъ совершенное спокойствіе.

— То-есть смерть! еще громче произнесла мать моя.

По лицу Кремнева пробѣжала тѣнь, а я почувствовалъ что-то непріятное, точно тонкая-тонкая игла въ эту минуту прошла по мнѣ; я какъ бы съ испугомъ поглядѣлъ на постель моей матери. Не назову это предчувствіемъ, — нѣтъ, вѣроятно слово «смерть», какъ самое неожиданное въ эту минуту, поразило насъ.

— Что за жизнь, коли нѣтъ спокойствія,—началъ было докторъ: — но... вотъ вамъ микстура, — а что касается до этого Ильина, то я удивляюсь, откуда вы его знаете... я только что отъ него пріѣхалъ. Онъ, сударыня вы моя, раненъ, но раненъ очень деликатно: одна картечка задѣла его по рукѣ, другая слегка поконтузила ногу... Сумасшедшему простительно лѣзть, куда не слѣдуетъ. Какъ это только умные-то люди туда полѣзли—

не постигаю! Это для меня, судари вы мои, удивительно! Это, я вамъ скажу, такъ удивительно, что даже непостижимо! Кто же этого не знаетъ, что такое пушка? развѣ она разсуждаетъ? Пафъ-пафъ!—и конецъ, и черни этой какъ не бывало, — кто этого не знаетъ? Ильинъ этотъ непремѣнно бы, не къ ночи будь сказано, попалъ въ крѣпость, кабы не нашлись люди, а въ томъ числѣ и оберъ-полиціймейстеръ, достовѣрно убѣдившіе правительство, что онъ помѣшанный.

— А гдѣ онъ живетъ? спросилъ Кремневъ безвреднаго доктора.

— Спасибо,—проговорила мать моя,—я сама только что хотѣла спросить... Les beaux esprits se rencontrent.

Докторъ сказалъ Кремневу адресъ Ильина. Александръ Сидоровичъ пошелъ къ окну и вынулъ записную книжку. Пока онъ записывалъ, докторъ опять подошелъ къ моей матери и сказалъ ей: — объ одномъ позволяю вамъ думать—о благополучномъ посѣщеніи семьи моей. Всѣ мы, сударыня моя, будемъ вамъ рады. О болѣзни вашей не думайте: я вооружусь и побѣдоносно прогоню ее. Спокойнаго вамъ дня и спокойной ночи; завтра заѣду... Затѣмъ онъ уѣхалъ, къ немалому удовольствію моей матери. Она его охотно выносила, потому что привыкла къ нему, но, какъ мнѣ кажется, вовсе не питала къ нему ни особенной привязанности, ни особеннаго довѣрія.

Судя по лицу и поведенію безвреднаго доктора, мать моя была внѣ всякой опасности. Прошло еще нѣсколько дней, а ей, если и не было хуже, то по-крайней-мѣрѣ и лучше не было. Кремневъ навѣщалъ ее ежедневно и утромъ, и вечеромъ, читалъ ей, подавалъ лекарство, и когда она капризничала (мать моя, когда была больна, была капризна)—унималъ ее полушутливымъ, полусерьознымъ голосомъ. Вообще, болѣзнь матери моей никого не

пугала; я гулялъ, катался и даже дѣлалъ визиты—у меня же много было празднаго времени, и я, ради разсѣянія, сталъ пользоваться всякимъ случаемъ, чтобъ куда-нибудь уйти или уѣхать съ Александромъ Сидоровичемъ. Онъ почему-то баловалъ меня, а кого же мы и любимъ въ эти года, какъ не тѣхъ, кто болѣе или менѣе балуетъ насъ.

Фрейманъ былъ радъ оставаться дома; декабрьскія событія совершенно поглотили умъ его; на Россію сталъ смотрѣть онъ совсѣмъ иными глазами, съ какимъ-то страхомъ и трепетомъ, и безпрестанно писалъ письма въ Германію. Сколько, быть можетъ, нѣмецкихъ, газетныхъ столбцовъ въ этотъ годъ наполнялось за границей свѣдѣніями о Россіи, заимствованными изъ-подъ пера моего достопочтеннаго гувернера и наставника! Онъ былъ убѣжденъ, что безъ поэта Шиллера и безъ многаго множества разныхъ либеральныхъ нѣмецкихъ писателей и вдохновителей того времени — въ Россіи не было бы 14 декабря, а потому, какъ нѣмецъ, считалъ дѣло это чуть ли не выраженіемъ германскаго духа, еще дремлющаго, какъ говорилъ онъ, и только на-половину пробужденнаго Наполеономъ Бонапарте. Можете себѣ вообразить, какъ расписывалъ онъ это событіе, будучи швабскимъ патріотомъ, идеалистомъ и романтикомъ! Онъ и на Кремнева сталъ смотрѣть, какъ на человѣка отсталаго и ретрограднаго, когда услыхалъ отъ него сожалѣніе о даромъ погибшихъ и потраченныхъ силахъ, и когда Кремневъ сказалъ ему: «я вовсе этому не радуюсь, 14 декабря можетъ надолго остановить развитіе Россіи».—«О! можетъ ли это быть,—отвѣчалъ мой нѣмецъ:—о! вы дальше насъ пойдете, я даже начинаю бояться за бѣдную Пруссію: какую жалкую роль она играть будетъ, если у васъ свобода будетъ, а у насъ не будетъ»... Такъ мечталъ мой наивный Фрейманъ и такъ онъ трусилъ,

чтобъ Россія, въ гражданской жизни своей, посредствомъ реформъ, не опередила дорогой ему Германіи.

За Алешей приходилъ Костя; давая мнѣ послѣдній передъ праздниками урокъ, онъ разсказывалъ, какъ Порской ругаетъ его за то, что онъ пистолетъ, такъ неожиданно полученный имъ на площади, не ему отдалъ, а потихоньку бросилъ. — Помилуйте-съ,—говорилъ Костя,—какъ я могъ ему отдать пистолетъ? Онъ бы непремѣнно выстрѣлилъ, потому что это безпардонная башка-съ—ему все равно!..—Потомъ разсказывалъ, какъ возмутившіеся солдаты, перебравшись черезъ ледъ по Невѣ, хотѣли изъ академіи художествъ сдѣлать для себя нѣчто въ родѣ крѣпости, но не могли, потому что академическое начальство со всѣхъ сторонъ заперло ворота и не пустило ихъ;—разсказывалъ, какъ съ моста палили пушки и ядрами пробивали ледъ, чтобы не допустить мятежниковъ по льду перебраться на Васильевскій островъ, и проч., и проч. Не знаю, на сколько были справедливы слова его: въ это время слуховъ и разсказовъ было такое множество, что если бы всѣ они были записаны, то, конечно, двѣ четверти изъ нихъ оказались бы совершенно ложными и одна четверть—до такой степени отличалась бы неправдоподобіемъ, что сразу изобличила бы разстроенное воображеніе разсказчиковъ; но толпа была особенно расположена къ тому, чтобъ вѣрить именно самому неправдоподобному.

Куда пригласили Алешу на всѣ праздники, и почему Костя нашелъ нужнымъ его увести отъ насъ—не помню; мы разстались безъ особеннаго горя, только я сталъ скучать въ его отсутствіи. Въ спальню къ матери я безпрестанно не смѣлъ входить, не зная, спитъ она или нѣтъ, а въ заднихъ комнатахъ не съ кѣмъ было ни спорить, ни шалить, ни ссориться. Во всемъ домѣ стало какъ-то пусто, сонно и пасмурно. Даже ясное лицо Крем-

нева стало омрачаться. Разъ я обѣдалъ — это было въ сочельникъ наканунѣ Рождества; Кремневъ вышелъ изъ комнаты моей матери, подошелъ къ столу, налилъ себѣ стаканъ квасу и выпилъ залпомъ.—Матери твоей немного лучше,—сказалъ онъ, — но прошедшую ночь она сильно страдала; если это повторится—надо будетъ созвать консиліумъ, а нынче вечеромъ она проситъ меня, чтобъ я навѣстилъ раненаго Ильина и узналъ, не нужно ли ему чего-нибудь. Говоритъ, что, судя по его костюму, онъ человѣкъ очень бѣдный и, вѣроятно, нуждается... Хочешь ѣхать со мной?

— Къ сумасшедшему-то?

— Ну, да...

— А если онъ...

— Что, ты трусишь?

— Нѣтъ, не трушу; поѣдемте, я съ вами нигдѣ не трушу, съ вами хоть на крѣпостную стѣну полѣзу, куда хотите.

— Охъ ты мой храбрецъ, храбрецъ! съ нѣжностью произнесъ Кремневъ, потрепавъ меня по щекѣ, и черезъ Аксюту приказалъ нашему кучеру заложить сани къ шести часамъ вечера.

ГЛАВА XXXIV.

Черезъ четверть часа мы сѣли въ сани и поѣхали. Былъ тихій, морозный, звѣздный вечеръ (въ столицахъ ночь начинается не раньше полуночи). Въ одномъ изъ большихъ домовъ, фасадомъ выходящихъ на Неву, я замѣтилъ сквозь одно изъ его зеркальныхъ оконъ пирамиду зажженныхъ свѣчъ и ярко освѣщенный потолокъ. Кремневъ сказалъ мнѣ, что это «ёлка». Рождественская

елка тогда еще не была въ повсемѣстномъ употребленіи; она начала входить у насъ въ моду не раньше 40-выхъ годовъ и началась съ высшаго аристократическаго круга. Домъ этотъ, который такъ привлекъ мое дѣтское любопытство, не принадлежалъ ли тогда какой-нибудь придворной дамѣ нѣмецкаго происхожденія? — по крайней мѣрѣ, у его подъѣзда, за экипажами, я замѣтилъ придворныхъ лакеевъ. Морозъ слегка пощипывалъ носъ мой; елка фантастически рисовалась въ моемъ воображеніи; на Петропавловской колокольнѣ пѣли куранты: четко, въ неподвижномъ, какъ бы застывшемъ воздухѣ, отливались серебряные заунывные звуки. Кремневъ взглянулъ на крѣпость, перекрестился и велѣлъ кучеру поворотить къ Конюшенному мосту. Тамъ, близъ канавы, остановились мы у воротъ какого-то дома, вышли изъ саней и вызвали дворника. Дворникъ сталъ увѣрять насъ, что никакого Ильина у нихъ не стоитъ и что нѣтъ такого: нѣтъ и нѣтъ; онъ всѣхъ знаетъ, а такого нѣтъ; но когда Кремневъ сказалъ, что онъ сумасшедшій, дворникъ оскалилъ зубы и спросилъ насъ въ свою очередь:— а нешто онъ Ильинъ прозывается?

— Ильинъ.

— Ну, такъ съ парадной во 2-мъ этажѣ, дверь направо.

— Ой-ли! такъ ли ты говоришь, братецъ?

— Вѣрно говорю, тамъ.

— Можетъ быть, это другой какой-нибудь сумасшедшій?

— Никакого другого нѣтъ—онъ и есть самый, чернявый эдакій... въ картузѣ... другихъ тутъ нѣтъ и не слыхать... Вѣрно вамъ говорю, идите на парадную.

Мы взошли на парадную и позвонили въ бель-этажѣ направо. Отворилась дверь въ довольно просторную прихожую комнату, освѣщенную стѣннымъ фонаремъ, съ гра-

ненымъ зеркальцемъ. Два лакея въ ливрейныхъ фракахъ, одинъ высокій, другой низенькій, повернули къ намъ свои рябыя, выбритыя физіономіи.

— Вамъ кого-съ? спросилъ насъ низенькій, тогда-какъ высокій, въ полуоборотъ и какъ бы готовясь идти въ залъ, молча и нагло-вопросительно глядѣлъ на насъ.

— Здѣсь живетъ Ильинъ, молодой человѣкъ, тотъ самый, который раненъ?

Низенькій лакей поглядѣлъ на высокаго.—Здѣсь,—отвѣтилъ высокій,—только барыни дома нѣтъ.

— Да мы къ нему, а не къ барынѣ.

— Безъ барыни нельзя.

— Да кто такая твоя барыня?

— Моя барыня кто такая? Баронесса Бафель.

— Какъ?

— Бафель... Бафель баронесса.

— А больной Ильинъ—что онъ, квартиру, что ли, у ней нанимаетъ, или такъ живетъ?

— Онъ квартиры не нанимаетъ, внушительно отвѣчалъ высокій лакей,—а вы приходите въ другое время.

— Сними съ меня шинель,—сказалъ Кремневъ, покраснѣвши,—и доложи господину Ильину, что полковникъ Кремневъ желаетъ его видѣть.

— Нельзя... безъ позволенія нельзя докладывать.

— Я тебѣ нетолько позволяю—приказываю:—ступай и принеси мнѣ отвѣтъ его. А если барыня твоя держитъ его взаперти—ну, тогда другое дѣло,—тогда отсюда я поѣду къ оберъ-полиціймейстеру... Человѣкъ, нуждающійся въ сочувствіи и въ помощи, не долженъ быть взаперти, какъ дикій звѣрь. Ступай!

— Да помилуйте, сударь,—началъ высокій тономъ ниже:—вѣдь вы, чай, изволите знать—они не въ своемъ умѣ и, такъ сказать, въ меланхоліи...

— Если его одного пускаютъ бродить по улицамъ,

значитъ, онъ не дерется и не кусается; а если не дерется, значитъ, незачѣмъ его и подъ стражей держать, особливо въ такое время, когда онъ боленъ. Я знаю, что раненъ онъ неопасно и страдаетъ безсонницей, и не выйду отсюда, пока его не увижу.

Не думаю, чтобы Кремневъ былъ въ правѣ добиваться въ незнакомомъ ему домѣ свиданія съ личностью, ему извѣстной только по слухамъ, и не понимаю, что было причиной его настойчивости — желаніе ли занять больную мать мою разсказомъ о человѣкѣ, который заинтересовалъ ее, или просто потому, что погорячился, вообразивши, что если взрослый дворянинъ самъ не отказывается принять его, то никакіе лакеи не могутъ его не допустить къ нему. Едва ли это справедливо и законно въ данномъ случаѣ: иногда, не только докторъ больного, но и его экономка, даже сидѣлка, можетъ ради его спокойствія распорядиться и не допускать къ нему постороннихъ.

Кремневъ, сбросивъ шинель, вынулъ изъ кармана табакерку, отогнулъ крышку и не спѣша поднесъ ее къ своему носу. Самоувѣренная, совершенно барская физіономія моего Кремнева, а главное—его богатырское сложеніе и щеки, покраснѣвшія не то отъ мороза, не то отъ досады, какъ видно, не остались безъ нѣкотораго вліянія на высокаго: онъ поглядѣлъ на низенькаго, низенькій кашлянулъ въ руку и сказалъ: — какъ угодно-съ!

— Ну, такъ ступай, братецъ... началъ было Кремневъ, щуря глаза, какъ вдругъ звякнулъ звонокъ, и оба лакея бросились къ двери.

Въ лакейскую вошла барыня, въ сопровожденіи другихъ двухъ лакеевъ, въ теплыхъ траурныхъ ливреяхъ, въ полукруглыхъ лакейскихъ шляпахъ, холодныхъ, даже заиндевѣлыхъ. Барыня быстро прошла между нами, остановилась и молча протянула впередъ одну ногу. Низень-

кій лакей бросился на полъ и сталъ стаскивать съ нея теплые сапожки. Барыня сперва оперлась на его спину, потомъ перекачнулась, подняла другую ногу и уже другой рукой оперлась на его затылокъ. Въ это время высокій лакей снималъ съ нея крытый атласомъ лисій салопъ, а она исподлобья, или, лучше сказать, изъ-подъ черной бархатной шляпки съ высокой тульей, поглядывала то на меня, то на Кремнева. Мы конечно догадались, что это сама баронесса. — Кого имъ нужно? спросила она своихъ лакеевъ.

— Мы уже имъ говорили-съ .. желаютъ видѣть братца вашего,—заявилъ высокій лакей.

Баронесса поморщилась. — Какого братца? Илью Тимофеича? Что-жъ ты имъ сказалъ?

— Я имъ говорилъ-съ! отвѣчалъ высокій, стоя навытяжку.

— Извините, сударыня,—заговорилъ Кремневъ, укладывая въ карманъ свою табакерку:—мы никогда бы не подумали обезпокоить васъ, но одна особа прислала насъ навѣстить вашего брата, поговорить съ нимъ и дать знать, въ какомъ онъ положеніи.

— Онъ лежитъ, потому что не очень здоровъ,—сухо отвѣчала барыня.

— Я это знаю, сударыня; онъ нечаянно раненъ; это-то и заставляетъ думать нѣкоторыхъ, что новое, неожиданное потрясеніе воротитъ ему его разсудокъ.

— А! такъ вотъ зачѣмъ!... Кто же эта особа, которая такъ интересуется нашимъ больнымъ? Желала бы я знать...

— Позвольте, сударыня, умолчать,—отвѣчалъ Кремневъ съ плутовской улыбкой:—когда-нибудь послѣ я сообщу вамъ кой-что, а теперь, будьте такъ любезны, прикажите проводить меня къ больному... Мы будемъ вамъ очень благодарны.

*

Барыня на минуту задумалась. Лицо ея напомнило мнѣ черты ея сумасшедшаго брата — такіе же черные глаза, такой же подбородокъ, даже щеки такія же блѣдныя. Только носъ у этой барыни былъ длиннѣе, и если у брата профиль былъ греческій—у нея былъ армянскій.

— Свѣчей! сказала она и вышла въ залу, не отвѣчая намъ.

— Поѣдемте домой,—шепнулъ я Кремневу.

— Нѣтъ, подождемъ, на успѣхъ есть надежда,—отвѣчалъ онъ мнѣ по-нѣмецки.

Пришелъ высокій, зажегъ на фонарѣ восковой фитиль и сказалъ намъ, какъ бы полушепотомъ: — подождите въ залѣ.

Мы вошли въ залу и стали ждать. Зала, освѣщенная стѣнной лампой, была длинна, узка, оканчивалась четырьмя колонками и дверью съ занавѣсками, откинутыми на обѣ стороны; вдоль стѣны, что̀ противъ оконъ, висѣли портреты; на закрытомъ ломберномъ столѣ лежали обточенные мѣлки и коробочки съ бостонными марками. Я не смѣлъ не только ни до чего дотронуться, не смѣлъ подойти поближе къ портретамъ и разсмотрѣть ихъ. Кремневу также, судя по лицу его, было не совсѣмъ-то пріятно.

Когда въ гостиной (за драпри) появились свѣчи и послышался шорохъ платья, насъ пригласили въ гостиную. Полагаю, что—не скажи Кремневъ, что онъ посланъ какою-то особой, и не будь у него на казакинѣ нашито разныхъ орденскихъ ленточекъ, — баронесса просто-напросто велѣла бы насъ прогнать: это, я думаю, понялъ самъ Кремневъ.

— Еще разъ извините, сударыня, что васъ обезпокоили. Честь имѣю рекомендоваться—Кремневъ, отставной полковникъ гвардіи,—а это... я по-дорогѣ взялъ его

прокатиться, сынокъ одной моей знакомой, ея превосходительства, г-жи Чалыгиной.

— Не знаю, кто такая;—садитесь.

Мы сѣли. Поза ея выражала усталость; она сидѣла въ креслахъ, закинувъ назадъ голову и опустивши руку, украшенную бриллiантовыми перстнями; перстни эти такъ и сверкали на черномъ фонѣ ея платьъ; она была вся въ черномъ (вѣроятно, носила трауръ по покойномъ Императорѣ).

— Вы, вѣроятно, отъ всенощной изволили заѣхать? начала она.

— Нѣтъ, я не успѣлъ быть у всенощной.

— Кто же эта особа, которая васъ *могла* прислать?

Кремневъ былъ бы въ великомъ затрудненiи, что̀ ей отвѣчать на это, потому что на это отвѣчать ему не хотѣлось; но баронесса, помолчавъ, сама его выручила, добавивъ съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ насмѣшки въ голосѣ: — вѣдь не графъ же прислалъ васъ, надѣюсь?

— Какой графъ? — спросилъ Кремневъ.

— Аракчеевъ?

— А почему вы,—позвольте васъ спросить,—почему вы это подумали?

— Да потому, что у васъ не маленькiй чинъ, — кто-жъ васъ можетъ посылать! Къ тому же графъ лично знаетъ моего мужа и всегда принималъ въ насъ живѣйшее участiе.

— Я также хорошо знаю графа... и онъ меня знаетъ очень хорошо, даже разъ велѣлъ меня подъ арестъ посадить за то, что я съ нимъ поспорилъ... Я бы, сударыня, ни за что бы съ нимъ не спорилъ, если бы онъ меня самъ не вызвалъ. Ему донесли, что я заочно осмѣлился осуждать одно изъ его распоряженiй, онъ и приказалъ быть мнѣ 21 марта въ селѣ Грузинѣ. Я хоть и былъ въ отставкѣ, но поѣхалъ, потому что какъ же я

могъ знать, зачѣмъ меня требуютъ? Ну, и попался же въ лапы...

— И хорошо попались?... подхватила баронесса съ нѣкоторой игривостью, какъ бы довольная, что такой дюжій мужчина, въ плечахъ чуть не косая сажень, руки такія, что при одномъ взглядѣ на сжатый кулакъ придешь въ трепетъ и недоумѣніе, — и попался...

— Да ужъ такъ попался, что до сихъ поръ просидѣлъ бы взаперти, кабы одинъ пріятель не выручилъ... Впрочемъ, до-сихъ-поръ ни въ какомъ бы случаѣ просидѣть не могъ, ибо, я полагаю, сударыня, вы это изволили слышать: почтенный нашъ графъ Аракчеевъ не въ милости.

Баронесса приподняла голову и не безъ изумленія поглядѣла въ глаза Кремневу. — Не въ милости! Этого быть не можетъ,—заключила она спокойно и холодно.

— Однако же это болѣе, чѣмъ вѣроятно, это несомнѣнно: Аракчеевъ не въ милости.

— Вы это не шутя говорите?...—У баронессы побѣлѣли губы, и, судя по выраженію глазъ ея, можно было подумать, что она немедленно закричитъ на насъ.

— Нѣтъ, эту радостную новость я вамъ не шутя сообщаю,—сказалъ Кремневъ.

— Не въ милости! Такой великій, геніальный государственный человѣкъ—не въ милости!... Это... это быть не можетъ! Послѣ послѣднихъ событій, кому же и въ милости быть, какъ не графу Аракчееву? Это нелѣпый, глупый слухъ... Говорите, что вы еще слышали?

— Я только слышалъ, что ему не дозволено являться ко двору впредь до разрѣшенія, и что онъ бросаетъ свое служебное поприще.

— Да какъ же это? Отъ кого же вы это слышали?

— Да всѣ говорятъ... Карамзины, Куракины, Перовскіе... это не тайна.

— Я была у всенощной и ничего не слыхала; наконецъ, вчера была у княгини Г., и также объ этомъ не было помина... Значитъ, это только предположеніе... это слухъ, распускаемый недовольными.

— Это не слухъ, сударыня,—это, смѣю увѣрить васъ, голая правда,—и повѣрьте, всѣ этому рады, потому что не будь у насъ этого великаго человѣка, и не создай онъ цѣлую массу такихъ же какъ онъ маленькихъ Аракчеевыхъ, то-есть такихъ же деспотовъ, для которыхъ, кромѣ ихъ личнаго произвола, не существуетъ никакихъ законовъ, ни божескихъ, ни человѣческихъ,—не было бы и тѣхъ происшествій, о которыхъ вы упомянули, и о которыхъ всѣ воспоминаютъ не иначе, какъ съ великимъ сокрушеніемъ. На такихъ людей, какъ Аракчеевъ, слѣдуетъ смотрѣть, какъ на самыхъ сильныхъ возбудителей къ разнаго рода мятежамъ и безпорядкамъ. Уже три бунта потревожили Россійское государство съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ у его кормила, — и продолжай онъ господствовать—военныя поселенія, не нынче—завтра, поднялись бы, да еще какъ поднялись-то бы, сударыня вы моя! — вовсеоружіи! — и увлекли бы за собой все, что пахнетъ казачествомъ,—а я вамъ доложу, что весь югъ Россіи пахнетъ казачествомъ. Нѣтъ, не дай намъ Богъ такихъ государственныхъ людей!

— А! сказала баронесса, съ живостью обрадованнаго гнѣва,—теперь я васъ понимаю, но предупреждаю васъ, что слова ваши будутъ переданы, кому нужно, и вы раскаетесь. Все, что вы сейчасъ говорили, можетъ быть перетолковано въ очень, даже въ очень невыгодную для васъ сторону.

— Я этого не боюсь,—отвѣчалъ Кремневъ,—во-первыхъ, потому, что вы доносить на меня не будете, а, кромѣ васъ, доносить на меня некому, а во-вторыхъ потому, что не я одинъ такъ думаю: нынѣ благополучно

вступившій на престолъ Государь Императоръ точно такого же мнѣнія о графѣ. Если бы онъ не раздѣлялъ въ семъ случаѣ мнѣнія людей благомыслящихъ, то, разумѣется, и не удалилъ бы отъ своей персоны сего честолюбца.

— Если это правда, то это неблагодарность! выговорила она, какъ бы вспыхнувъ, и при этомъ кулачекъ ея стукнулъ въ поверхность стола, возлѣ котораго она сидѣла.

— Вотъ эти ваши слова могутъ быть перетолкованы въ дурную сторону; конечно, я передавать ихъ кому-либо не стану, но изъ вашихъ словъ, сударыня, заключаю, что въ домѣ у васъ небезопасно, и если у васъ въ домѣ есть шпіоны, то бойтесь.

Этотъ мѣткій и неожиданный отпоръ моего стараго друга страшно осадилъ эту барыню. Она сама какъ-будто чего-то струсила, спрятала свой кулачекъ, и, поспѣшивъ замять разговоръ объ Аракчеевѣ, незамѣтно перевела его на брата. — Мужу моему особенно будетъ жаль... но, довольно объ этомъ... объ этомъ нечего говорить, мало ли бываетъ на свѣтѣ чудесъ... Вотъ хоть бы братъ мой: спрашивается, что ему было нужно на Сенатской площади? Вы думаете, раны его не надѣлали мнѣ хлопотъ! Вы думаете, что, не будь онъ сумасшедшій, пріятно мнѣ было бы видѣть, что мой родной бросаетъ своимъ поведеніемъ такое черное пятно на всю семью мою?! Я удивляюсь даже, какъ смѣютъ еще навѣщать его и разспрашивать?! Какъ смѣютъ!...

— Если навѣщаютъ вашего брата, какъ несчастнаго молодого человѣка, и навѣщаютъ, слѣдуя словамъ Спасителя: «Возлюби ближняго твоего», — то слѣдуетъ ли, въ христіанскомъ государствѣ, мѣшать проявленію такого христіанскаго чувства.

— А какая польза отъ этого чувства? Что онъ—голоденъ, или дровъ у него нѣтъ, что ли? Кажется, судя

по моей обстановкѣ, вы можете заключить, что я не нищая...

— У него *здѣсь* голодъ, здѣсь дровъ не достаетъ,— сказалъ Кремневъ, постучавши себѣ въ голову пальцемъ.—Вотъ о чемъ надо позаботиться...

— Какъ? вы надѣетесь, что онъ образумится?.. Не надѣйтесь... Еще слава Богу, что я спасла часть отцовскаго достоянія, которое онъ не успѣлъ разбросать... и чего это мнѣ стоило! Вы еще не знаете исторіи моего любезнаго братца. Онъ отъ самолюбія разорился, и отъ того же самолюбія съ ума сошелъ. Когда былъ за-границей, познакомился съ негодяемъ Байрономъ и вздумалъ подражать ему... На Женевскомъ озерѣ сочинилъ такую вакханалію, такихъ надѣлалъ скабрезныхъ исторій, что швейцарцы немедленно приказали ему выѣхать, безъ всякаго христіанскаго сожалѣнія. Ему хотѣлось быть первымъ волокитой, первымъ въ свѣтѣ наѣздникомъ и дуэлистомъ, даже—смѣшно сказать!—первымъ въ Россіи писателемъ; онъ и теперь убѣжденъ, что Карамзинъ и Жуковскій передъ нимъ мухи, нестоющія вниманія. Отъ такой амбиціи, у кого хотите, голова кругомъ пойдетъ, — тутъ я не виновата... Наконецъ, до какого безумія дошелъ — хотѣлъ всѣхъ моихъ людей на волю отпустить! сталъ раздавать свои послѣднія деньги,—мало этого — сталъ банковые билеты рвать! Что вы послѣ этого прикажете? Прикажете съ христіанскимъ братолюбіемъ обращаться съ нимъ?..—И при этомъ на Кремнева она поглядѣла съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ, даже на щекахъ ея стали являться красныя пятна. Какъ видно, барыня эта была — ухъ, какого горячаго темперамента! Иногда, по блеску глазъ ея, казалось, что и она недалека отъ сумасшествія,—много чего-то нервнаго было въ этомъ блескѣ.

— Ну,—продолжала она,—попробуйте дать ему денегъ,

попробуйте! Вы думаете, что онъ купитъ себѣ платье или калоши новыя себѣ сдѣлаетъ? Какъ не такъ! Онъ или броситъ ихъ въ канаву, и потомъ цѣлые два часа будетъ въ воду глядѣть, или отдастъ ихъ первой потаскушкѣ... Много крови онъ у меня испортилъ... И знаете еще что... какая у него idée fixe? Ему воображается, что я намѣрена отравить его... что я питаю противъ него какіе-то страшные замыслы... Мало этого, онъ во всемъ подозрѣваетъ отраву: попробуйте, принесите ему калачъ или пряникъ, вотъ вы увидите, станетъ ли онъ ихъ ѣсть...

— Мнѣ очень интересно знать, какъ онъ отнесется къ моему посѣщенію.

— А! вы еще не отложили вашего намѣренія?

— Будь я молодой человѣкъ, сударыня, я бы все здѣсь сидѣлъ... все бы глядѣлъ на васъ и слушалъ бы; но... лѣта у меня такія, непростительныя лѣта, что за вѣтренность никто не извинитъ... Далъ слово непремѣнно побывать у вашего брата, — и такой у меня досадный характеръ—не могу не сдержать своего слова...

— Да кто вамъ мѣшаетъ! Взаперти, что ли, я держу его, или боюсь кого?.. Человѣкъ! Федька! Проводить вотъ этихъ господъ къ Ильѣ Тимофеевичу. Прощайте, желаю вамъ успѣха.

— А вамъ, сударыня, позвольте пожелать и богатства, и душевнаго спокойствія, и честныхъ сыновей, и красивыхъ дочекъ. Вотъ у меня и женихъ для одной изъ нихъ—видите, какой молодецъ! всего только тринадцать лѣтъ, а уже глядитъ пятнадцатилѣтнимъ юношей. Позвольте поцѣловать вашу ручку.

Баронесса, какъ озадаченная, дала ему поцѣловать свою ручку.

— Сережа, будь вѣжливый кавалеръ, простись какъ

слѣдуетъ; добрѣйшая баронесса, вѣроятно, когда-нибудь еще позволитъ намъ навѣстить ее.

Я также шаркнулъ ногой и поцѣловалъ ея руку. Наклоняясь къ этой рукѣ, я успѣлъ-таки внимательно разглядѣть ея дорогія кольца. Помню, какъ одинъ зрачекъ мой уперся прямо въ бриллiантовый лучъ. Ужъ не оттого ли, когда я поднялъ голову и поглядѣлъ ей въ лицо, она обратила вниманіе на глаза мои.— У этого мальчика очень блестящіе глаза,—сказала она, какъ бы мимоходомъ, и, не вставая съ мѣста, проводила насъ легкимъ наклоненіемъ головы.

Но за комплиментъ глазамъ моимъ, я не могъ не почувствовать тайной благодарности. Выходя изъ комнаты, вслѣдъ за высокимъ Федькой, я быстро обернулся, чтобъ хоть разъ еще поглядѣть на эту чернобровую барыню. Она уже сидѣла облокотясь и, сморщивъ лобъ, какъ бы въ волненіи, барабанила пальцами по гладкой поверхности стола.

ГЛАВА XXXV.

Мы прошли черезъ залъ обратно въ переднюю, что немного даже удивило насъ.—Пожалуйте-съ,—говорилъ Федька, высокій лакей, по правдѣ сказать, съ весьма джентльменской наружностью.

Изъ передней отворилась дверка въ какую-то темную комнатку, въ которой пахло лакейскими носками, ваксой и клоповникомъ. Изъ этой проходной комнаты, по витой лѣсенкѣ, взошли мы наверхъ и очутились въ другой темной, низенькой комнаткѣ съ перегородкой, недоходящей до потолка. Свѣтъ изъ-за этой перегородки проводилъ по этому потолку прямую линію отъ стѣны до стѣны и чертилъ такую же линейку сверху внизъ, тамъ, гдѣ вид-

нѣлась неплотно притворенная дверка.—Пожалуйте-съ,—повторилъ Федька,—наклонитесь немножко... Не ушибитесь!—И, вслѣдъ за нимъ, мы вошли въ довольно просторную, совершенно квадратную, но низенькую комнату. Кремневъ едва могъ помѣщаться въ ней: будь она на два вершка ниже, онъ бы въ потолокъ уперся своею лысиной.

Когда мы вошли, на насъ дунулъ холодный вѣтеръ изъ отворенной форточки; Федька сейчасъ же затворилъ ее. На кровати, поставленной вдоль перегородки, лежалъ больной, точно мертвецъ, озаренный свѣчей съ мѣднымъ колпачкомъ, который долженъ былъ потушить ее въ ту минуту, когда свѣтильня догоритъ до извѣстнаго мѣста. Глаза больного были закрыты, и рѣсницы ихъ широкими полукружіями рѣзко оттѣняли истощенное, блѣдное, какъ бы безкровное лицо его.

— Онъ не спитъ? спросилъ Кремневъ нашего провожатаго.

— А Богъ ихъ знаетъ, спятъ они или нѣтъ,—отвѣчалъ высокій Федька и уже протянулъ-было руку, чтобы разбудить его.

— Оставь его, не буди, если спитъ,—шепотомъ сказалъ Кремневъ и остановилъ лакея за руку.

Ильинъ поднялъ рѣсницы.

— Васъ, сударь, навѣстить пришли, — сказалъ ему Федька на-ухо, но такъ громко, что тотъ вздрогнулъ.

— Кто? — спросилъ больной.

— Какъ вы себя чувствуете?—спросилъ Кремневъ.

— Слава Богу, покорно благодарю.

— Мы слышали отъ доктора, что раны ваши неопасны, и что вы, вѣроятно, скоро совершенно выздоровѣете.

— Что раны! это вздоръ. Фи! такія ли бываютъ раны... Жажда, вотъ что...

— Поди и принеси сюда стаканъ лимонаду!—сказалъ Кремневъ лакею.

— Безъ доктора, сударь, ничего ему давать не приказано.

— Я самъ докторъ, хочешь, я тебѣ покажу свои раны — у меня ихъ на тѣлѣ до семи штукъ и все больше штыками,—такъ тебѣ ли меня учить, любезный, что можно пить, чего нельзя? Поди и принеси, братецъ, лимонаду, или просто воды и лимоновъ!

— Воды и лимонъ!—повторилъ больной слабымъ голосомъ.

Я какъ сѣлъ на стулъ противъ него, какъ уставилъ на него глаза свои, такъ и не сводилъ ихъ, какъ будто онъ совершенно приковалъ ихъ къ своей мертвенной физіономіи. Едва вышелъ высокій Федька, какъ больной приподнялъ голову и сталъ прислушиваться.—Ушелъ?—спросилъ онъ таинственно.

— Ушелъ.

— А я васъ знаю... этого мальчика я также знаю... Какъ это вы зашли ко мнѣ?

— А одна особа приказала вамъ кланяться, узнать о вашемъ здоровьѣ, и главное—приказываетъ вамъ беречь себя и не предаваться никакимъ мрачнымъ мыслямъ.

— Знаю, кто эта особа... Скажите ей, что больное, разбитое сердце мое въ ея рукахъ... скажите ей, что у темнаго, погибшаго ума моего одна надежда, одинъ тепленькій, свѣтлый лучъ — это она... Пусть Юлія бранитъ меня, пусть! Она все-таки мой добрый духъ. Ея брань для меня слаще всякой музыки... Ахъ, зачѣмъ не раньше я... несчастный! — зачѣмъ я не раньше ее встрѣтилъ!... Вѣдь вы знаете, что я сумасшедшій... Вы не вѣрите? Я самъ этому не вѣрилъ... но я теперь все это очень хорошо помню... Сестра хотѣла меня въ сумасшедшій домъ отправить, но въ тотъ же день я далъ тягу... а пока я

бѣгалъ — вакантное-то мѣсто мое и заняли... Ау! вотъ оно что...

— Старайтесь вы, батюшка вы мой, все припомнить, и разсудокъ вашъ просвѣтлѣетъ. Только надѣйтесь и будьте спокойны... Довольны ли вы вашимъ докторомъ?

— Докторомъ? Это мѣшокъ съ требухой. Я, когда онъ идетъ, слышу, какъ у него въ животѣ бурчитъ; но... ничего... сестры моей труситъ, надо сказать, очень труситъ... ну, да вѣдь и я... Пожалуйста, дайте мнѣ пить... жажда!

— У васъ маленькій жаръ, должно быть, а лобъ холодный.

— Скажите Юліи,—началъ больной уже по-французски послѣ продолжительнаго молчанія,—что у меня были жандармы и взяли всѣ мои бумаги, и въ томъ числѣ взяли одно произведеніе, mon chef d'œuvre... я его десять лѣтъ писалъ... десять лѣтъ... десять лѣтъ я писалъ его! Тамъ все: земля и небо, адъ и рай... Это было бы колосальное произведеніе... И тамъ есть одно мѣсто, одно пророческое мѣсто: Англія съ Россіею встрѣчаются на востокѣ, и отъ этой встрѣчи колеблется Европа, и колеблется Азія... Это мѣсто я послалъ въ переводѣ къ Ламартину... терпѣть не могу его «Meditations», но... голова съ огонькомъ, съ огонькомъ, съ огонькомъ голова!...

Все это могъ бы говорить и несумасшедшій, какъ думалъ Кремневъ; въ это время онъ хоть и бредилъ немного, но умъ его далеко былъ отъ какого-нибудь сумбура. Голова его, благодаря потерѣ крови, была на столько ясна и свѣжа, на сколько можно было этого ожидать. Онъ высказывался такъ, какъ, вѣроятно, высказывался бы и до начала своего помѣшательства.

— Какъ бы это мнѣ воротить мою рукопись?

— Бумаги ваши непремѣнно воротятъ вамъ,—сказалъ Кремневъ.

— Едва ли... Тамъ есть такія исторіи, что — je vous demande mille pardon! — не воротятъ!... Развѣ за-границей похлопотать; я ужъ думалъ было писать объ этомъ къ баварскому королю.

— Ну,—подумалъ я,—вотъ начнетъ-то чушь городить! но ничуть не бывало.

— Мы были съ нимъ когда-то пріятели,—продолжалъ Ильинъ,—а познакомились, когда онъ былъ еще наслѣднымъ принцемъ. Всякій разъ, когда проѣзжалъ я черезъ Мюнхенъ, изъ гостинницы посылалъ ему мою визитную карточку и былъ приглашаемъ имъ на ужины en petit comité. Ухъ! какъ мы съ нимъ тогда либеральничали!

Кремневъ говорилъ мнѣ послѣ, что и въ этомъ нѣтъ ничего невозможнаго — что за-границей молодому человѣку, про котораго пустили слухъ, что онъ чѣмъ-нибудь знаменитъ въ Россіи (а такіе слухи часто распускались и, по незнанію русскаго языка, принимались безъ всякой повѣрки и критики), что такому молодому человѣку легче познакомиться съ владѣтельнымъ принцемъ за-границей, чѣмъ съ русскимъ откупщикомъ или съ какимъ-нибудь директоромъ департамента въ Петербургѣ. Ничего нѣтъ мудренаго, что Ильинъ, провозглашая себя богачемъ и пишущимъ поэмы, былъ знакомъ съ баварскимъ королемъ. Быть можетъ, такія-то удачи въ жизни и свели его съ ума, по возвращеніи въ Петербургъ, гдѣ даже родная сестра не хотѣла принять его.

— Не лучше ли вамъ, батюшка вы мой,—замѣтилъ ему Кремневъ,—попросить объ этомъ вашу сестру?

— Сестру? Тсъ!...—И на сколько можно было подняться на постели, Ильинъ приподнялся, и на сколько можно было поднять здоровую свою руку, онъ ее приподнялъ.—Кабы она знала, она бы давно сожгла мою рукопись... Тсъ!... говорите тише, я ея боюсь...—И волосы его какъ бы сами собой изображали страхъ: они стояли торчкомъ во всѣ

стороны, точно черный вѣнецъ на бѣломъ фонѣ подушки.—Сестра моя, гмъ!... Остерегите Юлію... скажите ей, чтобъ она... того... какъ можно дальше отъ сестры моей... Кстати, старый дружище! я давно хотѣлъ спросить тебя, обратился онъ къ Кремневу фамильярнымъ тономъ и съ такимъ довѣрчивымъ лицомъ, что Кремневъ засіялъ отъ удовольствія, хотя и усомнился, не принимаетъ ли больной его за кого-нибудь другого, дѣйствительно ему давно знакомаго.—Вотъ что... дружище! объясни ты мнѣ, ради Аллаха, куда это уѣхала Юлинька?

— Мнѣ бы, дружище, и самому это хотѣлось знать, куда она уѣхала,—отвѣчалъ Кремневъ.

— Я бѣжалъ за ней, бѣжалъ, чуть не цѣлыхъ пять верстъ бѣжалъ, никакъ догнать не могъ,—то-есть я бы догналъ... шалишь!—я бы непремѣнно догналъ, еслибъ не снѣжная куча, на которую я наткнулся.

— А въ чемъ она ѣхала? спросилъ Кремневъ, и радостное любопытство такъ и свѣтилось въ глазахъ его.

— Въ чемъ? Она просто въ возкѣ ѣхала—и плакала... даже закричала *прощайте*, когда выѣхала за заставу.

— А за какую заставу?

— А туда, по московскому тракту... какъ зовутъ, дьяволъ ее знаетъ...

— А когда это было?

— Это было... было... постойте, у меня записано... Мальчикъ! отодвинь-ка вотъ тотъ ящикъ, что въ столѣ налѣво, и подай мнѣ тетрадь съ черной каемочкой.

Я подошелъ къ письменному столу и отодвинулъ ящикъ.

— Здѣсь ничего нѣтъ,—сказалъ я,—никакой тетради, только пучекъ перьевъ и еще какая-то коробочка.

— А bas! значитъ и эта тетрадь подъ арестъ пошла!... Какъ мнѣ безъ нея быть?...—И глаза его выразили странное безпокойство.—Тамъ я записывалъ мое сердце—и то

унесли... О, племя людское!... крокодилово отродье! посѣвъ дьявольскій!

Въ эту минуту высокій лакей принесъ графинъ съ лимонадомъ и стаканъ.

— Утоли, дружище, жажду твою, все будетъ хорошо, все найдемъ и воротимъ... Не унывай, дружище!—говорилъ Кремневъ больному, дружески положа на плечо его свою богатырскую руку:—вотъ, не хочешь ли, братъ, лимонаду,—на, я налью тебѣ...—Кремневъ сталъ наливать, Ильинъ сталъ на него коситься.—Не слишкомъ ли холоденъ?... позволь мнѣ, дружище, отпить немного.

Больной выразилъ на лицѣ своемъ нѣчто похожее на ужасъ, но не сказалъ ни слова. Кремневъ выпилъ полстакана. — Хорошо сдѣланъ, все въ пропорцію. Ты его, что ли, дѣлалъ? обратился онъ къ Ѳедькѣ.

— Никакъ нѣтъ-съ. На кухнѣ дѣлали.

— Отдай, братецъ, отъ меня эти 5 рублей тому, кто дѣлалъ... На... ступай!

Ѳедька взялъ ассигнацію и вышелъ. Ильинъ опять приподнялся.—Я дома никогда не пью...—сказалъ онъ.

— Напрасно, дружище!

— Ты ничего въ желудкѣ не чувствуешь?

— Ничего.

— Не бурчитъ?

— Нисколько, а что?

— Такъ... Налей мнѣ немного, жажда!

Тутъ случилось опять пренепріятное обстоятельство. Едва только Ильинъ поднесъ стаканъ къ своимъ перегорѣвшимъ губамъ, какъ другъ—чикъ!—колпачекъ прихлопнулъ свѣчку, и всѣ мы остались въ совершенной темнотѣ. Я никакъ этого не ожидалъ, да и Кремневъ, занятый разговоромъ, этого не предвидѣлъ. Стаканъ съ лимонадомъ выпалъ изъ рукъ больного, и, обливъ колѣно Кремнева, покатился по полу.

— Экая досада, дружище! — свѣтильня догорѣла, и колпачекъ ее прихлопнулъ. Какъ думаешь, гдѣ бы мнѣ еще свѣту достать?

На эти успокоительныя слова Ильинъ не отвѣчалъ ни слова. Кремневъ ощупью нашелъ свѣчу, ощупью спустился внизъ и пропалъ минутъ на десять. Мнѣ такъ стало страшно, что я вышелъ потихоньку изъ комнаты и остановился впотьмахъ у лѣстницы. Когда свѣча была внесена, и мы съ Кремневымъ усѣлись на прежнія мѣста, Ильинъ уже не узналъ насъ и что-то бредилъ.

— Я отъ него не уйду теперь, — сказалъ Кремневъ, — а ты, Сережа, ступай внизъ, одѣнься, вели подать сани и уѣзжай. Скажи твоей матери, если она позоветъ тебя, что я ворочусь пѣшкомъ; да вели мнѣ постель приготовить въ твоей классной; а если мать не позоветъ тебя, то и не безпокой ея, пожалуйста... А я, какъ только успокою его и осмотрю его перевязки, такъ и ворочусь... Прощай!

Я сошелъ внизъ и, пока надѣвалъ въ рукава шинель свою, слышалъ, вѣроятно у баронессы въ гостиной, веселый говоръ. Вышедши на улицу, я постоялъ на крыльцѣ, и вѣрно бы простоялъ долго, еслибъ низенькій лакей, выбѣжавъ за мной, не крикнулъ нашему кучеру: — сани! подавай!...

ГЛАВА XXXVI.

Безвредный докторъ долго не находилъ ничего опаснаго въ положеніи моей матери, и мы были совершенно спокойны. Я съ утра бралъ рисовальную доску, садился у окна и, пользуясь короткимъ зимнимъ днемъ, рисовалъ. Отдѣлка платья и складокъ чернымъ итальянскимъ каран-

дашемъ мнѣ удавалась, даже было весело перекрещивать линіи, выводить клѣточки и ихъ затушевывать; но отдѣлка лица положительно не удавалась, и лицо какой-нибудь Мадонны, при сравненіи съ оригиналомъ, казалось измятымъ, иногда даже заплаканнымъ. Къ рисованью въ это время я пристрастился такъ же, какъ когда-то пристрастился къ чтенію старыхъ романовъ. Костя приходилъ ко мнѣ, исправлялъ мой рисунокъ, да такъ исправлялъ, что я завидовалъ его умѣнью и былъ въ восторгѣ. По уходѣ его, мнѣ казалось, что это я все самъ такъ чисто отдѣлалъ или отчеканилъ, по выраженію Кости, и совѣсть меня за это очень мало мучила, а, кажется, должна была бы мучить, потому что рисунукъ этотъ я готовилъ къ новому году въ подарокъ моей матери. Фрейманъ, кромѣ того, въ какомъ-то нѣмецкомъ альманахѣ, нашелъ какое-то нѣмецкое стихотвореніе на новый годъ, стихотвореніе, украшенное виньетками, и, вмѣсто урока, задалъ мнѣ, во-первыхъ, стихи эти переписать, со всѣми вычурами нѣмецкой калиграфіи, и, во-вторыхъ, выучить ихъ наизусть для произнесенія. Кремневъ, заходя ко мнѣ въ комнату, одобрялъ меня. Въ свободное время (а его таки было немало) я просиживалъ въ спальнѣ моей больной матери, и когда случалось она засыпала, я едва шевелился, боясь разбудить ее. Помню, какъ, сидя на низенькой скамеечкѣ, я клалъ мою голову на постель, къ ногамъ ея, и мечталъ,—и какія свѣтлыя, какія радостныя были тогда мечты мои! Или уходилъ въ дѣвичью и дурачился,—иногда въ коридорѣ поджидалъ Феню, и когда она проходила, бросался на нее и щекоталъ ее, какъ русалка; но русалка защекотываетъ до-смерти, а я... защекотывалъ ее до сильнаго румянца на щекахъ, или до той досады, сквозь которую сквозило удовольствіе. Удовольствіе это заключалось въ желаніи щипать меня; Феня щипалась больно, и я помню, какіе синяки были у меня на рукахъ.

*

Разъ, это было въ полдень, все было тихо въ нашемъ домѣ, только на кухнѣ и въ дѣвичьей пахло рождественскимъ праздникомъ: тамъ были и водка, и пироги, и ватрушки, и гости, и нарядныя ситцевыя платья; но въ эти отдаленные уголки нашей квартиры всѣ двери тщательно были затворены, и, какъ я сказалъ, все было тихо. Докторъ Иванъ Павловичъ зашелъ ко мнѣ и спросилъ, гдѣ Кремневъ; я сказалъ, что не знаю.—Мнѣ бы надо съ нимъ поговорить,—сказалъ онъ.—Подождите, онъ скоро прійдетъ.—Нѣтъ, ужъ я лучше прійду часа черезъ два; матушка твоя заснула, ей нуженъ покой, — ты... смотри, не шуми, верзило... а не то—я тебя!

И, бросивши на меня свирѣпый взглядъ, докторъ удалился прежде чѣмъ я успѣлъ спросить его, здоровъ ли теперь сумасшедшій Ильинъ и прошло ли его сумасшествіе.

Кремнева дома не было также по случаю праздниковъ. Я, ходя или лучше сказать, прокрадываясь изъ комнаты въ комнату, заглянулъ въ гардеробную, потомъ въ ту комнату, заставленную шкафами и картонками, гдѣ Аксюта шила и гладила,—никого тамъ не было; я хотѣлъ спрятаться въ шкафъ, что-то подсмотрѣть. Самъ не знаю, чего я хотѣлъ; мнѣ хотѣлось чего-то необыкновеннаго, страстно-мистическаго... какой-то игры... мнѣ хотѣлось прыгать и красться по-кошачьи, даже кого-нибудь укусить... Во всемъ этомъ, вѣроятно, высказывалась какая-то переполненность молодой, свѣжей и, такъ сказать, еще животной жизни. И въ этомъ-то расположеніи духа услыхалъ я за стѣною шорохъ, и, какъ лягавая собака къ дичи, подкрался къ той самой двери, сквозь замочную скважину которой, когда-то въ дѣтствѣ, видѣлъ я какое-то фантастическое засѣданіе.

Какимъ перомъ изобразить мнѣ мое волненіе, недоумѣніе и, пожалуй, испугъ, когда, направляя глазъ мой про-

тивъ замочной щели, я вдругъ замѣтилъ, что съ той стороны на меня глядитъ также чей-то глазъ!... и что взгляды наши встрѣтились...

Я отскочилъ... и отошелъ въ сторону. Минуты двѣ все было тихо по-прежнему. Вдругъ слышу—въ дверку стали стучаться.

— Отоприте! услыхалъ я мужской голосъ.

Я побѣжалъ за Аксютой, встрѣтилъ Логина и разсказалъ ему, что кто-то стучится къ намъ изъ чужой квартиры.

— Что вамъ тутъ надо?... спросилъ Логинъ.

— Отопри, говорятъ тебѣ!

— Да куда ты лѣзешь?.... въ чужую квартиру!

Но, вмѣсто отвѣта, послышались такіе полновѣсные удары въ дверь, что я думаю, черезъ коридоръ въ залѣ можно было слышать, что кто-то стучится.

Прибѣжала Аксюта.

— Ключа нѣтъ, сказала она въ щелку.—Что?... а?

— Пьяный что-ли? спросилъ Логинъ. Съ ума сошелъ...

— Да что, Логинъ Семеновичъ, говоритъ, что сломаетъ дверь, если не отопремъ; а какъ отпереть!

И Логинъ, и Аксюта находились въ великомъ смущеніи, не знали, что и подумать; я также дрожалъ не отъ одного страха, я дрожалъ и отъ злости: я никакъ даже не могъ вообразить себѣ такой дерзости; я боялся за мать мою, боялся, что возобновившійся стукъ дойдетъ до чуткихъ ушей ея; казалось, я былъ способенъ въ эту минуту убить этого дерзкаго нарушителя нашего спокойствія.

Я послалъ Семена за Кремневымъ, и тотъ, встрѣтивши его на лѣстницѣ, разсказалъ ему, въ чемъ дѣло.

Не медля ни минуты, Кремневъ пошелъ въ ворота, вызвалъ дворника, послалъ за хозяиномъ, и узнавши, что въ сосѣдней съ нами квартирѣ — слѣдователь и какіе-то

полицейскіе, прямо отправился къ нимъ, и ужъ не знаю, какъ онъ объяснилъ имъ, что къ намъ въ квартиру стучать имъ вовсе не слѣдуетъ, что они будутъ отвѣчать, если испугаютъ больную генеральшу, то-есть мать мою. Великія слова: «генеральша» и «ея превосходительство», конечно, употреблялись Кремневымъ въ такихъ случаяхъ, гдѣ ему было необходимо придать вѣсъ словамъ своимъ, а гдѣ было необходимо — онъ это зналъ какъ нельзя лучше, потому-что прошелъ сквозь огонь и воду и мѣдныя трубы. Не даромъ онъ говаривалъ: кто не пройдетъ сквозь эти огонь и мѣдныя трубы, да не закалится, тому на святой Руси и жить нельзя.

Когда все опять утихло, вслѣдъ за Кремневымъ и я вошелъ въ спальню моей матери. Она не спала; съ безпокойствомъ поглядѣла на Кремнева и сказала:—пожалуйста, бросьте въ печь эти несчастныя письма,—и она указала на большой свертокъ бумаги, перевязанный розовой лентой.

Вѣроятно, этотъ свертокъ былъ у ней подъ подушкой, иначе я не понимаю, какъ онъ могъ явиться у ней подлѣ постели, на ея ночномъ столикѣ.

— Да что вы безпокоитесь, моя милая?... началъ-было Кремневъ.

— Не могу не безпокоиться: всякій, кто писалъ ко мнѣ, свободно выражалъ себя и откровенно излагалъ свои помыслы,—придется отвѣчать даже за помыслы. Ступайте скорѣе и, если въ коридорѣ топится печка, бросьте въ огонь это сокровище; перестаньте умничать — идите!

Кремневъ взялъ свертокъ (я думаю, около ста писемъ, если не болѣе), и мы вышли. Печка въ коридорѣ только-что истопилась, я заглянулъ въ нее,—и едва успѣлъ отнять свою голову, какъ свертокъ уже очутился на кучѣ красныхъ, неуспѣвшихъ покрыться пепломъ, угольевъ. Бумага зачадилась.—Ба! сказалъ Кремневъ,—

отворяй скорѣе вьюшку, иначе мы, братъ, чаду такого напустимъ, что...

И мы таки напустили чаду, потому-что я отворялъ трубу въ первый разъ въ моей жизни, а въ жизни даже и на это нужна нѣкоторая опытность.

— Что вы тутъ дѣлаете? крикнула на меня Аксюта, не замѣчая Кремнева.

— Тетради старыя жгемъ,—отвѣчалъ Кремневъ.

— Извините, сударь, я васъ не замѣтила.

Мать моя была очень блѣдна, у ней дрожали руки, и ноги были холодны, какъ ледъ. Въ боку все еще чувствовалась боль. Она ничего почти не ѣла, только пила морсъ, потому-что чувствовала жажду. Кремневъ также похудѣлъ за все это время; онъ былъ возлѣ моей матери точно сидѣлка или сестра милосердія; читалъ ей, потомъ щупалъ пульсъ, потомъ прикладывалъ къ головѣ ея руку... и увѣрялъ мать мою, что онъ одаренъ магнетизмомъ и можетъ ее вылечить; потомъ опять читалъ, потомъ подавалъ лекарство, потомъ сидѣлъ подлѣ нея молча, или говорилъ ей: «засните, ну попробуйте, заснуть!»—и такъ проходили для нихъ дни и ночи. Иногда онъ возвращался откуда нибудь около полуночи (какъ, напримѣръ, отъ Ильина), прокрадывался къ ней въ спальню, да такъ и не ложился, и не раздѣвался до самаго утра. Мать моя нѣсколько разъ видѣла его спящимъ возлѣ себя въ креслахъ и рѣшилась только однажды разбудить его, потому-что какой-то необыкновенный сонъ произвелъ на нее слишкомъ тяжелое впечатлѣніе: то былъ какой-то призракъ, и на нее напалъ паническій ужасъ. Что это былъ за сонъ, она никому изъ насъ не разсказала.

Такъ проходили святки, и я былъ убѣжденъ, что къ новому году мать моя встанетъ съ постели. Я уже воображалъ, какъ я преподнесу ей мой рисунокъ и скажу ей нѣмецкое стихотвореніе. Мало того—далеко залетѣла

моя фантазія—я воображалъ, что Кремневъ непремѣнно женится на моей мамѣ, и уже смотрѣлъ на это безъ всякаго къ нему недоброжелательства; напротивъ, кажется, я былъ бы радъ, если бы это случилось: я такъ давно не видалъ веселья въ глазахъ моей матери, такъ давно не слыхалъ ея музыки, ея симпатическаго, поющаго голоса, что мнѣ казалось, что все это воротится, когда она выйдетъ замужъ, потому что развѣ она не говорила мнѣ, что любитъ его и уважаетъ?

Но наканунѣ новаго года, Кремневъ вошелъ ко мнѣ грустный и мрачный; небольшіе, сѣрые глаза его были красны, лицо измято. Я хотѣлъ его утѣшить и сказалъ ему:—Александръ Сидоровичъ, женитесь скорѣй на моей мамѣ... пожалуйста, женитесь!..

— Ахъ, дружище! Кабы она была здорова! Завтра утромъ консиліумъ.

— Что такое консиліумъ?

— Съѣдутся доктора и будутъ совѣщаться, что̀ имъ дѣлать.

— А Иванъ Павловичъ?

— Иванъ Павловичъ самъ сознается, что болѣзни не понялъ.

— Развѣ есть опасность?.. А?

— Нѣтъ, дитя мое, пока еще нѣтъ опасности,—проговорилъ онъ и вышелъ.

Ну, нѣтъ опасности, а онъ ужъ и носъ повѣсилъ, подумалъ я... И не странно ли? Чѣмъ опаснѣе становилось положеніе моей матери, чѣмъ безпокойнѣе было настроеніе въ домѣ, чѣмъ ближе была роковая минута,—тѣмъ я былъ безпечнѣе, спокойнѣе духомъ. Мысль о смерти моей матери, какъ какая-то нелѣпость или очевидная невозможность, даже не приходила въ мою голову. Я также рисовалъ, также готовъ былъ бѣжать и дурачиться, также заигрывалъ съ Феней. Или сама при-

рода, подготовляя ударъ, сберегала мои силы и не давала мнѣ задумываться. Или есть несчастія, которыхъ также не предчувствуешь и которымъ также не вѣришь, какъ чахоточный не вѣритъ скорой и неминуемой смерти.

Въ ночь, на 4-е января, около трехъ часовъ пополуночи, сквозь сонъ я почувствовалъ, что мени кто-то будитъ, и помню, какъ мнѣ не хотѣлось вставать, ибо мнѣ казалось сквозь сонъ, что меня будятъ для того, чтобъ вести меня куда-то къ заутрени. Съ трудомъ приподнялъ я глаза, вижу, за ширмой моего нѣмца горитъ свѣча; судя по тѣни, двигающейся на стѣнѣ, онъ одѣвается и повязываетъ галстукъ, а подлѣ меня въ одной юбкѣ— Феня. Волосы ея распущены, на плечахъ платокъ, въ глазахъ слезы, въ лицѣ что-то такое страшно-напряженное, какъ будто ей нестерпимо жаль меня.

— Феня! Что такое? мама?!.. ради Бога, Феня, говори скорѣе, что такое?! и я схватилъ ее за руку и въ испугѣ устремилъ на нее глаза свои. Я уже догадался... но ждалъ. Она молчала — и я крикнулъ во все горло:— что такое, Феня?—Умерла? А?!

— Ступайте... проститесь... сказала она, закрывъ лицо руками, и заплакала.

Быстрѣе мысли соскочилъ я на полъ. Не помня себя, на босыя ноги свои натянулъ я свои шароваришки, потомъ надѣлъ башмаки, потомъ схватилъ куртку, но не надѣлъ ее, а побѣжалъ съ нею. Бросившись въ отворенныя двери, я кого-то толкнулъ въ коридорѣ и черезъ залу влетѣлъ въ гостиную...

Тамъ, передъ образомъ въ углу, горѣла восковая свѣча. Логинъ поймалъ меня за руку и какъ-то на бѣгу за мной напялилъ на меня мою курточку. Кремнева, сидящаго въ углу въ креслахъ, я не замѣтилъ—и ворвался въ кабинетъ. Тамъ также передъ каждымъ образомъ горѣли

свѣчи, какъ бы въ великій праздникъ. Я толкнулъ въ дверь, ведущую въ спальню матери, но чья-то рука, придержавши эту дверь, не хотѣла меня пускать туда. Я закричалъ:—мама! это я... пустите!... Выглянула голова, повязанная платкомъ, заглянула мнѣ въ лицо—и пропустила.

Я увидѣлъ зрѣлище, очень обыкновенное въ нашемъ подлунномъ мірѣ; но оно неизгладимо врѣзалось въ моей памяти.

Мать моя была уже мертва; но она сидѣла на своей постели, поддерживаемая руками горничныхъ; глаза ея были закрыты, голова опущена, нижняя челюсть отстала отъ верхней и придавала ей видъ женщины, чему-то наивно изумленной и раскрывшей ротъ свой. Волосы черными космами падали на ея голыя плечи, нѣсколько прядей висѣло передъ ея склоненнымъ профилемъ; руки также висѣли; наши женщины сбирались уже раздѣвать ее и приступить къ обмыванію.

Мое присутствіе помѣшало этому обряду. Голову новопреставленной опять опустили на подушку, и я рыдая упалъ на теплый, еще непростывшій трупъ моей матери.

Мое отчаяніе было ужасно. Когда меня вывели изъ спальной, я упалъ на колѣни и сталъ молиться. Маленькій безумецъ, я вообразилъ, что могу сотворить чудо, что мнѣ стоитъ только попросить Бога воскресить мать мою, и она воскреснетъ. Я былъ въ этомъ такъ увѣренъ, такъ увѣренъ въ ту минуту, что, какъ бы подъ наитіемъ какого-то вдохновенія свыше, сказалъ присутствующимъ:—не плачьте, маловѣрные, она воскресла!.. пустите меня...

Но Кремневъ подошелъ ко мнѣ и взялъ меня за руку.

— Черезъ меня, дружище, она велѣла передать тебѣ свое благословеніе...—И онъ перекрестилъ меня... потомъ

обнялъ, потомъ сѣлъ на стулъ и сталъ тихо плакать. Не вѣшая головы, онъ сидѣлъ, какъ обыкновенно сидятъ въ гостиныхъ, слегка откинувшись, и только слезы бѣжали по лицу. Упавши передъ нимъ и охвативши своими руками одно изъ его колѣнъ, я истекалъ слезами и въ то же время глядѣлъ на него — какъ будто въ его слезахъ ища оправданія своему отчаянію.

Но не прошло часу, Кремневъ уже бодро всталъ, велѣлъ мнѣ дать воды напиться, утерся мокрымъ полотенцемъ и сталъ распоряжаться. Всѣ въ домѣ повиновались ему и слушались его, какъ бы своего законнаго барина, всѣ передъ нимъ разступались. Кремневъ видно успѣлъ заслужить любовь не одну мою. Въ тотъ же день утромъ онъ написалъ два письма: одно въ Москву къ дядѣ моему Льву Марковичу, другое къ моему опекуну Никитѣ Ивановичу Нарышкину; послѣдняго онъ просилъ какъ можно скорѣе пріѣхать.

Не къ чему прибавлять, что полиція явилась вслѣдъ за гробовщиками, и что не только всѣ комоды и ящики, но и спальня, и кабинетъ были заперты и опечатаны.

ГЛАВА XXXVII.

Представьте, что вы сидите въ театрѣ и видите представленіе. Героиня лежитъ безъ движенія, безъ жизни, лежитъ посреди сцены мертвымъ трупомъ; почему она мертва—Господь ее вѣдаетъ; актеры входятъ и уходятъ, сходятся, расходятся, плачутъ, глупо улыбаются, появляются съ озабоченными лицами и исчезаютъ, какъ тѣни; зачѣмъ они? почему? для чего?—ничего неизвѣстно! Авторъ такъ спуталъ дѣйствіе, до такой степени ничего не договорилъ, что вы ничего не понимаете, смотрите на сцену,

и, кромѣ непонятной боли въ душѣ, кромѣ горькаго зуда въ глазахъ, ничего не чувствуете. Вы и поражены, и удивлены, и опечалены, и даже оскорблены — но какъ, чѣмъ и зачѣмъ?!.. вы никакого отчета не можете дать никому, ни другимъ, ни самому себѣ.

Таковъ я былъ во время отпѣванія и погребенія моей матери.

Когда вокругъ гроба, обитаго чернымъ бархатомъ и серебрянымъ позументомъ, поднимался кадильный дымъ, а отецъ Алексѣй провозглашалъ вѣчную память, и пѣвчіе подхватывали «вѣчная память!» Фрейманъ выглядывалъ изъ коридора въ залу, и никогда я еще не видалъ, чтобы ротъ его былъ раскрытъ такъ глубокомысленно, никогда еще не видалъ, чтобъ шиллеровскій носъ его носилъ такой плачевно-сиротливый видъ. Онъ едва ли не впервые отъ роду видѣлъ русскій обрядъ погребенія и, глядя на него, философствовалъ или поэтизировалъ — не знаю, знаю только, что онъ былъ преисполненъ загадочныхъ думъ, и, уходя въ свою комнату, такъ часто насасывалъ чубучекъ свой, что, отъ табачнаго дыма, у меня глаза рѣзало (видно, мои глазные нервы отъ безпрестанныхъ слезъ стали черезчуръ чувствительны).

Наканунѣ похоронъ, Кремневъ разсказалъ мнѣ, что мать моя еще съ вечера проговорилась ему, что не переживетъ этой ночи, и хотѣла послать за мной, потомъ раздумала и сказала: «Нѣтъ, я расплачусь, когда его увижу, и разстрою его прежде времени; онъ же черезчуръ чувствителенъ — я за него боюсь, много ему придется перестрадать, прежде чѣмъ онъ узнаетъ жизнь. Берегите его, я вамъ поручаю его, паче всего берегите его отъ разныхъ происковъ родныхъ его, онъ еще не знаетъ ихъ, что это за люди. Скажите Сережѣ, чтобы онъ былъ честенъ, неподкупенъ и твердъ — и что на все доброе я его благословляю.» —Потомъ мать твоя,—

продолжалъ Кремневъ,—велѣла мнѣ вынуть изъ бюро восемьсотъ пять рублей и сказала: «вотъ пока все, что у меня есть; похороните меня безъ пышности, какъ можно дешевле, и если для Сережи не хватитъ денегъ, напишите Нарышкину — у него есть еще наши деньги. Онъ чудакъ, но честенъ; я не желаю моему сыну другого опекуна, къ тому же онъ очень богатъ и въ чужомъ не нуждается...» Кремневъ взялъ деньги не прежде, какъ вошла Аксюта, при ней сосчиталъ ихъ и положилъ на столъ. Когда мать моя была въ агоніи, и священникъ въ часъ ночи читалъ отходную, люди уже окружали постель ея, но—желаніе моей матери было исполнено: меня не разбудили и не позвали.

Вотъ сущность всего того, что мнѣ передалъ Кремневъ. Я не привожу рѣчей его потому, что не чувствую въ себѣ настолько искусства, чтобы передать на этой страницѣ все то тепло, которое въ нихъ слышалось. Онъ, какъ видно, глубоко любилъ мать мою и терялъ въ ней все, что было для него на сей землѣ самаго лучшаго, самаго святого и благороднаго. Смѣю думать, что еслибъ онъ былъ просто любовникъ моей матери, въ самомъ вульгарномъ смыслѣ слова, — это не утаилось бы отъ многочисленныхъ глазъ нашей многолюдной прислуги, а еслибъ не утаилось,—то не вѣрю я, чтобъ эта прислуга, послѣ смерти моей матери, отнеслась къ нему съ такимъ сочувствіемъ и уваженіемъ. Иному просто бы сказали: «ну, сударь, больше вамъ тутъ дѣлать нечего», или «вы что за баринъ!» или бы косились на него, какъ на человѣка, способнаго украсть ключи или что-нибудь зажилить, пользуясь удобнымъ случаемъ. Одна моя отставная нянюшка сомнѣвалась въ немъ, но и та предполагала, что онъ добивается руки моей матери.

Много приходило всякаго народа поклониться ея тѣлу; но знакомыхъ изъ высшаго круга никого почти не было.

Я не помню даже, чтобъ Набатовъ былъ. Одинъ старикъ Тарутинъ, со звѣздой на груди, пріѣзжалъ отслушать одну панихиду — и, сколько мнѣ помнится, благоговѣйно молился о новопреставленной, тихо бормоча про себя молитвы и коротенькой, толстенькой рукой своей дѣлая на груди маленькіе крестики; но Тарутина я никогда прежде не видалъ у насъ въ домѣ и говорю только о тѣхъ, кто часто бывалъ у насъ, — ихъ-то, говорю, и не было.

И то сказать, многіе изъ нашихъ знакомыхъ и не знали о кончинѣ моей матери. Кремневъ не имѣлъ права звать ихъ отъ своего имени, къ тому же не зналъ ихъ адресовъ, а главное — зналъ, что большинство изъ нихъ арестовано.

Глаголевскій сидѣлъ у меня по цѣлымъ часамъ; Костя и Алеша оставались ночевать, Егорка (будущій часовщикъ) явился также мнѣ прислуживать—и разносилъ чай всякій разъ, когда другимъ людямъ было нѐкогда. Читать псалтирь опять сталъ появляться тотъ же сѣденькій приказный, который когда-то читалъ псалтирь въ нашей дѣвичьей надъ тѣломъ старой Константиновны. Упиваясь коньякомъ подъ видомъ чая, онъ страшно потѣлъ — и также, кажется, былъ доволенъ смертью моей матери, какъ и наводненіемъ.

Не стану описывать всего, что я чувствовалъ во всѣ эти дни; но такъ-какъ въ этихъ признаніяхъ я вовсе не желаю щадить себя, то и скажу откровенно, что были минуты, когда я мысленно рисовался моимъ горестнымъ и, какъ мнѣ казалось, какимъ-то исключительнымъ положеніемъ. Я оставался одинъ, сиротой, безъ матери, съ колыбели страстно мною любимой, — и это было горько, очень горько; но мнѣ нравилось, мнѣ льстило, какъ какой-нибудь слабонервной барынѣ, то вниманіе, тѣ заботы и ласковое ухаживаніе, которыя возбуждалъ я въ окру-

жающихъ моими слезами, моей тоской, моими головными болями. Всѣ-то хотѣли развлекать, утѣшать меня. Костя тащилъ гулять, приносилъ мнѣ рисунки; Глаголевскій, какъ человѣкъ, знающій *досконально* загробныя тайны, разсказывалъ мнѣ, въ какомъ именно мѣстѣ должна теперь находиться душа моей матери, и какъ все ближе и ближе подвигается она къ райскимъ вратамъ, слыша, какъ мы объ ней молимся... Наши старухи и я внимали ему, какъ человѣку, спеціально изучившему предметъ свой, то-есть небо и преисподнюю. Аграфена причесывала меня и оттирала мнѣ ноги, когда онѣ были холодны; Феня, поливая то меня, то платокъ мой одеколономъ, цѣловала меня, какъ будто я былъ собственное дитя ея. Зять Логина подарилъ мнѣ на часы цѣпочку изъ французскаго золота, а Саша, то-есть Александра Логиновна, жена его, принесла мнѣ коробку съ обсахаренными фруктами.

Какъ не избаловаться посреди такой обстановки! какъ не вообразить себя маленькимъ плачущимъ принцемъ! какъ не изнѣжить своего и безъ того уже слишкомъ нѣжнаго сердца! Одинъ Алеша *обижалъ* меня: онъ преравнодушно глядѣлъ на меня, когда я плакалъ, глядя на гробъ моей матери.

5-го января, утромъ, забросанная сосновыми вѣтвями, а можетъ быть и мозжевельникомъ, позеленѣла наша улица. Погребальныя дроги, подъ траурнымъ балдахиномъ, запряженныя въ 6 лошадей, стали у насъ на снѣгу подъ окнами. Факельщики расхаживали, топтались на одномъ мѣстѣ, смѣялись и повязывали себѣ уши. Прохожіе останавливались, спрашивали, чьи похороны; но что особенно бросалось въ глаза—это множество жандармовъ и полицейскихъ у нашего подъѣзда,—даже, какъ мнѣ помнится, у нашего задняго крыльца, на дворѣ, почему-то расхаживалъ будочникъ.

Къ девяти часамъ зала наполнилась народомъ, прибыли священники, намъ всѣмъ роздали свѣчи, началась панихида. Я стоялъ подлѣ Кремнева, не блѣднаго, но скорѣй покраснѣвшаго отъ грустныхъ и тяжелыхъ думъ, его обуревавшихъ. Я молился и плакалъ, какъ вдругъ, минутъ за 20 до выноса тѣла, подошелъ Семенъ, немного встревоженный, и сказалъ Кремневу, что какой-то адъютантъ проситъ его въ переднюю. Кремневъ вышелъ, но, спустя минуту, въ облакахъ кадильнаго дыма, я уже увидалъ его подходящимъ къ гробу моей матери. Онъ приподнялъ покрывало съ ея лица, съ этого воскового лица съ синими губами, поглядѣлъ на него, приложился къ холоднымъ рукамъ, перекрестилъ ее, перекрестился— и потомъ ко мнѣ обратилъ лицо свое. Припоминая все это, я чувствую, что онъ хотѣлъ подойти ко мнѣ, да — онъ непремѣнно хотѣлъ подойти ко мнѣ; но въ эту минуту, въ дверяхъ послышался чей-то вѣжливо-повелительный голосъ: «пожалуйста, не мѣшкайте!» Толпа зашевелилась, робко зашушукала, даже пѣвчіе, продолжая пѣть, покосили глазами,—и, пославши мнѣ поцѣлуй рукой, Кремневъ прошелъ въ переднюю.

Я бы ничего не понялъ; но Костя тутъ же передалъ мнѣ странную, невообразимую новость: Кремневъ былъ арестованъ, то-есть его увезли куда-то въ каретѣ, въ сопровожденіи адъютанта и двухъ жандармовъ.

Сильно поразила меня эта новость. Какой-то испугъ охватилъ меня — и слезы застыли у меня на лицѣ. Я робко оглядывался, какъ бы спрашивая: а меня, меня не арестуютъ?!

Наконецъ, при общемъ крикѣ и воплѣ, подняли гробъ — и, упираясь въ него, кто рукой, кто плечомъ, понесли и поставили его на дроги. Священники и пѣвчіе пошли впередъ, дроги тронулись; я хотѣлъ идти пѣшкомъ, но меня посадили въ четверомѣстную карету. Со

мной сѣли Аграфена и, кажется, дочь хозяина дома, дѣвица съ пухлымъ лицомъ, съ отекшимъ носомъ, съ маленькимъ ротикомъ и картавая. Когда же, вслѣдъ за ними, хотѣлъ влѣзть Глаголевскій—всѣ мѣста оказались занятыми, и онъ захлопнулъ дверцу.

Кто же было это четвертое лицо, которое осмѣлилось занять мѣсто Глаголевскаго?

Это было лицо, для меня совершенно новое: это былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, въ сѣрой шинели съ стоячимъ бобровымъ воротникомъ. Изъ этого воротника выглядывалъ треугольный носъ его; въ немъ, въ этомъ носѣ, ничего не было необыкновеннаго: онъ былъ ни малъ, ни великъ, — но я еще никогда не видалъ такихъ носовъ. Поверхъ воротника торчали уши и глядѣли глаза, сѣрокаріе, блестящіе, но съ тяжелыми вѣками, опустившимися чуть не до половины зрачковъ, брови же, густыя и темныя, лѣзли на лобъ подъ самую шляпу. Ротъ, окруженный баками, прятался въ мѣховой воротникъ, застегнутый серебряными лапками, и только изрѣдка, когда онъ выглядывалъ въ окно, то-есть, когда носъ его въ профиль казался мнѣ совершеннымъ треугольникомъ, я видѣлъ зубы его, длинные и бѣлые. Судя по выраженію глазъ его, онъ находился въ тревожномъ состояніи духа, какъ будто боялся, что его начнутъ допрашивать, и въ то же время былъ очень радъ, что попалъ въ карету и удостоился чести сопровождать меня. Мнѣ было тяжело встрѣчаться съ его взглядами: казалось, онъ изучалъ лицо мое, изучалъ мою одежду, изучалъ моихъ спутницъ и прислушивался къ ихъ каждому слову.

Скоро окна нашей кареты заиндевѣли, и мы двигались какъ бы въ бѣлыхъ потемкахъ, не зная, по какой улицѣ насъ везутъ, и не чувствуя поворотовъ кареты. Сквозь скрипъ колесъ ея не слыхать было пѣвчихъ, и

напрасно, черезъ плечи незнакомца, сквозь передовыя стекла, старался я разглядѣть печальную процессію.

Когда карета остановилась у воротъ кладбища, незнакомый мнѣ человѣкъ первый выскочилъ и помогъ мнѣ сойти со ступенекъ, причемъ я почувствовалъ, что рука его сильно пожала локоть мой,—при этомъ онъ такъ на меня взглянулъ, какъ будто хотѣлъ грустный взглядъ свой на-вѣки-вѣковъ запечатлѣть въ моей памяти. Потомъ онъ мелькнулъ передо мной въ ту минуту, когда я съ лопатки бросилъ горсть песку на могилу моей матери... Помню, какъ глухо стукнулъ этотъ сырой песокъ о гробовую крышу, и какъ сжалось мое сердце.

Наконецъ, наплакавшись и назябнувшись (мороза было около 23 градусовъ), пошли мы въ какой-то домикъ, неподалеку отъ кладбищенскихъ воротъ, и тамъ стали пить чай и закусывать. Я думалъ о Кремневѣ и молчалъ. Глаголевскій находилъ необходимымъ въ мой чай подливать рому, и я находилъ это довольно вкуснымъ. Ромъ сначала разогрѣлъ меня, но на обратномъ пути въ каретѣ я заснулъ и продрогъ. Пріѣхавши домой, я почувствовалъ нѣчто въ родѣ озноба, головной боли и тошноты. Меня уложили въ постель, но я долго не спалъ и все думалъ: — отчего умерла мать моя? за что взяли Кремнева? что со мной будетъ? и—ходитъ ли полиція вокругъ нашего дома? Если ходитъ, то зачѣмъ? что ей надо? Бережетъ ли она меня отъ воровъ, или завтрашній день утромъ прійдетъ, возьметъ и увезетъ меня,—за что?—а за то, что я былъ 14-го декабря на Сенатской площади... Мнѣ не шутя мерещилось, что я бунтовщикъ, что Кремневъ взятъ по ошибкѣ, и что скоро узнаютъ, что это я съ Логиномъ, а не Кремневъ—былъ на площади.

ГЛАВА XXXVIII.

Такъ очутился я одинъ, посреди большой и богато-убранной квартиры, тому назадъ нѣсколько дней занимаемой моей незабвенной матерью.

Иногда, въ своей траурной курткѣ, ходя одинъ по гостиной съ завѣшанными зеркалами, я подходилъ къ дверямъ кабинета моей матери, глядѣлъ на большія, красныя печати, которыми была припечатана, обмотанная вокругъ дверной рукоятки, веревочка, — прикладывалъ ухо... и слушалъ.—Тамъ кто-то вздохнулъ и тихо, тихо произнесъ: Сережа!—разсказывалъ я Алешѣ съ таинственнымъ видомъ; но я вовсе этого не слыхалъ, мнѣ хотѣлось это слышать, и я это выдумывалъ. Алеша также прикладывалъ ухо къ двери—и также ничего не слыхалъ.

— Алеша!—сказалъ я однажды,—знаешь, за что я на тебя золъ? За то, что ты не любилъ моей матери... за это я на тебя страшно золъ.

Алеша вытаращилъ на меня глаза свои.

— Ты даже ни разу не заплакалъ, даже Костя, братъ твой, и тотъ плакалъ,—а ты, какъ какой-нибудь истуканъ, прости Господи.

Алеша, какъ виноватый, потупилъ глаза и вздохнулъ.

— Ты безчувственный, Алеша!

— Молчи!—крикнулъ онъ... Слезы показались на глазахъ его.

— Богъ съ тобой, Алеша, никогда мы съ тобой друзьями не будемъ, никогда...

— Ну, и не надо...

— Ну... ну, и не надо! повторилъ я не безъ горечи.

Конечно, кому не жаль потерять милую, добрую и умную мать; но, по-правдѣ сказать, милліоны остающихся

*

сиротъ могли бы даже въ эти минуты позавидовать моему положенію. Я былъ олицетворенная беззаботность; откуда, какимъ образомъ шли деньги на мой столъ, чай и кофе — словомъ, на все мое содержаніе? — я даже не спрашивалъ, этотъ вопросъ даже не интересовалъ меня. Вѣдь все есть, все откуда-то само собой берется и все идетъ по-прежнему. Видно, такъ и слѣдуетъ, о чемъ же тутъ думать!

Разскажу все то, что припомню я объ этомъ времени, то-есть отъ кончины моей матери до пріѣзда моего опекуна Нарышкина. Это время, вѣроятно, не осталось безъ вліянія на мой характеръ или на мой образъ мыслей.

Въ это время я не учился, а билъ баклуши посреди балующей меня дворни. Нѣмецъ мой Фрейманъ не покидалъ меня, но и онъ меня баловалъ, и ему жаль было со мной разстаться. Къ тому же, покойная мать моя осталась должна ему, и онъ ждалъ пріѣзда Нарышкина.

За Алешей пришла Луиза Карловна, бывшая гувернантка Зизи; она очень была рада видѣть насъ, и мой нѣмецъ былъ ей очень радъ: самъ сварилъ для нея кофе, на свои деньги купилъ ей какихъ-то сластей и, угощая ее, все похаживалъ, да покуривалъ — и съ такимъ серьознымъ видомъ, какъ-будто дѣло дѣлалъ. Луиза эта немного похудѣла съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ ее въ Павловскѣ; но говорила, что теперь ей очень, очень хорошо, и что она пришла за Алешей потому, что одинъ богатый купецъ обѣщался отдать его въ какое-то училище... Луиза, разумѣется, не сказала намъ, что въ это время она существовала на иждивеніе этого богатаго купца...

Съ Алешей я горячо простился, подарилъ ему множество книгъ, отдалъ ему подушку, пестрое одѣяло и свою готовальню, то-есть ящикъ съ циркулями, и просилъ, даже умолялъ его не забывать меня; но, сказать

по правдѣ, я не былъ очень опечаленъ этимъ прощаньемъ. Между нами, кромѣ рѣзвости, ничего не было общаго; къ тому же его присутствіе иногда надоѣдало мнѣ; съ дѣтства я привыкъ быть одинъ,—и теперь, такъ-сказать, медленно и незамѣтно развращаясь посреди раболѣпной дворни, мнѣ даже хотѣлось быть одному, чтобъ никто на меня не глядѣлъ, когда я смѣюсь, вмѣсто того, чтобъ плакать, или дурачусь, когда мнѣ слѣдуетъ быть тише и солиднѣе. Мнѣ было совѣстно быть спокойнымъ или веселымъ, когда мать моя въ могилѣ, а Кремневъ—единственный другъ мой, быть можетъ, сидитъ въ тюрьмѣ; а между тѣмъ, помимо воли моей, какъ бы на зло себѣ—я съ каждымъ днемъ становился спокойнѣе и спокойнѣе.

Алеша также разстался со мной равнодушно, но я почти увѣренъ, что я, по всей неопытности, безтактности и дѣтской раздражительности, безпрестанно оскорблялъ его самолюбіе, и что онъ скрывалъ въ себѣ это оскорбленіе, боясь, чтобъ кто-нибудь не сталъ за это вдвое болѣе трунить надъ нимъ. А что Алеша былъ самолюбивъ—это нерѣдко онъ доказывалъ своимъ усиленнымъ прилежаніемъ и тѣми успѣхами, которые не дешево ему стоили.

О моя неопытность! И Семенъ, и Логинъ, и поваръ, и кучеръ, и женская прислуга—всѣ наперерывъ старались задобрить меня, пріобрѣсти мое довѣрчивое расположеніе. Вокругъ меня создался тотъ призрачный міръ небывалой любви, который только рабскій разсчетъ можетъ создавать и который рушится самъ собою отъ малѣйшаго случая. Одни разсчитывали идти на оброкъ, и думали, что слова мои будутъ имѣть вѣсъ въ глазахъ моего опекуна и попечителя; другіе разсчитывали на подарки, на гардеробъ моей матери; третьимъ хотѣлось на волю: къ числу этихъ послѣднихъ, несомнѣнно, принадлежала бѣдная Аксюта, ближайшая горничная моей матери.

Она одна была пасмурна, держала себя вдали отъ меня и глядѣла съ какимъ-то затаеннымъ недовѣріемъ.

— Что-то еще будетъ,—говорила однажды эта дѣвушка:—скажу спасибо, когда себѣ добро увижу.

Я сказалъ на это:—вотъ, какъ я выросту, всѣхъ-то, всѣхъ отпущу на волю, у меня рабовъ не будетъ.

Аксюта подхватила:—да, когда-то вы еще выростете!... Жди васъ!... Куда я буду годна тогда? Вы мнѣ журавля-то не сулите—синицу дайте.

Помню, что я охотно бы въ эту минуту далъ ей не одну синицу, а цѣлую дюжину синицъ; но я могъ только смутно сознавать, что у меня есть какія-то права карать и миловать; но что значитъ дать вольную, какъ поступить ради такого великаго дѣла—я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія: міръ офиціально-бумажный былъ для меня то же, что китайская имперія;—онъ былъ для меня далекъ, закрытъ, чуждъ и непонятенъ.

Зато другой міръ, нисколько непохожій на офиціальный, начиналъ уже открывать мнѣ свои тайны. Онъ былъ ближе къ природѣ, — уставы его сочинялись не въ министерствахъ и не зависѣли отъ кого бы то ни было. Тайны его влекли меня, и въ то же время я боялся ихъ, какъ смертнаго грѣха или какъ какого-то безумія.

Я узналъ про Феню вещи, для меня въ то время совершенно непостижимыя. Костя, вѣроятно для того, чтобъ оправдать въ глазахъ моихъ кой-какія вольности относительно этой дѣвушки, по секрету сообщилъ мнѣ, что въ первый разъ встрѣтилъ ее въ коридорѣ академіи, и что она натурщица. Сначала я этому не вѣрилъ и заставлялъ его божиться и клясться, что это правда; потомъ я почувствовалъ къ Фенѣ нѣчто въ родѣ маленькаго презрѣнія; потомъ, выраженіе Кости, что она *служитъ искусству* и что въ этомъ ничего дурного нѣтъ, заставило меня

смотрѣть на нее, какъ на какую-то особенную, изъ ряда вонъ выходящую дѣвушку, какъ на какое-то миѳологическое существо подъ видомъ горничной. Я то краснѣлъ за нее, то самъ терялъ всякій стыдъ, когда оставался съ ней наединѣ, то-есть шалилъ съ ней, какъ съ наряженной куклой или статуей,—и при этомъ, случалось, она совершенно не обращала вниманія на сдернутый платокъ или на разстегнутый воротъ, стояла задумавшись, уставясь въ землю лбомъ, и молчала. Ужъ не прикидывалась-ли она такой бездушною для того, чтобъ придать мнѣ смѣлости?

Разъ я сказалъ ей, что хочу сдѣлаться художникомъ, только съ тѣмъ, чтобы она была моей натурщицей.

— Что такое натурщица? спросила она меня съ притворнымъ изумленіемъ и вся вспыхнула.

— Нѣтъ! сказалъ я, скорчивъ гримасу и прищуриваясь,—*ты* скажи мнѣ, что такое натурщица?

Слово-за-слово—и я выдалъ тайну Кости. Феня стала умолять меня не проговориться какъ-нибудь.—Ради Бога, баринъ, душечка,—говорила она,—молчите. Меня отецъ убьетъ — убьетъ, если вы ему скажете, или если какъ-нибудь это дойдетъ до него.

Я клялся, что не скажу.—Но какъ это ты, Феня, рѣшилась? Какъ ты могла рѣшиться!

— Какъ! Ваша маменька покойная виновата, кабы не она...

— Какъ это она виновата?!

— Разъ она послала меня съ запиской къ художнику ***; ну, я пошла, прихожу—выходитъ баринъ, человѣкъ ужъ немолодой, заговариваетъ со мной, шутитъ, ведетъ въ мастерскую, картины показываетъ. Хочешь, говоритъ, я тебя выучу рисовать; я говорю: выучите. А вотъ, говоритъ, я собираюсь писать кающуюся Магдалину, лежитъ въ лѣсу безъ одежи и читаетъ книгу;

мнѣ нужна натурщица, не знаешь ли ты, гдѣ бы мнѣ достать такую? Я сперва не понимала, что это такое значитъ; онъ мнѣ объяснилъ и сталъ приставать ко мнѣ, чтобы я была у него натурщицей, обѣщая мнѣ платить по три рубля за часъ, клялся и божился, что будетъ уважать меня, и чтобъ я не боялась... ничего то-есть не боялась. Ну, на этотъ разъ, я вырвалась и убѣжала,— прибѣжала домой запыхавшись, отдала вашей маменькѣ отвѣтъ съ какимъ-то альбомомъ, да и говорю ей: такъ и такъ, молъ, никогда вы меня туда не посылайте.

— А что такое? говоритъ. Ну, я и разсказала ей все, что было; а ваша мама поглядѣла на меня да и сказала: ну, дура же ты; я бы на твоемъ мѣстѣ согласилась, онъ же человѣкъ женатый—бояться нечего; можно быть и натурщицей честной дѣвушкой; а видно ты хорошо Богомъ создана; вѣдь не всякая, говоритъ, годна для этого, нужно, говоритъ, красоту имѣть... Ну вотъ, я и стала думать, честно это или нечестно? Такъ бы это все и прошло, еслибъ опять ваша маменька не вынесла этого альбома и не спросила: кого бы послать къ ***? Феня,—сказала она,—пошли хоть Ѳедота, да разскажи ему, куда пройти, да чтобы онъ руки вымылъ!—Я подумала, подумала, да и говорю ей:—я, сударыня, говорю, и сама схожу. — А что, говоритъ, если онъ опять будетъ приставать къ тебѣ? — Да пусть пристаетъ, говорю, не боюсь... Ну-съ... такъ и пошла опять. Такъ мало-помалу онъ и уговорилъ меня. Да что онъ,—я бы его не послушалась, а то пришла его жена, еще молодая женщина, и та стала меня уговаривать—и ужъ потомъ они хвалили меня, хвалили! Такъ я и стала натурщицей! человѣкъ онъ солидный, ничего дурного отъ меня не хотѣлъ, не обижалъ меня—я такъ и привыкла.

Послѣ этого разсказа, я, конечно, пересталъ винить ее; только спросилъ не безъ тайной ревности: — а что,

если бы Костя тебя позвалъ, неужели бы ты и къ нему пошла?

— Костя вашъ болтунъ — ни въ жизнь я не пойду къ нему! сказала она и вся вспыхнула.

И эта Феня непремѣнно бы заняла первое мѣсто въ моемъ воображеніи, и ничто бы не спасло меня, какъ барченка, отъ баловства и своевольнаго съ ней обращенія, еслибъ не встрѣча съ хорошенькой Вѣрочкой.

ГЛАВА XXXIX.

Эту Вѣрочку опять встрѣтилъ я на Невскомъ, и на этотъ разъ ея мамаша, Анна Филиповна Зайковская, уговорила Фреймана зайти къ нимъ въ гости. Мы зашли, и съ тѣхъ поръ я нѣсколько разъ бывалъ у нихъ. Передамъ впечатлѣнія, оставшіяся у меня въ памяти.

Дѣтская Вѣрочки была маленькая комнатка, одной только перегородкой отдѣленная отъ спальни ея матери, гдѣ часто слышался скрипучій голосъ Равинина. Комната эта заключала въ себѣ немалое количество всякаго рода игрушекъ: на стѣнѣ висѣлъ воланъ рядомъ съ раскрашеннымъ арлекиномъ изъ картонной бумаги, приводимымъ посредствомъ шнурка въ движеніе, то-есть дрягающимъ руками и ногами; въ одномъ углу сидѣли кукла разряженная и кукла раздѣтая, въ другомъ—лежалъ въ колыбели ребенокъ съ стекляными глазками, изъ-за него выглядывала усатая морда деревяннаго пуделя; на маленькомъ столикѣ стояли жестяная печь и миніатюрная кухонная посуда, а посреди всего игрушечнаго царства, рядомъ съ зеркальцемъ, на двухъ точеныхъ ножкахъ, передъ окномъ возвышалась клѣтка съ бѣлкой; это была единственная живая игрушка, двигающаяся безъ помощи пружинъ и нитокъ.

Самой Вѣрочкѣ было около 9 лѣтъ, и въ эти годы сама она была невообразимо-изящною, хорошенькою куколкой.

Когда я вошелъ къ ней, она сейчасъ же поцѣловала меня и сейчасъ же сѣла за свой маленькій туалетъ, взяла гребешекъ и стала причесывать свои растрепавшіеся локоны. Кокетливо любуясь на свое отраженіе въ зеркалѣ и щуря глазки, она продолжала болтать со мной.

— Ну! сказала она, соскакивая съ низенькой скамейки и бросая гребень,—ну-съ, чѣмъ мнѣ васъ угощать теперь?

— Ничѣмъ,—сказалъ я отрывисто.

— Нельзя, мама разбранитъ меня, если ничѣмъ не стану васъ угощать; хотите кофе?

— Нѣтъ-съ, покорно васъ благодарю.

— Ну, хотите котлету подъ соусомъ?—и говоря это, Вѣрочка схватила маленькую, оловянную кострюльку, раскрыла крышу и поднесла мнѣ три миндальныхъ орѣха, которые едва помѣщались на днѣ этой посудины!—Mangez ça, одну вы—я другую... ну, садитесь, будьте какъ дома... Вы кушайте, а мнѣ позвольте отправиться по хозяйству. Знаете, у хозяекъ всегда много хлопотъ, добавила она. Вамъ же не будетъ скучно: вотъ вамъ, рекомендую—Дарья Ивановна, госпожа Бѣлкина! обратилась она къ бѣлкѣ, усѣвшейся на заднія лапки.—Вотъ и вамъ котлетка, Дарья Ивановна, только, пожалуйста, займите гостя; если онъ будетъ скучать безъ меня, я буду на васъ въ большой, въ большой претензіи.

И Вѣрочка выбѣжала изъ комнаты, размахнувши своими русыми локонами.

Я остался одинъ съ бѣлкой, то-есть съ Дарьей Ивановной, но ей должно быть не понравилась моя физіономія,—она вскочила въ колесо и, воображая, что улепе-

тываетъ, стала быстро перебирать своими лапками; колесо закружилось вихремъ и зашумѣло.

Вошла Анна Филиповна, мамаша Вѣрочки. Эта бывшая актриса несомнѣнно была въ свое время кумиромъ молодежи. Ей и теперь казалось съ небольшимъ 23 года, тогда какъ, судя по лѣтамъ ея дочери, ей должно было быть никакъ не менѣе двадцати семи. Миловидная блондинка, съ высокой грудью и тонкой таліей, съ тонкимъ румянцемъ на щекахъ и прозрачными голубыми жилками на вискахъ, она сразу влекла къ себѣ. Темноголубые, почти синіе глаза ея глядѣли грустно и задумчиво, а улыбка не сходила съ губъ — такъ и порхала по всему лицу... Равининъ, человѣкъ, насмѣявшійся надъ множествомъ обманутыхъ имъ женщинъ, не даромъ же привыкъ къ ней такъ, что, не смотря на всю свою сухость и скаредность, не рѣшался разстаться съ ней; на этотъ разъ я слышалъ голосъ его, но не видалъ его.

— А гдѣ же моя дурочка? спросила мамаша.

— Не знаю-съ.

— А вы скучаете безъ вашей мамы?

— Да-съ, очень...

— Придетъ время—перестанете скучать, много воды утечетъ: вѣчно нельзя ни о чемъ плакать... поплачете, да и перестанете. Спасибо вашему гувернеру, что онъ позволилъ вамъ зайти къ намъ; онъ ушелъ куда-то, но сказалъ, что сейчасъ вернется...

— Я... и безъ него могу-съ...

— А моя дурочка съ ума по васъ сходитъ. Ей непремѣнно хотѣлось, чтобъ вы зашли къ намъ.

Въ это время вбѣжала Вѣрочка. — Гдѣ ты была? спросила мамаша.

— Такъ, бѣгала по хозяйству... и улыбнулась, глядя прямо въ глаза своей матери.

— Ну, играйте, играйте!..—И она вышла.

Я не дитя, чтобъ играть съ ней, подумалъ я и сказалъ: — я не люблю играть, даже куколъ терпѣть не могу.

— А что же вы дѣлаете?

— Какъ, что я дѣлаю? Читаю, пишу, рисую.

— А что же вы читаете? Священную исторію? А?

— Нѣтъ.

— А что же?

— Романы,—отвѣчалъ я не безъ гордости.

— А знаете: «Гусаръ, на саблю опираясь, въ глубокой горести стоялъ?»

— Нѣтъ... не знаю...

— А я знаю... А знаете вы загадки?

— Какія?...

— Какія-нибудь?

— Какія-нибудь—знаю. А вы, небось, отгадаете? Вѣдь вы не отгадаете...

— Ну, скажите... скажите... погляжу, какія у васъ такія загадки.

— Ну, что значитъ: четыре четырки, двѣ растопырки, седьмой вертунъ да два яхонта?

Вѣрочка расхохоталась, да такъ, что я сконфузился, какъ будто сдѣлалъ или сказалъ какую-нибудь непростительную глупость. Долго хохотала Вѣрочка, а чему—я рѣшительно понять не могъ, только краснѣлъ да глядѣлъ на нее.—Повторите-ка,—сказала она, утихая.

— Не хочу я повторять,—сказалъ я:—вы надо мной смѣетесь.

— Ну, а хотите я вамъ загадаю?

— Загадайте.

— Что значитъ—что-о-о-о зна-а-ачитъ,—протянула она, поглядывая на меня исподлобья, коварно улыбаясь и краснѣя:—что это значитъ: «Милый мой спитъ со мной, ходитъ въ траурѣ»? И затѣмъ, она опять захохотала, и

какъ бы волнуясь отъ тайнаго смущенія, прошлась по комнаткѣ.

Я сталъ думать... долго думалъ, и мнѣ казалось, я начиналъ понимать смущеніе Вѣрочки: «ходитъ въ траурѣ»—кто же это ходитъ въ траурѣ?—Я хожу въ траурѣ,—это она меня назвала «милый мой» — понимаю!... Но что значитъ: спитъ со мной? развѣ я сплю съ ней? О! это значитъ, что когда она спитъ, она обо мнѣ думаетъ... что безъ мысли обо мнѣ она и спать не ложится!.. Понимаю, — она этимъ просто хотѣла сказать, что влюблена въ меня.

Такъ размышлялъ я, краснѣя и волнуясь, и—о, хитрецъ! — въ то же время прикидывался ничего непонимающимъ, говорилъ, что такой загадки нѣтъ и никогда не было. Потомъ просилъ недѣлю на размышленіе, увѣрялъ, что когда я приду въ другой разъ, тогда я отгадаю...

— А когда вы придете въ другой разъ?

— Не знаю.

— Приходите завтра—завтра воскресенье.

— Можетъ быть...

— Нѣтъ, не хочу «можетъ быть...» а завтра, завтра, непремѣнно завтра...

На другой день, пройдясь съ Фрейманомъ по Невскому, я сказалъ ему:—ступайте куда нубудь, а я зайду къ Зайковскимъ—меня нынче звали—я обѣщалъ зайти. Вы послѣ за мной зайдите.

— Гм!... опять туда?... ну, gut.

— А отчего вы не хотите, чтобъ я одинъ шелъ, развѣ я маленькій?

— Это русскій такой глупый порядокъ,—отвѣчалъ онъ: — у насъ въ ваши года мальчики одни гуляютъ и одни въ школу ходятъ.

— Пустите—я одинъ пойду.

— Ну, gut.

Позвонилъ я къ Зайковскимъ. Горничная отворила мнѣ дверь, я снялъ шинель и спросилъ, дома ли Вѣрочка?

— Пройдите въ ея комнату, подождите; ея дома нѣтъ, сейчасъ придутъ...

Я вошелъ въ комнату Вѣрочки,—вижу—на небольшомъ сундучкѣ, блѣдно-желтый, въ зеленомъ халатѣ, сгорбившись и опустивши черешневый чубукъ, сидитъ Равининъ. Когда я вошелъ, онъ раскрылъ ротъ и, оглядѣвъ меня, спросилъ:—это ты звонилъ?

— Я-съ...

— Маланья! поди сюда...

Вошла та же горничная.

— Ты не была на лѣстницѣ?

— Была, Николай Николаевичъ!

— Никого тамъ нѣтъ?

— Никого-съ.

— Набей мнѣ трубку,—проскрипѣлъ онъ.—А ты что теперь дѣлаешь? обратился онъ ко мнѣ,—баклуши бьешь? Говори, какъ арестовали Кремнева?...—И, вытянувъ шею, Равининъ уставилъ на меня черные, испуганные глаза.

Я, какъ умѣлъ, разсказалъ ему все, что зналъ.

— А не знаешь ты, бумаги твоей матери опечатаны?

— Опечатаны.

— Полиція опечатала? Э?

— Полиція.

— Э!... А никакихъ бумагъ или писемъ матушка твоя не жгла—а?

Я молчалъ и потупился, боясь выдать то, что считалъ тайной. Я вспомнилъ, что Кремневъ не желалъ даже, чтобъ наши домашніе знали объ этихъ сожженныхъ письмахъ.

— Э! Что-жъ ты не отвѣчаешь?

Я молчалъ: онъ мнѣ въ лицо упиралъ глаза свои и, наконецъ, проговорилъ:—поди сюда.

Я подошелъ; онъ одной рукой тяжело охватилъ меня за шею и сказалъ:—скажи мнѣ на-ухо, жгла мать твоя бумаги или не жгла?

Лицо его при этомъ приняло свирѣпое выраженіе. Мнѣ даже показалось, что онъ собирается удавить меня. Я молчалъ.

— Что-жъ ты молчишь... глупый мальчишка! Я не шутя тебя спрашиваю... трусъ! Развѣ я не вижу, что ты что-то знаешь, или тебѣ не велѣно говорить?

— Не велѣно,—прошепталъ я ему на-ухо.

Лицо Равинина просіяло.—Гм! такъ она ихъ сожгла... ну, и никому не говори про это... Умная женщина мать твоя. А ты самъ видѣлъ? Э?

— Александръ Сидоровичъ при мнѣ...

— Что при тебѣ?... ну, говори, мальчикъ! — и онъ погладилъ меня по головѣ.

— Бросилъ въ печь какую-то связку,—сказалъ я.

— И много было тамъ писемъ?

— Не знаю.

— Ну, а какой величины была связка—эдакая... или эдакая?

— Вотъ эдакая,—отвѣчалъ я, раздвинувъ пальцы.

Вошла Маланья и принесла Равинину трубку. Онъ пересталъ глядѣть на меня и сталъ курить, замѣтно успокоенный. Но разговоръ этотъ далъ немалую пищу моей фантазіи и моимъ предположеніямъ...

Что касается до загадки... увы! въ этотъ же день къ вечеру разгадка положила конецъ всѣмъ моимъ мечтамъ и фантазіямъ: «Милый мой, спитъ со мной, ходитъ въ траурѣ»—значило: блоха!!

Это слово «блоха» было сказано Вѣрочкою шепотомъ,

на-ухо своей мамашѣ; но такъ-какъ шептать и въ то же время заливаться громкимъ смѣхомъ невозможно—шепотъ какъ-разъ получилъ какую-то особенную звучность, и чуткія уши мои какъ-разъ подслушали это милое словечко—«блоха».

— Я не зналъ, — сказалъ я полуобиженнымъ тономъ,—что это такая глупая загадка!

Пробывши съ Вѣрочкой до самаго вечера, любуясь ею въ сумерки, любуясь при свѣчахъ, любуясь на скамеечкѣ предъ пылающей печкой,—я не могъ въ нее не влюбиться, и не могъ потому, что ребяческое сердце мое было мягко и впечатлительно, какъ воскъ; нервы наэлектризованы, а голова полна грезъ и мечтаній, тѣхъ мечтаній, которыми полна беззаботная жизнь, романы, разсказы, намеки, жажда чего-то необычайнаго и молодая, рано ускоренная въ своемъ движеніи, кровь. Любовь эта опять приняла какой-то идеальный характеръ—и передъ яркой красотой Вѣрочки померкло свѣжее, пріятное, но все-таки простое лицо нашей Фени. Я пересталъ уже и подходить къ ней, особливо съ тѣхъ поръ, какъ однажды, за обѣдомъ у Зайковскихъ, Анна Филиповна сказала намъ: вы сидите—точно женихъ съ невѣстой. При этомъ, помню, Вѣрочка оглянулась на меня, какъ бы желая удостовѣриться, достаточно ли я хорошъ для того, чтобы быть женихомъ ея.

ГЛАВА XL.

Прошло шесть или семь недѣль...

Я сидѣлъ у себя въ комнатѣ и занимался, рисовалъ баканомъ пылающее сердце, пронзенное стрѣлами Амура. Мой нѣмецъ переписывалъ нѣмецкіе стихи для Луизы

Карловны. (Пользуясь тѣмъ, что я цѣлые дни сталъ проводить у Вѣрочки, онъ ходилъ къ Луизѣ въ Троицкій переулокъ, и ужъ я не знаю, просто ли питалъ къ ней дружеское расположеніе или также платилъ дань Амуру...).

И такъ, мы оба были серьезно заняты, какъ вдругъ отворилась дверь, и вошелъ низенькій старичекъ, съ красноватыми бугорками вмѣсто бровей, угреватый, сѣдой, плотно остриженный и съ тростью, которой набалдашникъ былъ усѣянъ каменьями: это былъ мой опекунъ Нарышкинъ.

Я смутился и всталъ передъ нимъ, не говоря ни слова.

Онъ поглядѣлъ на меня, замигалъ глазами и что-то сказалъ, но что такое — я не разслышалъ. Потомъ онъ подошелъ къ моему столику, взялъ въ руки рисунокъ съ пылающимъ сердцемъ, поглядѣлъ на него, положилъ опять на столъ, какъ вещь, на которую не стоитъ обращать вниманія, и по-французски спросилъ Фреймана: доволенъ ли онъ ученикомъ своимъ? Фрейманъ, ломанымъ французскимъ языкомъ, началъ довольно подробно докладывать ему о моихъ способностяхъ. Старичекъ помылъ свои руки, то-есть плотно потеръ ихъ одну о другую, и вышелъ.

Мысль о томъ, что этотъ человѣкъ можетъ мной распоряжаться, невольно пришла мнѣ въ голову. Я спряталъ «пылающее сердце» и съ легкой дрожью вышелъ въ залу. Въ залѣ, около буфета, стояли Логинъ и Семенъ.

— Я здѣсь не долго пробуду,—сказалъ старичекъ,— даже не знаю, точно ли покойная барыня назначила меня опекуномъ—не знаю. Я остановился въ гостиницѣ и ужъ далъ знать полиціи, чтобъ она сняла эти печати. Надо поглядѣть, есть ли завѣщаніе. А гдѣ этотъ... Кремневъ, который писалъ ко мнѣ?

Ему сказали, что Кремневъ арестованъ. Старичекъ какъ-будто удивился, но не сказалъ ни слова; потомъ оглянулъ мебель, зеркала, часы, старыя картины и прошепталъ:—куда эту дрянь дѣвать?...

Тутъ пришли наши женщины и дѣвицы; каждая изъ нихъ молча подходила къ его рукѣ, и онъ давалъ имъ цѣловать ее, какъ нѣчто для него самого священное. Судя по вытяжкѣ и по трепету, съ какимъ встрѣчали наши домашніе Никиту Ивановича, надо было предполагать, что уже до нихъ дошли слухи, что этотъ старикашка крутъ и шутить не любитъ. Вспомнилъ я, глядя на него, мое раннее дѣтство, вспомнилъ, какъ я тогда его боялся, и какъ, однажды, Равининъ подсылалъ меня къ нему и приказывалъ мнѣ сказать ему, что онъ—шпіонъ. Все это я вспомнилъ—и почему-то, глядя на его распоряженія, холодныя и въ то же время отличающіяся какою-то лаконической краткостью, видя, какъ онъ на всѣхъ зорко и пристально поглядываетъ своими маленькими сѣренькими глазками,—я начиналъ чего-то трусить.

— Не пріѣзжалъ Левъ Марковичъ? спросилъ онъ Логина.

— Никакъ нѣтъ-съ! отвѣчалъ ему Логинъ, заложа руку за пазуху.

— Кто велъ расходъ со дня кончины генеральши?

— Я-съ! отвѣчалъ Логинъ.

— Все это мнѣ въ свое время представить; теперь я ни во что не вмѣшиваюсь. Сережа! одиннадцать часовъ. Къ двѣнадцати мы будемъ съ тобой на кладбищѣ: сейчасъ одѣвайся и ѣдемъ служить панихиду. Часто ли ты по ней панихиду служилъ?

Я сказалъ, что два раза.

— Маловато; Богъ молитву любитъ; безъ молитвы и трава не растетъ.

И черезъ 10 минутъ я уже летѣлъ съ нимъ въ теп-

ломъ возкѣ къ загородному кладбищу, на могилу моей матери.

Тамъ, въ церкви, во время панихиды, я горько плакалъ; Нарышкинъ стоялъ на колѣняхъ, и стоялъ такъ, какъ-будто они были у него желѣзныя. Онъ не плакалъ, но, склонясь одной рукой на свою трость, твердо держалъ въ другой свѣчу, бормоталъ про себя молитвы, мигалъ и не обращалъ на меня вниманія, чего мнѣ очень хотѣлось... Мнѣ хотѣлось, чтобъ мое горе поселило въ немъ такое же ко мнѣ участіе, какъ и въ моихъ домашнихъ. Участіе — это въ своемъ родѣ баловство, къ которому мы привыкаемъ съ дѣтства и безъ котораго жить не можемъ, если только оно навсегда избаловало насъ. Безпрестанное участіе въ нашихъ невзгодахъ нерѣдко обезсиливаетъ характеръ нашъ, обезсиливаетъ въ такой же мѣрѣ, въ какой сочувствіе къ трудамъ нашимъ его поднимаетъ и укрѣпляетъ.

Наступили дни, описаніе которыхъ ни въ какомъ случаѣ не могло бы удасться мнѣ. Я самъ ничего не зналъ, что̀ дѣлается въ нашемъ домѣ.

Полиція отперла дверь кабинета и спальни моей матери; при этомъ былъ какой-то адъютантъ, какой-то господинъ въ дворянскомъ мундирѣ, какой-то чиновникъ... Отпирали ящики, записывали, составляли акты. Завѣщаніе было сдѣлано по формѣ и прочтено при всѣхъ нашихъ домашнихъ; но оно было очень коротко, то-есть не заключало въ себѣ никакихъ распоряженій ни насчетъ нашихъ домашнихъ, ни насчетъ вещей: всѣ распоряженія, а въ томъ числѣ и хлопоты по уплатѣ долговъ, сваливались на опекуна, то-есть Нарышкина. Завѣщаніе это было сдѣлано еще въ годъ смерти моего отца, и, вѣроятно, было сдѣлано съ мыслью, что жизнь еще длинна, и что есть еще время сдѣлать когда-нибудь другое завѣщаніе. Все же, что на словахъ поручила мать моя пе-

редать Нарышкину, погибло для меня и для многихъ, потому-что Кремневъ не могъ сообщить опекуну ея послѣднихъ желаній.

Аксюта позеленѣла, не услыхавши въ этомъ завѣщаніи своего имени. Другіе, въ особенности Логинъ, по-видимому были покойны.

Денегъ между бумагами покойной было найдено только 217 рублей, съ надписью: «за квартиру». Логинъ сообщилъ, что за похороны расплачивался Кремневъ, и что на дальнѣйшіе расходы онъ получилъ отъ него же 424 рубля ассигнаціями, въ ту самую минуту, когда тотъ выходилъ изъ передней, чтобъ уѣхать, — что деньги эти были отданы ему при свидѣтеляхъ, что онъ тотчасъ же ихъ счелъ и записалъ.

Нарышкинъ взялъ изъ гражданской палаты какого-то чиновника и занялся съ нимъ моими дѣлами. Онъ каждое утро, около 12 часовъ, пріѣзжалъ къ намъ въ домъ, призывалъ по-очереди людей нашихъ и, къ концу-концовъ, были сдѣланы имъ слѣдующія распоряженія:

Квартиру сдать; ненужную мебель продать; кучера, повара, поваренка и всю мужскую прислугу отпустить на оброкъ и дать имъ паспорты. Бабъ и дѣвокъ перевести въ деревню, въ томъ числѣ и Аксюту. Логину поручить поправку нашей маленькой дачи, что̀ на Петергофской дорогѣ, и на этой дачѣ поселить его вмѣстѣ съ женой (дочери его, какъ вольныя, могутъ жить, гдѣ хотятъ). Я долженъ также на нѣкоторое время ѣхать въ деревню къ Нарышкину и жить тамъ подъ его надзоромъ.

Фрейману были отданы деньги за два мѣсяца, и ему было сказано, что если онъ пожелаетъ, то можетъ также ѣхать въ деревню, и что на дорогу ему будутъ выданы деньги: Фрейману жаль было покинуть Питеръ, ему не

хотѣлось ѣхать, и ничего рѣшительнаго онъ не сказалъ Нарышкину, то-есть сказалъ, что подумаетъ.

Кредиторовъ моей матери опекунъ мой принималъ у себя въ гостиницѣ и со многими изъ нихъ расплачивался: видно, онъ зналъ, что у матери моей не осталось денегъ, и пріѣхалъ съ деньгами.

И такъ, въ судьбѣ моей, въ судьбѣ всѣхъ меня окружающихъ совершался переворотъ. Для меня все это было неожиданно. Я мечталъ... о чемъ я не мечталъ?— и о томъ, что я буду великимъ художникомъ, и о томъ, что я женюсь на Вѣрочкѣ, и о томъ, что спасу Россію отъ какой-нибудь гибели, и о томъ, что рабовъ у меня не будетъ, и что я сдѣлаюсь писателемъ не хуже Карамзина... однимъ словомъ, мечталъ обо всемъ, кромѣ жизни въ деревнѣ, подъ надзоромъ старика, уже почему-то для меня въ высшей степени непріятнаго. Даже днемъ я бросался на свою постель, и уткнувши голову въ подушки, думалъ: — какъ это я разстанусь съ Вѣрочкой, съ Феней, съ Логиномъ, со всѣми, къ кому я привыкъ, какъ это я буду жить въ деревнѣ — и что такое деревня?... Господи, Господи! что такое будетъ? Не сказать ли этому Никитѣ Ивановичу:—не хочу, не хочу, да и баста, дѣлайте со мной, что хотите... Не станетъ же онъ меня бить за это? А что, если онъ станетъ бить меня?!...

Начались толки у насъ въ кухнѣ, въ дѣвичьей, въ передней.

Одно утѣшало нашу дворню: Нарышкинъ оказался щедрымъ. Отложивъ въ сторону мѣха, подушки, кружева, золотыя вещи, каменья и образа моей матери, велѣлъ ихъ укладывать, а весь остальной гардеробъ — платье, бѣлье и обувь отдалъ нашимъ женщинамъ. — Эти тряпки, сказалъ онъ, вы можете себѣ взять, а дѣлежъ — это ужъ не мое дѣло, а ваше. И начался дѣ-

лежъ, то-есть споры, ссоры, упреки и взаимныя нареканія. Даже Аграфена, какъ моя бывшая няня, пришла и пожелала себѣ части. Всякій разъ, когда Нарышкинъ садился въ возокъ и уѣзжалъ, поднимался содомъ у насъ; изъ меня хотѣли сдѣлать нѣчто въ родѣ судьи, но эта роль не удавалась мнѣ, и я не зналъ, что мнѣ дѣлать. Аксюта увѣряла, что лиловое атласное платье было ей обѣщано еще моей покойной матерью. Феня увѣряла, что такъ-какъ Аксюта взяла себѣ самое лучшее платье пропавшей Юлиньки, то и можетъ ей уступить это лиловое. Аксюта говорила: «ты вольная, тебѣ ничего не нужно, — дай мнѣ волю — я ничего не возьму»; ей возражали, что шелковое платье не нужно ей будетъ въ деревнѣ. — «Ну, такъ я продамъ его, дряни вы эдакія, а если не продамъ, такъ изорву—лишь бы не вамъ!»

Однимъ словомъ, дѣлежъ этотъ перессорилъ всѣхъ моихъ домашнихъ, и въ этомъ настроеніи духа, наши люди по цѣлымъ днямъ не только не обращали на меня вниманія, а забывали во-время ставить самоваръ или готовить что-нибудь къ завтраку. Я увѣренъ, что въ это время были и такіе, которые крали, т. е. прятали къ себѣ все, что попадалось на глаза и что можно было спрятать. Стройная жизнь превратилась въ хаосъ, и, среди этого хаоса, одинъ только мой Фрейманъ преспокойно писалъ свои письма и покуривалъ свою трубочку. Разъ ему забыли подать кофе, онъ послалъ меня спросить, будетъ ли ему кофе; мнѣ отвѣчали, что былъ да вышелъ, купили да еще не изжарили и не смололи. Фрейманъ одѣлся и пошелъ въ кандитерскую къ знакомому нѣмцу кофе пить. Онъ понималъ, что все идетъ врозь, и что онъ самъ не знаетъ, на что ему рѣшиться и гдѣ онъ будетъ; но онъ былъ философъ — ему было все равно.

Въ одну изъ такихъ непріятныхъ минутъ явилась къ

намъ княгиня Малыгина. Нетвердой поступью, но бодро держа свою голову, она вошла къ намъ въ залу, и, запыхавшись, объявила, что желаетъ со мной видѣться. Я выщелъ; она обняла меня, стала цѣловать, ахать, охать, разспрашивать и, наконецъ, вздумала немедленно везти насъ къ себѣ обѣдать (меня и Фреймана). Мы, какъ ни отговаривались, никакъ не могли отговориться — и поѣхали.

Княгиня ухаживала за мной, даже уговаривала меня не ѣхать въ деревню—остаться у нея въ домѣ.—«Велю тебѣ, mon cher, приготовить комнату, говорила она, и будешь ты жить у меня, какъ сынокъ родной; право, скажи-ка это своему опекуну, зачѣмъ тебѣ ѣхать, и ѣхать въ глушь! Вотъ я не одинъ десятокъ на свѣтѣ живу, а никогда въ деревнѣ жить не могла... Нѣтъ, дитя мое, кабы ты у меня жить остался, я бы повезла тебя за-границу, душа моя, и чудесно бы ты прокатился со мной.»

Видно, княгиня эта рѣшительно не знала, чѣмъ наполнить жизнь свою; у ней очевидно сердце было любвеобильное, но непостоянное и взбалмошное, такое же, какъ и голова ея .Не смотря на ея 60 лѣтъ, ей, вѣроятно, нравился не характеръ мой, и не мое сиротство возбуждало въ ней сожалѣніе, а просто нравились ей мои каріе глаза, которые даже баронесса Бафель нашла блестящими. Покинутая и даже во всѣхъ отношеніяхъ обманутая и осмѣянная своимъ юнымъ мужемъ, она была огорчена и разстроена, не догадываясь, на сколько были смѣшны ея претензіи на красоту и страсти. Въ молодости избалованная свѣтомъ и отвергнутая имъ въ старости, она не довольствовалась воспоминаніями, ей хотѣлось безпрестанно, если не самой влюбляться и дѣйствовать, такъ, по-крайней-мѣрѣ, видѣть влюбленныхъ, принимать въ нихъ участіе, играть роль въ какомъ-нибудь

сватовствѣ, скандалѣ и проч. и проч. Однимъ словомъ, не унималась эта скучающая, суевѣрная, на французскихъ мемуарахъ XVIII столѣтія воспитанная натура. Зизи не могла удовлетворять ея. Не красавица и религіозная до фанатизма, скрытная не по лѣтамъ и холодно-насмѣшливая, къ тому же убѣжденная, что княгиня родная мать ея, и оскорбляемая названіемъ воспитанницы, Зизи не могла не потерять ея расположенія, мало того— ея присутствіе для княгини было чѣмъ-то въ родѣ божескаго наказанія: несомнѣнно, что между ними были частыя сцены, и что эти сцены ставили княгиню въ непріятное положеніе.

Послѣ обѣда Зизи сѣла за клавикорды и стала пѣть «Stabat mater». У ней былъ контральтъ, она пѣла недурно, на церковный манеръ, но пѣла съ чувствомъ, мягко, какъ бы кого благословляя; опускала она свои руки на клавиши и поднимала глаза свои, какъ бы созерцая какое-то мимо нея проносящееся видѣніе. Была ли это аффектація, или это было искренно—не знаю.

— Ахъ! Юлія когда-то любила этотъ гимнъ,—сказала она, окончивши свое пѣніе.

— Юлія сама бы пѣла недурно, еслибъ училась, — замѣтила княгиня.

Тутъ я разсказалъ имъ, какъ я былъ у сумасшедшаго Ильина, и передалъ все, что онъ говорилъ намъ о Юлинькѣ.

Зизи вся превратилась въ слухъ, и, когда я кончилъ, воскликнула:

— Ну что! Вѣдь я сказала, что она жива! и что голосъ свыше не обманулъ меня!...

— Да... но вѣдь онъ безумный,—замѣтила княгиня,— ему это могло померещиться.

— О! сказала Зизи, — безумные часто ближе къ истинѣ.

— Несогласна,—возразила княгиня:—юродивые—да... но не безумные.

— А что такое юродивые? спросила Зизи и вытянула свои губы въ саркастическую улыбку.

— Ты этого, мать моя, не знаешь, — твои патеры люди ученые—и, можетъ быть, люди очень умные; но о нашихъ юродивыхъ не имѣютъ никакого понятія... никакого, мать моя, никакого понятія! лучше не спорь.

И Зизи не спорила, но съ такимъ презрѣніемъ поглядѣла на свою мама, что лучше бы спорила.

Потомъ разговоръ пошелъ о Кремневѣ. Княгиня была въ страшномъ недоумѣніи, за что это могли взять его.— А впрочемъ,—добавила она,—по-дѣломъ ему! и утвердительно кивнула головой.

Зизи, напротивъ, не утерпѣла и сказала мнѣ: — ахъ, какая досада! какая досада! мнѣ хотѣлось непремѣнно его видѣть, мнѣ нужно непремѣнно поговорить съ нимъ; авось его скоро выпустятъ.

— Ну, ужъ врядъ ли, — сказала княгиня, — кто попался, того не выпустятъ.

Затѣмъ у княгини явилась фантазія заставить всѣхъ насъ говорить по-нѣмецки. Зизи на этотъ разъ съ ней не спорила и стала по-нѣмецки разспрашивать моего Фреймана, давно ли онъ знаетъ Кремнева и что онъ объ немъ думаетъ.

— Какъ вы думаете,—спросили княгиня Фреймана,— дурно или хорошо Зизи говоритъ по-нѣмецки.

— Она говоритъ недурно, — отвѣчалъ ей Фрейманъ.

— А все-таки Сережа говоритъ лучше, чѣмъ она.

Наконецъ, обласкавши меня и закормивши меня конфектами, княгиня на прощанье подарила мнѣ великолѣпную фарфоровую чернильницу и отпустила насъ. Признаюсь, я уѣхалъ домой съ большимъ удовольствіемъ, такъ мнѣ было какъ-то неловко въ гостиной княгини.

То ли дѣло въ маленькой комнаткѣ за перегородкой у граціозно-шаловливой хохотушки Вѣрочки!

ГЛАВА XLI.

Но пришла пора, я долженъ былъ разстаться со всѣмъ, что было дорого мнѣ, какъ ребенку. Я помню, какая лихорадка была въ душѣ моей и какое томно-блѣдное личико отражалось въ тѣхъ зеркалахъ, которыя стояли, прислонясь уже къ пустымъ стѣнамъ, и ожидали покупщиковъ своихъ. Помню, когда дюжія руки поднимали ихъ и уносили; въ послѣдній разъ мелькнуло и покачнулось въ нихъ мое отраженіе. Часть нашей мебели, и въ томъ числѣ двуспальную кровать моей матери, купилъ часовщикъ, мужъ Саши, иначе сказать, зять нашего Логина. Помню, какъ опустѣла наша квартира, *дворянское гнѣздо мое*, и какой безпорядокъ былъ во всѣхъ комнатахъ, начиная съ передней и кончая дѣвичьей. Кажется, опекунъ мой рѣшился продать всѣ наши громоздскія вещи, для того, чтобы, уплативъ по какому-то просроченному векселю, не допустить кредитора до взысканія, то-есть до продажи съ аукціона всего нашего движимаго имущества. Говорю, кажется, потому что, помню, рѣчь шла о какомъ-то просроченномъ векселѣ и о томъ, что пока я выросту — воды много утечетъ, и тогда я могу завести мебель по своему собственному вкусу и выбору.

Нарышкинъ не отдавалъ отчета въ своихъ распоряженіяхъ. Онъ стоялъ въ лучшей петербургской гостиницѣ и занималъ лучшій нумеръ въ три комнаты съ коврами и канделябрами. Вставалъ онъ съ постели по-деревенски, около 7 часовъ утра, иногда еще раньше, при свѣчахъ. Яковъ, его камердинеръ, подавалъ ему умы-

ваться, потомъ приносилъ самоваръ, заваривалъ чай, шелъ за хлѣбомъ и во все это время не произносилъ ни одного слова—баринъ не любилъ разговаривать. Никита Ивановичъ, пока варился чай, въ шелковомъ китайскомъ халатѣ становился на колѣни передъ образомъ и молился, ни на кого не обращая ни малѣйшаго вниманія. Пока онъ пилъ чай, Яковъ чистилъ его платье; пока Яковъ чистилъ платье, въ переднюю собиралась цѣлая толпа мужиковъ и мастеровыхъ, крѣпостныхъ его барина, находившихся въ то время въ столицѣ, кто съ просьбой, кто съ оброкомъ, кто за паспортомъ, кто съ жалобой на полицію, а кто съ поклономъ, и даже какимъ-нибудь приношеніемъ. Послѣ чаю начиналась аудіенція, но Нарышкинъ и при этомъ не пускался ни въ какіе разговоры. Помню, разъ при мнѣ какой-то мужиченко косноязычный, должно быть, штукатуръ, потому-что смурый кафтанишко и даже лицо его были забрызганы известью, много и долго что-то толковалъ Никитѣ Ивановичу. Долго слушалъ его опекунъ мой съ невозмутимымъ спокойствіемъ, вдругъ покраснѣлъ, схватилъ его за бороду и ну ее трепать. Мужиченко повалился на колѣни и сталъ за эту трепку лобызать руки своему барину. Я убѣжалъ въ сѣни съ ноющимъ чувствомъ въ груди:—я еще никогда до того времени не видалъ, какъ треплютъ бороды. Мужиченко вышелъ въ переднюю и грязнымъ комкомъ не-то платка, не-то тряпки сталъ вытирать сморщенные глаза свои. Яковъ, камердинеръ, на этотъ разъ развязалъ языкъ свой и сталъ укорять его, продолжая шмыгать щеткой.—Дай вамъ волю-то,—ворчалъ онъ,—вы и Бога то забудете... Шутка сказать, третій годъ шляешься, оброку внести не можешь! Вамъ бы тутъ все пьянствовать, да по трактирамъ чаи распивать!

И гладко выбритое, еще молодое, но уже сурово халуйское лицо Якова принимало при этомъ совершенно

барское выраженіе. Этотъ Яковъ и на меня какъ-то непріятно дѣйствовалъ, онъ и со мной обращался какъ-то молча, и какъ будто внушалъ мнѣ: вы, дескать, баринъ, и вамъ-де болтать со мной не приходится.

Все это я помню, потому-что послѣдніе дни мои въ Петербургѣ проводилъ я въ той же самой гостиницѣ, въ какой-то длинной и узенькой комнатѣ съ однимъ окномъ и спалъ на диванѣ. Чемоданы мои были уже уложены. За день или за два до масляницы назначенъ былъ часъ нашего отъѣзда. Фрейманъ переѣхалъ куда-то на квартиру и только по утрамъ часа на два, на три сталъ заходить ко мнѣ. Мнѣ хотѣлось проститься съ Десартомъ— даже онъ сталъ дорогъ моему сердцу; Десартъ былъ боленъ, у него была горячка, и онъ былъ при-смерти: видно, что потеря Юлиньки не прошла для него даромъ. Итакъ, если даже этотъ, когда-то ненавистный мнѣ старикъ, Десартъ, сталъ мнѣ милъ и дорогъ, можете вообразить, какъ дорога и мила мнѣ стала Вѣрочка, какъ тяжело мнѣ было разстаться съ этой хорошенькой и ласково-веселой дѣвочкой!

— Позвольте мнѣ сходить проститься съ Зайковскими,—сказалъ я Никитѣ Ивановичу часу въ седьмомъ вечера, послѣ того какъ, напившись чаю, онъ сѣлъ за письменный столъ и сталъ что-то переписывать.

— У твоей матери, — отвѣчалъ онъ, подумавши, не было никакихъ Зайковскихъ въ числѣ ея знакомыхъ.

— Это мои знакомые.

— Кто жъ тебя съ ними познакомилъ?

— Кто меня съ ними познакомилъ? Кажется... Равининъ.

— Этотъ Асмодей, прости Господи, если и познакомилъ тебя, такъ не къ добру.

— Не знаю, къ добру ли, только я очень люблю Зайковскихъ, онѣ добрыя...

— Ну, ступай, ступай, если добрыя! торопливо и какъ бы сердясь отвѣчалъ онъ. Ходя около его локтя, я очевидно мѣшалъ ему; онъ, кажется, былъ очень доволенъ, что въ этотъ вечеръ я не буду торчать у него подъ носомъ, и отпустилъ меня.

Былъ безоблачный, ясно-морозный вечеръ, когда одинъ, безъ проводника, очутился я на Невскомъ. Тамъ, на углу Морской, остановился я—и сталъ мысленно прощаться со всѣми мимо-проѣзжающими и мимо-проходящими. Да, я прощался въ эту минуту и съ этими темными, круто поворачивающими экипажами, и съ этими фонарями, и съ этими золотомъ сверкающими вывѣсками, и съ этими тѣнями, которыя, какъ въ калейдоскопѣ, расли, сокращащались и перепутывались на утоптанномъ снѣгу, между колесъ, лошадиныхъ ногъ, тротуарныхъ тумбъ и пѣшеходовъ, перегоняющихъ салопы и платки, которыми горничныя спѣшили накрывать свои головы. Эти безпрестанно двигающіяся тѣни были безпрестанно движущимися гіероглифами. И было бы такъ же трудно понять ихъ, какъ трудно понять смыслъ въ коловоротѣ столичной жизни; но я и не хлопоталъ о какомъ бы то ни было пониманіи,—напротивъ, какъ кажется, я никогда еще не былъ такъ далекъ отъ какого бы то ни было сознательнаго пониманія. Мнѣ просто было грустно: такъ, быть можетъ, безсознательно грустно молодому деревцу, которое вытаскиваютъ изъ земли съ корнемъ, съ тѣмъ, чтобы пересадить его куда-то въ незнакомое мѣсто—туда, куда вздумается людямъ перетащить его.

Настоявшись на одномъ мѣстѣ и наглядѣвшись на водоворотъ столичной жизни, сначала тихими, потомъ торопливыми шагами пошелъ я по Невскому и отъ Казанскаго собора повернулъ направо. Нашелъ знакомый подъѣздъ, взбѣжалъ въ третій этажъ и позвонилъ.

Я мечталъ, какъ этотъ вечеръ вдвоемъ проведемъ

мы съ Вѣрочкой, какъ я скажу ей, что я ее люблю, и какъ я поклянусь ей ни на комъ, кромѣ ея, не жениться — ни на комъ, ни на комъ! Я мечталъ, какъ обоимъ намъ будетъ грустно—какъ Вѣрочка будетъ плакать и цѣловать меня. Я мечталъ такъ, какъ мечтаютъ всѣ влюбчивые мальчики на 14-мъ году отъ рожденія.

Но не удался мнѣ этотъ вечеръ, этотъ прощальный, послѣдній мой вечеръ въ Питерѣ! Случилось то, чего я никакъ не предвидѣлъ.

Я засталъ Вѣрочку съ ея мамашей въ салопахъ, въ теплыхъ сапожкахъ и въ капорахъ. Онѣ уѣзжали—ихъ ждала уже у крыльца карета, которой я и не замѣтилъ, такъ я былъ разсѣянъ и такъ мнѣ было грустно.

— Куда это вы? спросилъ я ихъ, съ отчаяніемъ въ голосѣ, и вотъ узнаю, что онѣ ѣдутъ къ нашему доктору, Ивану Павловичу, что у доктора этого дѣтскій вечеръ, по случаю именинъ его старшей дочери, сговоренной за какого-то аптекаря. Какимъ образомъ супруга Ивана Павловича рѣшилась принять у себя бывшую актрису и теперь женщину содержанку,—это для меня покрыто мракомъ неизвѣстности. Она была паціенткой ея супруга, и очень можетъ быть, что Иванъ Павловичъ самъ не зналъ, кто она, что́ она, и просто, какъ великій знатокъ въ дѣтяхъ, захотѣлъ по баловать себя — Вѣрочкой, поглядѣть, какъ будетъ передъ нимъ танцовать и прыгать эта миловидная куколка. Ея же мамаша, по виду своему и манерамъ, была дама въ высшей степени приличная.

— Если вы знакомы съ Иваномъ Павловичемъ—онъ будетъ очень радъ, садитесь съ нами и поѣзжайте... Такъ-таки просто садитесь и поѣзжайте.

Такъ рѣшила мамаша Вѣрочки. Я, разумѣется, не спорилъ—мнѣ было все равно, куда бы ни ѣхать, лишь бы въ этотъ вечеръ не разставаться съ Вѣрочкой. У

мадамъ Зайковской былъ вѣроятно и разсчетъ взять меня съ собой: она ѣхала въ домъ въ первый разъ, и явиться съ сыномъ мадамъ Чалыгиной, той самой, которая слыла аристократкой и о которой она такъ много слыхала отъ Ивана Павловича, было ей съ руки. Это могло ее самое поднять въ глазахъ хозяйки дома, какъ намекъ на ея знакомство съ моей матерью.

— Куда хотите везите меня,—говорилъ я,—куда хотите!

Сѣли мы въ двумѣстную карету. Вѣрочка помѣстилась между мной и своей мамашей. Поѣхали.

Боже мой! неужели тотъ мальчикъ—и я, пишущій эти строки,—одно и то же лицо? Что же между нами общаго? Что общаго между изсякнувшимъ мутнымъ потокомъ и тѣми жемчужными струями, которыми спадалъ онъ съ высоты и пробирался на просторъ въ долину!?... Одно общее—это—русло. Отнимите у этого русла память, и оно забудетъ, какія волны скользили по его зыбучей поверхности, и на сколько ихъ теченіе видоизмѣняло берега его.

Петербургскія улицы не безъ ухабовъ. Эти ухабы я теперь проклинаю; но тогда, по милости этихъ ухабовъ, сильно раскачивался кузовъ кареты, и Вѣрочка хваталась за мою руку. Я крѣпко сжималъ, тихонько отъ мамаши цѣловалъ ручёнку Вѣрочки и блаженствовалъ.

Наконецъ мы пріѣхали и вошли въ переднюю. Я оробѣлъ — сразу можно было понять, что народу видимо-невидимо. Шубъ и салоповъ были цѣлыя горы; ливрейные аргусы стерегли ихъ. Въ залѣ слышался визгъ смычка, шумъ и говоръ. Не успѣлъ я снять шинельки, какъ изъ залы высунулась вопросительная физіономія Ивана Павловича. Этотъ безвредный докторъ, этотъ добродушный папенька, по обыкновенію, прежде всего устре-

милъ въ переднюю свирѣпые взгляды, и уже вслѣдъ за этими взглядами рѣшился подарить насъ своей улыбкой.

— А знаете, кого мы привезли къ вамъ? Надѣюсь, вы не въ претензіи,—сказала ему Зайковская, улыбаясь и поправляя рукой свои локоны.

— Кого?... Ага, братъ! молодецъ!... Но, поглядѣвши на меня, безвредный докторъ выразилъ недоумѣніе: жена его была суевѣрна; а я, — вообразите, и въ день рожденія его дочери пріѣхалъ — въ траурной курточкѣ!— Ага, братъ! повторилъ докторъ и уставилъ на меня глаза свои.

Мамаша Вѣрочки, кажется, также поняла всю неприличность моего костюма; но я, наивная душа, я ничего не понялъ. Не смотря на все желаніе мое корчить свѣтскаго молодого человѣка, я, извѣстно вамъ, отъ природы былъ довольно дикъ и застѣнчивъ при встрѣчѣ съ незнакомыми; — вообразите же, что было со мной, когда этихъ незнакомыхъ я нашелъ чуть ли не цѣлую сотню. Биткомъ была набита зала; но все больше были дѣти, мальчики да дѣвочки всевозможныхъ породъ и возрастовъ. Потряхивая своей головкой, присѣдая и кланяясь, съ пылающими щечками, прошла Вѣрочка въ гостиную. Нагнувши на бокъ свою широкую, лоснящуюся голову, скося глаза и помавая бровями, туда повелъ ее за руку самъ почтенный хозяинъ вечера — самъ Иванъ Павловичъ. Я, сконфуженный, остался въ залѣ, нашелъ въ углу стулъ, завладѣлъ имъ, усѣлся и—ни съ мѣста...

Не прошло десяти минутъ, какъ двѣ скрипки и віолончель заиграли снова ритурнель кадрили, и танцующія дѣти, вмѣстѣ съ взрослыми, стали устанавливаться парами. За кадрилью послѣдовалъ экосезъ, за экосезомъ—вальсъ, потомъ гросфатеръ — шумный, топотливый, оглашаемый дѣтскимъ смѣхомъ и говоромъ. Нескончаемо-долго тянулся для меня этотъ вечеръ, и чего-чего только въ эти

часы я не передумалъ! Я то ревновалъ Вѣрочку, когда она любезничала съ какимъ-нибудь кавалеромъ,—то любовался ею, и былъ совершенно счастливъ, когда она, проходя мимо меня, тащила меня на середину и звала меня танцовать, а я отнѣкивался, увѣрялъ, что танцовать не умѣю,—то радъ былъ, что пріѣхалъ, потому что лакомые подносы не даромъ же проходили мимо меня: они, какъ магнитъ, притягивали къ себѣ всю пятерню мою, и мнѣ пріятно было при свѣтѣ лампъ читать конфектные билетики. Эта конфектная поэзія какъ-нельзя лучше отвѣчала настроенію души моей: то я воображалъ себя совершенно одинокимъ и всѣми забытымъ, то считалъ себя незванымъ гостемъ, и краснѣлъ отъ стыда, то поглядывалъ на дверь, ведущую въ гостиную, и видѣлъ тамъ супругу Ивана Павловича съ большими темномалиновыми бантами на чепцѣ, изъ-подъ оборокъ котораго мелькали маленькіе безцвѣтные глазки и, наконецъ, лоснилось все лицо ея, расплывающееся въ какую-то приторно-сладкую улыбку, — и все казалось мнѣ, что улыбка эта переходила въ какую-то плаксивую гримасу, когда ея глазки замѣчали въ углу мальчика въ траурѣ, то-есть мою особу. Самъ Иванъ Павловичъ (надо отдать ему эту справедливость) не только подходилъ ко мнѣ, но еще сунулъ мнѣ въ руку какую-то грушу, необыкновенно сочную и душистую. Потомъ, когда я съѣлъ ее, онъ сурово спросилъ: не болитъ ли у меня желудокъ? и сказалъ, что, въ случаѣ надобности, я могу пройти черезъ коридоръ въ комнату Люлиньки, на этотъ разъ превращенную въ госпиталь для временно заболѣвающихъ.

Дѣти, особливо мальчики, сначала не обращали на меня вниманія; но когда я у одного изъ нихъ перехватилъ конфекту, имѣвшую видъ колчана съ золотыми стрѣлами,—на меня стали устремляться то насмѣшливые, то явно недоброжелательные взгляды. Особливо одному бѣло-

курому гимназисту, сутулому и притомъ завитому, я очевидно внушилъ какое-то подозрѣніе. Онъ даже разъ подкрался къ моему карману и, замѣтивъ торчавшій изъ него кончикъ платка, вдругъ потянулъ его. Хорошо еще, что я успѣлъ во-время схватить его за руку, поглядѣть на него сверкающими глазами и сказать: — ступай на улицу платки-то изъ кармановъ вытаскивать!

Но этимъ не кончилась исторія. Насъ позвали ужинать. Столъ для дѣтей былъ накрытъ въ спальнѣ хозяйки; кровать ея была отгорожена ширмами; около этихъ ширмъ стоялъ диванчикъ. Когда я вошелъ въ эту комнату, я сталъ слѣдить за Вѣрочкой, и только что она сѣла за столъ, я шмыгнулъ, какъ кошка, и какъ ни въ чемъ не бывало, усѣлся съ нею рядышкомъ. Вѣрочка, по-видимому, не обратила на это никакого вниманія; но гимназистъ обратилъ.

Во время ужина, онъ безпрестанно шалилъ и дурачился—вскакивалъ съ мѣста, просилъ лакеевъ налить ему бокалъ настоящаго шампанскаго (у насъ же на столѣ былъ медъ, а не шампанское) и дразнилъ насъ тѣмъ, что онъ пьетъ вино, а не медъ. Дѣвочки, глядя на него, хохотали; няньки, стоя за ихъ стульями, уговаривали ихъ кушать и пустякамъ не смѣяться. Я сидѣлъ возлѣ Вѣрочки такъ смирно и тихо, что не смѣлъ не только ѣсть или пить, не смѣлъ прямо глядѣть ей въ лицо: ноющее чувство страсти сдѣлало меня совершеннымъ дуракомъ, и, какъ, дуракъ я былъ счастливъ тѣмъ, что нѣсколько складокъ ея воздушнаго кисейнаго платьица прилегло къ ногѣ моей. Я покраснѣлъ, когда она задѣла меня локтемъ, и поблѣднѣлъ, когда она прищурила свои глазки и какому-то мальчугану погрозила своимъ пальчикомъ. Вообще, я былъ похожъ на человѣка, страдающаго угрызеніями совѣсти и ежеминутно боящагося, что окружающія уличатъ его въ преступленіи. Вспомните, что весь вечеръ

занимая послѣднее мѣсто — я теперь сидѣлъ на виду, такъ-сказать, на самомъ первомъ мѣстѣ, и въ моей траурной курточкѣ безпрестанно попадался на глаза суевѣрной хозяйкѣ, которая разъ десять ходила за ширмы, звенѣла ключами, выдвигала ящики, шарила, душила себя одеколономъ и уходила... Выпивши бокалъ настоящаго шампанскаго, гимназистъ сталъ еще развязнѣе и сталъ понемногу приставать ко мнѣ. Я долго отмалчивался, наконецъ, онъ назвалъ меня *черной пиголицей*, и такъ неожиданно-смѣшно назвалъ, что всѣ дѣвочки, даже моя Вѣрочка, залились неудержимымъ смѣхомъ.

Я вышелъ изъ терпѣнія, хотѣлъ засмѣяться и отплатить ему тоже какимъ-нибудь прозвищемъ; но видно языкъ мой отказался произнести пошлѣйшее слово, которое пришло мнѣ на умъ; я привсталъ въ мѣста—и поднялъ кулакъ. Только что я поднялъ кулакъ, поднялся страшный гвалтъ. Сколько ни было нянекъ, всѣ въ одинъ голосъ заахали, заголосили: ай, ай, ай! драться! на драку лѣзть за столомъ-то, за трапезой-то Божіей! Ай, срамъ какой! а еще баринъ! добро бы еще махонькой!!!

Я сѣлъ пристыженный и униженный. Мальчики всѣ до единаго приняли сторону моего врага и явно готовились послѣ ужина сотворить со мной какую-то штуку.

Вѣрочка также какъ будто осудила поступокъ мой, сказавши: «вы чуть-чуть не задѣли меня по носу...» Мнѣ хотѣлось плакать. Но, къ счастью, загремѣли въ гостиной стулья, а, вслѣдъ за этимъ, поднялась и наша компанія; я проскользнулъ между большими, черезъ залу пробрался въ переднюю, оглядѣлся и спрятался за вѣшалкой, за стѣною шубъ и салоповъ: тамъ прижался я въ темный уголокъ и горько заплакалъ.

Весь этотъ разсказъ, скажутъ мнѣ, годится въ дѣтскую книжку; но... въ продолженіе жизни моей, между большими я встрѣчалъ точно такихъ же дѣтей, такихъ

же завистниковъ, такихъ же ахающихъ нянюшекъ, такихъ же любителей затѣвать разныя штуки и приставать къ партіи наиболѣе дерзкаго или наглаго; даже мысли, которыя въ это время ворочались у меня въ мозгу, эти дѣтскія мысли не разъ впослѣдствіи приходили мнѣ въ голову, и всѣ онѣ сводятся на одну и ту же дѣтскую жалобу: что я имъ сдѣлалъ? за что они на меня напали? за что вдругъ, ни съ того, ни съ сего, возненавидѣли?...

Такъ иногда разсуждаетъ и чиновникъ, котораго обижаютъ взрослыя дѣти, то-есть такіе же, какъ и онъ, чиновники; такъ разсуждаетъ и сочинитель, на котораго напали со всѣхъ сторонъ дѣти журнальнаго міра—фельетонисты и критики... Что я сдѣлалъ?! — А я сдѣлалъ то же, что дѣлаютъ и большія, сорокалѣтнія, даже пятидесятилѣтнія дѣти: я перехватилъ лучшую конфекту, какъ они перехватываютъ другъ у друга лестное вниманіе какой-нибудь особы высокопоставленной или какого-нибудь редактора. Я помѣстился за ужиномъ рядомъ съ лучшей дамой, занялъ мѣсто подлѣ прелестной Вѣрочки. Можетъ быть, каждому изъ этихъ мальчугановъ хотѣлось занять то же самое мѣсто. Что-жъ тутъ удивляться и, точно взрослыя дѣти, повторять: что я имъ сдѣлалъ? за что они меня такъ возненавидѣли!? И такъ, незачто собственно было мнѣ обижаться; но фактъ былъ тотъ, что я обидѣлся. Мой послѣдній прощальный вечеръ, съ его мечтами и фантазіями, былъ отравленъ. Меня искали мои враги по всѣмъ комнатамъ, даже заглядывали за вѣшалку, но, къ счастью, никто изъ нихъ не нашелъ меня, и я вышелъ изъ моего убѣжища не прежде, какъ услышалъ голосъ Вѣрочки: а гдѣ же мои теплые ботинки?

Когда я сталъ надѣвать мою шинель, изъ залы глядѣли на меня десятки глазъ, высовывали мнѣ языки, приставляли пальцы къ носу, какъ бы давая мнѣ знать,

что я остался съ носомъ, тогда какъ въ сущности они остались съ носомъ, ибо искали и нигдѣ не нашли меня.

Въ той же каретѣ Зайковскія повезли меня къ себѣ на квартиру. Вѣрочка задремала, и ея головка склонилась къ моему плечу. Ея мамаша шутила надъ ней и заставляла меня разсказывать, что я дѣлалъ цѣлый вечеръ. Ожидала ли бѣдная г-жа Зайковская, что въ эту ночь судьба готовитъ ей непріятный сюрпризъ—одно изъ тѣхъ огорченій, которыя заставляютъ сильно думать, потому что нельзя не думать, очутившись на краю какой бы то ни было пропасти?

Въ передней Зайковскихъ я нашелъ Логина, который дожидался меня, сидя на лавкѣ, спалъ и только что проснулся. Горничная, снимая салопъ съ своей барыни, сообщила ей въ двухъ словахъ, что Николая Николаевича нѣтъ, что за нимъ пріѣзжали и куда-то увезли. Я помню, какъ мамаша Вѣрочки вздрогнула, и какъ вытянулось лицо ея. Особенно помню при этомъ совершенное равнодушіе горничной.

— Кто же это пріѣзжалъ? Какъ же это пріѣхали и взяли?

— А кто ихъ знаетъ! отвѣчала сонная горничная,— пріѣхали да и взяли.

— Онъ поѣхалъ съ офицеромъ?

— А кто его знаетъ! — какой-то съ воротникомъ... пакетъ привозилъ—ну его совсѣмъ!

— Отъ кого пакетъ? А?...

— А я не знаю—ну его...

— И Николай Николаевичъ ничего не приказалъ сказать мнѣ?

— Скажи, говоритъ, что потребовали, — больше ничего...

— И больше ничего?

— Ничего...

Зайковская не простилась со мной, быстро ушла въ темныя комнаты, даже свѣчи не дождалась. Не знаю, любила ли она Равинина; но все матеріальное благосостояніе этой женщины было въ рукахъ его. Пусть же подумаютъ въ эту минуту о ней всѣ тѣ, которыхъ все благосостояніе—квартира, столъ, одежда, экипажъ, отопленіе и освѣщеніе—все зависитъ отъ чьей-либо благосклонной прихоти. Она же очень хорошо знала Равинина. Она понимала, что этотъ эгоистъ, попавшись въ бѣду, или поневолѣ разставшись съ ней, о ней и не подумаетъ.

Я также въ этотъ вечеръ не подумалъ объ этой женщинѣ. Я догналъ ея дочку въ коридорчикѣ, передъ дверями ея дѣтской, отдалъ ей конфекту съ колчаномъ и сказалъ ей: прощайте, Вѣрочка, мы больше не увидимся.

Она торопливо отвѣчала мнѣ: прощайте, прощайте! и убѣжала.

И вотъ, вся награда за горячую любовь! Взрослые, когда я выросъ, поступали со мной не лучше, но, какъ видите, все начинается съ дѣтскаго возраста.

Эту послѣднюю ночь мою въ Петербургѣ я спалъ не лучше возлюбленной Равинина, то-есть почти не спалъ. На другой день, въ часъ пополудни, мы выѣхали. Нечего, кажется, говорить, что насъ провожала цѣлая толпа народа, что мнѣ цѣловали руки, что Аксинья была зла и плакала, что Феня глядѣла на меня съ грустнымъ сожалѣніемъ, что мать ея, жена Логина, повѣсила мнѣ на крестъ какую-то ладонку, что Фрейманъ и Костя цѣловали меня и просили не забывать ихъ, что Аграфена принесла мнѣ на дорогу цѣлый узелъ ею самой напеченныхъ ватрушекъ, и что опекунъ мой садился въ карету, окруженный своими оброчными, которые и на улицѣ, не смотря на вьюгу, стояли безъ шапокъ.

— Прощай, Петербургъ!

— Перекрестись! сказалъ мнѣ Нарышкинъ, и когда возокъ нашъ, запряженный въ шесть почтовыхъ лошадей, тронулся, — я перекрестился.

Мы ѣхали въ Рязанскую губернію, въ имѣніе Никиты Ивановича: и этотъ загадочный для меня старикъ, не то злой, не то добрый, не то дуракъ, не то умный, во всякомъ случаѣ чудакъ молчаливый и непривѣтливый, замѣнилъ для меня все и всѣхъ, кого я покинулъ. *Замѣнилъ, не замѣнивъ!* Я плакалъ цѣлыя десять верстъ, и только на первой станціи, оглядывая снѣжныя поля кругомъ и низенькія избы, понялъ, что прошедшаго не воротишь. Какъ невозвратное, оно навсегда стало мнѣ мило и дорого—такъ дорого, что исторія моего дѣтства, вѣроятно, своими подробностями надоѣстъ не одному изъ числа тѣхъ, кто вздумаетъ когда-либо пробѣжать рукопись Сергѣя Чалыгина.

Конецъ пятаго тома.

Stanford University Libraries
3 6105 006 079 722